

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Отделение историко-филологических наук

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Журнал основан в январе 1952 года

Выходит 6 раз в год

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

«Наука»

Москва

2015

Главный редактор:Т. М. Николаева

д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН, Институт славяноведения РАН

Ответственный секретарь:

В. А. Плунгян

д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Зам. главного редактора:

В. А. Виноградов

д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН, Институт языкознания РАН

Редколлегия:

В. М. Алпатов

д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН, Институт языкознания РАН

Ю. Д. Апресян

д. ф. н., проф., академик РАН, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

И. М. Богуславский

д. ф. н., проф., Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН; Мадридский технический университет, Испания

А. В. Бондарко

д. ф. н., чл.-корр. РАН, Институт лингвистических исследований РАН

Н. Б. Вахтин

д. ф. н., проф., Европейский университет в Санкт-Петербурге

М. Д. Воейкова

д. ф. н., Институт лингвистических исследований РАН

Т. В. Гамкрелидзе

д. ф. н., академик РАН; Тбилисский университет

В. З. Демьянков

д. ф. н., проф., Институт языкознания РАН

Д. О. Добровольский

д. ф. н., проф., Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

В. А. Дыбо

д. ф. н., академик РАН, Институт славяноведения РАН

А. Ф. Журавлёв

д. ф. н., Институт славяноведения РАН; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Вяч. Вс. Иванов

д. ф. н., проф., академик РАН, Институт славяноведения РАН; Калифорнийский университет, США

Н. Н. Казанский

д. ф. н., проф., академик РАН, Институт лингвистических исследований РАН

М. М. Маковский

д. ф. н., проф., Московский педагогический государственный университет

А. М. Молдован

д. ф. н., академик РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

В. И. Подлесская

д. ф. н., проф., Российский государственный гуманитарный университет

Е. В. Рахилина

д. ф. н., проф., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН

Зав. отделами:

Н. Л. Артамонова, А. С. Кулева, З. Ю. Петрова

Зав. редакцией:

Н. В. Ганнус

Индексируется в: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ); Brill Linguistic Bibliography (Online); Cambridge University Press Language Teaching (Online); De Gruyter Saur Dietrich's Index Philosophicus; De Gruyter Saur IBZ — Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; De Gruyter Saur Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur; EBSCOhost Modern Language Association (MLA) International Bibliography; Elsevier BV Scopus; Gale MLA International Bibliography Modern Language Association; ProQuest CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts Cambridge Scientific Abstracts; ProQuest MLA International Bibliography Modern Language Association; Wiley-Blackwell Publishing Ltd. Linguistics Abstracts (Online).

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, редакция журнала «Вопросы языкознания»

Телефон: (495) 637-25-16

E-mail: voprosy@mail.ru

Сайт: <http://vja.ruslang.ru>

© Российская академия наук, 2015

© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2015

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Department of History and Philology

VOPROSY
JAZYKOZNANIJA
(TOPICS IN THE STUDY OF LANGUAGE)

Founded in January 1952

6 issues per year

6

NOVEMBER — DECEMBER

«Nauka»

Moscow

2015

Editor-in-chief:

Tatiana M. Nikolaeva	Institute of Slavic Studies (RAS), Moscow, Russia
----------------------	---

Review editor and executive editor:

Vladimir A. Plungian	Vinogradov Institute of the Russian Language (RAS); Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
----------------------	---

Assistant editor:

Viktor A. Vinogradov	Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
----------------------	--

Editorial board:

Vladimir M. Alpatov	Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
Yury D. Apresjan	Institute for Information Transmission Problems (RAS); Vinogradov Institute of the Russian Language (RAS), Moscow, Russia
Igor M. Boguslavsky	Institute for Information Transmission Problems (RAS), Moscow, Russia; Technical University of Madrid, Spain
Aleksandr V. Bondarko	Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia
Valery Z. Demyankov	Institute of Linguistics (RAS), Moscow, Russia
Dmitrij O. Dobrovol'skij	Vinogradov Institute of the Russian Language (RAS), Moscow, Russia
Vladimir A. Dybo	Institute of Slavic Studies (RAS), Moscow, Russia
Tamaz V. Gamkrelidze	University of Tbilisi, Georgia
Vyacheslav Vs. Ivanov	Institute of Slavic Studies (RAS), Moscow, Russia; University of California (Los-Angeles), USA
Nikolai N. Kazansky	Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia
Mark M. Makovsky	Moscow State Pedagogical University, Moscow, Russia
Aleksandr M. Moldovan	Vinogradov Institute of the Russian Language (RAS), Moscow, Russia
Vera I. Podlesskaya	Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia
Ekaterina V. Rakhilina	National Research University «Higher School of Economics»; Vinogradov Institute of the Russian Language (RAS), Moscow, Russia
Nikolai B. Vakhtin	European University at St. Petersburg, Russia
Mariia D. Voeikova	Institute for Linguistic Studies (RAS), St. Petersburg, Russia
Anatoly F. Zhuravlev	Institute of Slavic Studies (RAS); Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Editorial staff:	Natalia L. Artamonova, Anna S. Kuleva, Zoya Yu. Petrova
-------------------------	---

Managing editor:	Nataliia V. Gannus
-------------------------	--------------------

Abstracting/Indexing: Brill Linguistic Bibliography (Online); Cambridge University Press Language Teaching (Online); De Gruyter Saur Dietrich's Index Philosophicus; De Gruyter Saur IBZ — Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; De Gruyter Saur Internationale Bibliographie der Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur; EBSCOhost Modern Language Association (MLA) International Bibliography; Elsevier BV Scopus; Gale MLA International Bibliography Modern Language Association; ProQuest CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts Cambridge Scientific Abstracts; ProQuest MLA International Bibliography Modern Language Association; Russian Science Citation Index; Wiley-Blackwell Publishing Ltd. Linguistics Abstracts (Online).

Address: «Voprosy Jazykoznanija», editorial office, Vinogradov Institute of the Russian Language, Volkhonka street, 18/2, Moscow, 119019, Russia

Telephone: +7 (495) 637-25-16

E-mail: voprosy@mail.ru

Website: <http://vja.ruslang.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Татьяна Михайловна Николаева</u>	7
А. Л. Мальчуков, В. С. Храковский (Санкт-Петербург). Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора	9
М. К. Тимофеева (Новосибирск). Интроспекция в лингвистике и в языке	33
А. Ю. Урманчиева (Санкт-Петербург / Москва). Как грамматическая система управляет семантической эволюцией показателей (на примере эвиденциальной системы тазовского селькупского).....	54
В. В. Дементьев (Саратов). Теория речевых жанров и актуальные процессы современной речи	78

Критика и библиография

Обзоры

П. М. Аркадьев (Москва). Теория грамматики в свете фактов языка каядилт	108
---	-----

Рецензии

А. Б. Летучий (Москва). <i>A. Holvoet, N. Nau</i> (eds). Grammatical relations and their non-canonical encoding in Baltic. Amsterdam: John Benjamins, 2014	140
--	-----

Научная жизнь

Н. А. Слюсарь (Санкт-Петербург / Москва). Обзор лингвистических проектов, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом в 2015 г.	152
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 2015 г.	157

CONTENTS

Tatiana M. Nikolaeva	7
Andrej L. Malchukov, Viktor S. Xrakovskij (St. Petersburg). Mood in interaction with other verbal categories: a typological overview	9
Mariya K. Timofeeva (Novosibirsk). Introspection in language and linguistics	33
Anna Yu. Urmanchieva (St. Petersburg / Moscow). How much impact can grammatical system have on the semantic evolution of grams (a case study on the Tas Selkup system of evidential markers)	54
Vadim V. Dementyev (Saratov). «Speech genre» theory and actual processes in contemporary speaking	78

Bibliography. Reviews

Overviews

Peter M. Arkadiev (Moscow). Grammatical theory in the light of the Kayardild data	108
---	-----

Reviews

Alexander B. Letuchiy (Moscow). <i>A. Holvoet, N. Nau</i> (eds). Grammatical relations and their non-canonical encoding in Baltic. Amsterdam: John Benjamins, 2014	140
--	-----

Academic life

Natalia A. Slioussar (St. Petersburg / Moscow). An overview of the projects in linguistics supported by the Russian Foundation for the Humanities in 2015	152
Index of the papers published in «Voprosy Jazykoznanija» in 2015	157

«Вопросы языкознания» прощаются с Татьяной Михайловной Николаевой, которая тринадцать лет стояла во главе журнала.

Ранним утром 21 октября 2015 года ее не стало.

Татьяне Михайловне шел 83-й год, не всё было благополучно со здоровьем. Но известие о ее кончине оказалось настолько ошеломляющим, что поверить этому невозможно и сейчас.

Выдающийся ученый, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, член-корреспондент Гёттингенской академии, вице-президент Международного фонетического общества, член Национального комитета славистов РФ и иных научных сообществ, автор около полутысячи научных публикаций, Татьяна Михайловна Николаева была признанным авторитетом во многих отраслях филологии. В круг ее интересов входили семиотика, теория языка, лингвистическая типология, проблемы машинного перевода, фонетика и фонология, фразовая интонация и словесная просодия, содержательность грамматических категорий, организация текста, поэтика, теория коммуникации; русистика, славистика, балканистика; литературоведение. Двадцать два года она была руководителем Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН — научного подразделения со славной историей, составляющего гордость отечественной гуманитарной науки.

Татьяна Михайловна принадлежит блистательной плеяде лингвистов, пришедших в науку в постсталинское десятилетие, — замечательно одаренных, знающих, духовно свободных, понимающих необходимость изменений и обладающих для этого нужными силами. В освобождении науки от косности и навязанных идеологических вериг, в выработке новых исследовательских матриц, в содержательном и инструментальном обновлении филологии заслуги самой Татьяны Михайловны Николаевой чрезвычайно велики.

В науке она была мощным профессионалом. Любой написанный ею текст — это всегда больше, чем текст, посвященный анализу проблемы, обозначенной в заголовке: за каждой фразой ощутимо философское понимание глубинных корней изучаемого явления и неочевидных его связей со множеством иных явлений и фактов. Устремленность к самим причинам вещей составляла стержень ее исследовательской манеры. Парадоксальность мышления, склонность к едва ли не провокационному формулированию вопросов, смелость в ломке привычных ранжиров и исследовательских приемов не входили в противоречие со строгостью препарирования материала, точностью наблюдений и покоряющей убедительностью выводов.

Став главным редактором нашего журнала, она способствовала сложению доброжелательной и побудительной творческой атмосферы, когда каждое заседание редакционной коллегии, не роняя требовательной деловитости, превращается в интеллектуальный праздник.

С обликом Татьяны Михайловны не вяжется представление о каком-то догматизме. И всё же. Она была приверженцем очень жестких правил, в следовании которым складывается то, что называется человеческим достоинством. Для себя она избрала самые трудные нравственные требования и отвечала им безукоризненно.



Т. М. Николаева

Фото Светланы Ивановой
2006 год



Т. М. Николаева
Фото начала 1960-х годов

Она была необыкновенно яркой личностью. Ей были свойственны бесстрашие свободного человека, честность и прямота.

Она обладала высоким вкусом и интеллигентностью.

Ее никогда не оставляли острый интерес к людям и понимание людской природы. Общеизвестна ее заботливость по отношению к молодым коллегам, ступившим на свою тропу в науке. Она умела ласковой улыбкой и добрым словом поощрить человека талантливого, но в какой-то момент оказавшегося не слишком уверенным в своих силах, и убийственной иронией осадить нахрапистого искателя влиятельности, указать на подобающее место спесивцу, претендующему на исключительное видение вещей и унизительно говорящему о тех, кто, по его мнению, в этом не преуспел.

Ее открытость и неподражаемое чувство юмора делали участие в беседе с ней огромным удовольствием.

Татьяна Михайловна заслуживала любви и получала ее.

Людей, подобных ей, всегда мало. Сейчас мы с горечью осознаем, что их стало еще меньше.

Потеря непоправима.

Спасибо, Татьяна Михайловна, за то, что Вы были с нами.

Друзья и коллеги,
сотрудники журнала «Вопросы языкознания»

НАКЛОНЕНИЕ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДРУГИМИ КАТЕГОРИЯМИ: ОПЫТ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ОБЗОРА*

© 2015 г.

Андрей Львович Мальчуков^{a,b},
Виктор Самуилович Храковский^{a,®}

^a Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 199053, Россия; ^b Университет г. Майнц, Германия; [®] khrakovv@gmail.com

В статье рассматривается взаимодействие наклонения с другими грамматическими категориями глагола. Особое внимание уделяется синтагматическому взаимодействию, когда выбор одной из граммем категории наклонения ограничивает употребление или реинтерпретирует значение граммемы другой категории (например, времени или лица). Помимо целей типологического обзора, статья ставит перед собой задачу предложить общий подход к описанию синтагматического взаимодействия категорий, развивающий идеи В. С. Храковского о доминантных и рецессивных категориях. В рамках предлагаемого подхода ограничения на сочетаемость глагольных категорий определяются общими функциональными факторами, такими как функциональная совместимость, релевантность, избыточность и частная (дистрибутивная) маркированность.

Ключевые слова: взаимодействие грамматических категорий, аномальные сочетания граммем, иерархии грамматических категорий, маркированность, наклонение модальность, императив, ирреалис

MOOD IN INTERACTION WITH OTHER VERBAL CATEGORIES: A TYPOLOGICAL OVERVIEW

Andrej L. Malchukov^{a,b}, Viktor S. Xrakovskij^{a,®}

^a Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 199053, Russia; ^b Johannes Gutenberg-University, Mainz, Germany; [®] khrakovv@gmail.com

The article presents a typological study of mood in interaction with other verbal categories, with special attention given to cases of syntagmatic interaction, when a mood grammeme excludes or reinterprets grammemes of other categories. Apart from providing a typological overview, the article serves to outline an approach to syntagmatic interaction of verbal categories following up on the work by V. S. Xrakovskij on dominant and recessive categories. The suggested approach seeks to constrain syntagmatic co-occurrence of grammatical categories in reliance to such functional factors as functional compatibility, relevance, economy and local markedness.

Keywords: interaction of verbal categories, infelicitous grammeme combinations, hierarchies of verbal categories, local markedness, mood, modality, imperative, irrealis

* Мы выражаем признательность РНФ за финансовую поддержку проекта (грант № 14-18-03406). Мы также благодарны коллегам: Е. В. Падучевой, Юхану ван дер Аувера, Яну Нуйтсу, Бьерну Вимеру и С. Ю. Дмитренко за ценные замечания по предварительному тексту статьи. Также мы чрезвычайно признательны рецензенту журнала «Вопросы языкознания», чьи замечания были конструктивными и способствовали улучшению первоначального текста статьи.

1. Введение

Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена прежде всего проблеме синтагматического взаимодействия категории наклонения с другими грамматическими категориями глагола. Также, хотя и в меньшей степени, в ней рассматривается вопрос о связи наклонения с категориями, которые в ходе исторического развития трансформируются в категорию наклонения, и категориями, которые семантически близки наклонению. Последняя проблема связана с вопросом о соотношении модальности и наклонения, который, в свою очередь, осложнен тем, что многие основные понятия, относящиеся к сфере модальности, еще не получили однозначного решения. Это касается не только того, насколько широко понимается сфера модальности, по традиции эмпирически определяемая с опорой на значения, выражаемые модальными глаголами в европейских языках, см. [Nuys 2005], но и определения понятия наклонения. Одна из популярных теорий не проводит концептуальных различий между двумя этими понятиями, рассматривая наклонение в качестве продукта грамматикализации модальных различий [Palmer 1986; Bybee et al. 1994; de Haan 2006]¹. В соответствии с другой широко распространенной теорией, опирающейся на философские и лингвистические традиции, см. [van der Auwera, Plungian 1998], эти понятия различаются на концептуальном уровне: к функциям модальности относится выражение значений возможности и необходимости (в плане деонтической и эпистемической модальности), а наклонение выражает иллокутивные различия (типы предложений), а также выражение реализа/ирреализа в главном и придаточном предложении. В рамках последней концепции существует несколько вариантов, описание которых не входит в задачу настоящей работы (см. обсуждение в [Плунгян 2011: 423—449])². Достаточно сказать, что, хотя термин «наклонение», используемый в настоящей статье в основном следует последней концепции, мы принимаем также во внимание и первую концепцию (Байби, Палмера и др.) поскольку она, главным образом, учитывает морфологическое выражение иллокутивных значений и значений реализа/ирреализа. Таким образом, мы исходим из того, что категория наклонения указывает на мнение говорящего относительно принадлежности ситуации или, если угодно, пропозиции, называемой глаголом, либо к реальному миру (индикатив — прямое наклонение)³, либо к нереальному (желаемому, возможному, невозможному (оптатив, конъюнктив, кондионалис, ирреалис)), либо к возможному, проецируемому в реальный (императив) — косвенные наклонения; ср. [Якобсон 1972: 111, Мельчук 1998: 153]. У этой категории по сравнению с другими рассматриваемыми категориями самая широкая сфера действия, которая распространяется на все предложение с данными ядерным глаголом. В соответствии с принципом иконичности показатели граммем наклонений стандартно занимают крайнюю (обычно правую) позицию в глагольной словоформе [Bybee 1985].

То, что в фокусе настоящего исследования оказываются морфологические способы выражения модальных значений, продиктовано рядом дополнительных соображений как эмпирического, так и теоретического характера. С эмпирической точки зрения акцент на взаимодействие чаще грамматикализуемых форм дает возможность получить более сопоставимые результаты на материале большего количества языков. Кроме того, сужение области исследования за счет комбинирования функциональных и формальных критериев также желательно по той причине, что чисто концептуальное отграничение наклонения

¹ «Modality is the conceptual domain, and mood is its inflectional expression» [Bybee et al. 1994: 181].

² Так, некоторые авторы [Van Valin, LaPolla 1997; Elliott 2000] предлагают тройное противопоставление: иллокутивная сила (наклонение) — статус (значения реализа/ирреализа) — модальность (modal force). С другой стороны, И. А. Мельчук [Мельчук 1998] относит иллокутивные формы и формы конъюнктива/ирреализа к категории наклонения, но выделяет отдельную категорию интеррогатива.

³ Поскольку пропозиция, называемая глаголом в индикативе, относится к реальному миру, постольку высказывание с глаголом в индикативе может быть либо истинным, либо ложным. Высказывания с глаголом в форме других наклонений по этому параметру не классифицируются.

от родственных категорий в рамках более обширной сферы модальных значений (сферы «пропозициональной модальности» Палмера [Palmer 2001]) в ряде случаев дает неоднозначные результаты. Так, не имеет однозначного решения и вопрос о разграничении между сферой реалиса / ирреалиса и эвиденциальностью. Действительно, согласно одним авторам [Givón 1982], эвиденциальные выражения попадают в середину шкалы реалиса / ирреалиса, тогда как другие авторы относят показатели косвенной эвиденциальности к сфере ирреалиса, поскольку у них нет презумпции реальности описываемого говорящим события (см. [Narrog 2005], а также, с некоторыми оговорками, [Plungian 2001], где проводится различие между «модализованными» и «не-модализованными» системами эвиденциальности). Таким образом, статус инференциальных форм оказывается неоднозначным не только по отношению к эвиденциальности, с одной стороны, и эпистемической модальности, с другой, но также и в отношении категории ирреалиса. В этой связи описание категории наклонения будет иногда затрагивать и родственные сферы модальности и эвиденциальности. Наконец, пристальное внимание к проблемам морфологических наклонений совершенно естественно, если учесть, что взаимодействие наклонений с другими категориями рассматривается здесь с точки зрения «синтагматического» взаимодействия грамматических категорий, ведущего к ограничениям на совместное употребление или на реинтерпретацию обеих соответствующих категорий (см. раздел 2 ниже). Таким образом, проблемы полисемии отдельных граммем наклонения рассматриваются более подробно в тех случаях, когда они могут разрешаться в конкретных морфологических контекстах, преимущественно предусматривающих определенную интерпретацию.

В настоящей статье мы придерживаемся широкого понимания наклонения как грамматической категории, маркирующей значения из «семантической зоны модальности» [Плунгян 2000]. Наклонения делятся на следующие группы.

- a) Иллокутивные наклонения, выражающие речевые акты повеления (императивы), вопроса (интеррогативы), утверждения (аффирмативы) и прочие. Наиболее часто среди них грамматикализуется повелительное наклонение, реже грамматикализуется интеррогатив (ср. вопросительное наклонение в эскимосском) и аффирматив (ср. утвердительное наклонение в нанайском в примере (6))⁴.
- b) Модальные наклонения, выражающие значения возможности и необходимости в деонтическом плане (ср. должностное наклонение в эвенском языке: *eme-nne-s* [приходить-NECESS-2SG] ‘ты должен прийти’).
- c) Модальные наклонения, выражающие значения возможности и необходимости в эпистемическом плане (ср. вероятностное наклонение в эвенском языке: *eme-mne-n* [приходить-PROB-3SG] ‘он, наверное, придет’).
- d) Наклонения со значением реальности / ирреальности. В европейских языках наклонения ирреальности выражаются формами конъюнктива / субъюнктива, которые, однако, имеют ряд синтаксических ограничений (предпочтительное употребление в зависимых предложениях), делающих их малотипичными представителями этой категории в типологическом плане. Более представительными в типологическом плане являются формы реальных / ирреальных наклонений в австронезийских языках, обсуждаемые в работах [Elliott 2000] и [Урманчиева 2004] (см. раздел 2.2).

Как было указано выше, не все из этих значений могут быть надежно отграничены друг от друга: так, формы деонтической и эпистемической модальности часто получают одинаковое выражение (ср. модальные глаголы в европейских языках) и не всегда однозначно интерпретируются [van der Auwera, Plungian 1998]. В ряде случаев граница между деонтическими наклонениями и иллокутивами оказывается зыбкой (см. ниже о связи деонтической модальности с императивами), а эпистемические формы сложно отличить от форм ирреальности.

⁴ Формы индикатива (изъявительного наклонения) не следует путать с формами аффирматива, поскольку первые (в отличие от вторых) могут использоваться для выражения разных речевых актов, включая вопросительные.

Проблему взаимодействия грамматических категорий вообще, которую В. А. Плуныян справедливо считает одной из наименее разработанных в теории грамматики [Плуныян 2011: 73], и взаимодействия наклонения с грамматическими категориями в частности можно рассматривать с различных точек зрения. В настоящей статье мы в соответствии с подходом Санкт-Петербургской типологической школы (см., например, [Храковский 1990; 1996; Malchukov 2009; 2011]) главное внимание уделяем «синтагматическому взаимодействию» грамматических категорий, в особенности взаимодействию отдельных **граммем** (т. е. значений тех или иных категорий). Этот подход учитывает не только ограничения сочетаемости, но и случаи реинтерпретации граммем в определенном морфологическом контексте⁵. В рамках этого подхода индуцирующая реинтерпретацию граммема называется **доминантной**, а граммема, которая подвергается реинтерпретации, **рецессивной** [Храковский 1990].

Сочетаемость отдельных граммем зависит от целого ряда факторов [Malchukov 2011]. Один из них — фактор **функциональной совместимости**. Например, в работе [Храковский 1990] делается вывод, что императив выступает в качестве доминантной граммемы в отношении других граммем глагола в связи с тем, что он может вызывать реинтерпретацию или блокировать выражение видо-временных категорий. Такая реинтерпретация регулярно возникает в контекстах, где сочетание соответствующих граммем функционально недопустимо по семантическим и/или прагматическим соображениям. Другой фактор — **маркированность**. Речь здесь идет, в частности, о «дистрибутивной маркированности» в терминах Крофта [Croft 2003], более конкретно о редуцированном флективном потенциале (inflectional potential) у маркированных граммем. Предсказывается, что для маркированных граммем (маркированных членов привативных оппозиций) характерна более ограниченная сочетаемость с граммемами других категорий («the number of cross-cutting inflectional distinctions of the unmarked gram is larger as compared to the marked one» [Ibid.: 95—97])⁶. Среди других аспектов (или критериев) маркированности⁷, для рассматриваемой проблематики также важны отношения формальной маркированности (нулевое / ненулевое маркирование), описываемое ниже как следствие фактора экономии, а также отношения **частной** (избирательной) **маркированности** (local markedness; [Croft 1990]). Частная маркированность⁸, понимаемая как маркированность граммемы по отношению к ее (морфологическому, лексическому или синтаксическому) контексту, связана с дистрибутивной маркированностью, с одной стороны, и с функциональной совместимостью, с другой, и лежит в основе иерархии маркированности, подобной той, которая рассмотрена в разделе 6.

Другим фактором, имеющим общетипологическую значимость, является **релевантность**: характеристика ситуации (в видовом, временном и прочих планах) менее релевантна

⁵ Как следует из изложенного, основное внимание уделяется фактам морфологического взаимодействия категорий. Мы также упоминаем взаимодействие в пределах аналитических форм, когда те или иные значения выражаются вспомогательными глаголами, а не морфологическими показателями. Предполагается, что в обоих случаях взаимодействие значений регулируется сходными функциональными факторами, однако в случае морфологического взаимодействия оно подвержено существенным ограничениям и лучше прослеживается в существующих описаниях языков.

⁶ Яркий пример действия этого фактора приведен И. А. Мельчуком [Мельчук 1998: 26]: в корякском языке падежные формы различаются только в единственном числе (немаркированном члене числовой оппозиции), а формы числа различаются только в абсолютиве (немаркированном члене падежной парадигмы).

⁷ Хаспельмат [Haspelmath 2006] обсуждает 12 различных пониманий маркированности (нулевое выражение, фонетическая сложность, семантическая сложность, частотность в употреблении, типологическая частотность и др.) и показывает, что большинство из них обусловлены частотностью в употреблении.

⁸ Примером частной (избирательной) маркированности («local markedness», иначе «markedness reversal») [Tiersma 1982; Croft 1990: 135]) является маркирование форм единственного (а не множественного) числа у имен с собирательным значением (ср., сингулятивы типа *горош-ин-а*) или наличие немаркированного (нулевого) локатива у имен-топонимов.

для действий неосуществившихся, чем для действий осуществленных. Этим объясняется, например, характерная для отрицательных форм тенденция редуцировать свою видо-временную парадигму (если сравнивать ее с парадигмой, представленной у утвердительных форм [Aikhenvald, Dixon 1998]).

Еще один фактор — **избыточность**. Язык избегает выражения избыточных значений, следуя принципу экономии. Если семантическая аномальность объясняет недопустимость сочетания императивов с формами прошедшего времени, то избыточность ограничивает сочетаемость форм императива с показателями будущего времени, выражение которого является избыточным в контексте императивных форм. В работе [Malchukov 2011] рассматривается ряд других, в том числе диахронических, факторов, от которых зависит взаимодействие грамматических категорий. Не все из этих диахронических факторов поддаются обобщению. Те из них, которые являются типологически значимыми, в синхронном плане обнаруживаются в частотных моделях полисемии (например, деонтические формы развивают значение императива). В настоящей работе, нацеленной на случаи синтагматического взаимодействия, подобные факты полисемии последовательно не рассматриваются, но упоминаются для полноты картины. Не являясь очевидными случаями синтагматического взаимодействия, они тем не менее оказываются показательными в плане «удачных» (оптимальных), а не «неудачных» (аномальных) сочетаний: значение одной граммы интерпретируется (в минимальном контексте) как значение граммы другой категории. Таким образом, здесь речь идет не о запретах, а о предпочтениях комбинирования граммем отдельных грамматических категорий, которые приводят к регулярным моделям полисемии или кумуляции категорий.

Ниже приводятся примеры влияния отдельных факторов на употребление категории наклонения; более подробные сведения об этих факторах и способах их взаимодействия приводятся в указанной работе [Malchukov 2011].

Изложение в настоящей статье строится следующим образом. Раздел 2 посвящен взаимодействию показателей наклонения с показателями модальности, а также другим случаям взаимодействия в рамках более широкой сферы модальности (или «пропозициональной модальности») [Palmer 2001]. В этом разделе рассматривается взаимодействие иллюкутивных наклонений с показателями деонтической и эпистемической оценки, с одной стороны, и с формами (ир)реалиса с другой. В последующих разделах мы рассматриваем случаи взаимодействия наклонения с категориями времени (раздел 3), вида (раздел 4), отрицания (раздел 5) и лица (раздел 6). В заключении (раздел 7) обобщаются сведения о факторах, управляющих взаимодействием наклонения с другими категориями.

2. Взаимодействие наклонения и модальности (в широком смысле)

2.1. Взаимодействие иллюкутивных наклонений и значений деонтической и эпистемической модальности

В этом разделе пойдет речь о связи значений наклонения и модальности, особенно в плане диахронии, что необходимо при решении вопроса о разграничении и тех и других значений. В частности, мы рассмотрим вопрос о связи между значениями деонтической модальности и императива. Так, в работе [Palmer 1986] высказывается мысль о том, что и те и другие принадлежат одной и той же сфере модальности, а именно, что «императив представляет собой немаркированный или нейтральный член в рамках деонтической системы или, по крайней мере, в рамках подсистемы директивных значений»⁹. Большинство других авторов указывают на различия между значениями императива и значениями деонтической модальности, утверждая, что их связь более заметна в плане диахронии, так как

⁹ «...the imperative is the unmarked or neutral term within the deontic system, or at least within the sub-system of directives» [Palmer 1986: 30].

императивные / побудительные показатели могут формироваться на основе показателей деонтического долженствования [Bybee et al. 1994: 240; van der Auwera, Plungian 1998: 94]. Например, в языке нкоре-кига [Taylor 1985] императив еще может использоваться в деонтическом значении — в частности, при окказиональном употреблении в составе вопросительных предложений:

- (1) нкоре-кига [Taylor 1985: 163]
N-kingy-e amadirisa?
 1SG-закрывать-IMP окно.PL
 ‘Мне (надо) закрыть окна?’

Традиционно такую эволюцию значения рассматривают как результат прагматического утешения (pragmatic strengthening): утверждение долженствования по отношению к слушающему вполне может восприниматься как повеление [Bybee et al. 1994; van der Auwera, Plungian 1998]; см. также [Traugott 2006], где приводится общий анализ роли имплицатур в процессе формирования категорий модальности. С другой стороны, показатели эпистемической возможности и долженствования могут эволюционировать в сторону формирования показателей интеррогатива. Этот сценарий документирован в меньшей степени, однако и он отмечается в ряде языков, включая язык хишкарьяна ([Palmer 1986: 55], цитируется по [Derbyshire 1979: 143—145]) и шведский язык (см. [van der Auwera, Plungian 1998: 110] о шведской диалектной форме *måtte* ‘будет’, ‘вероятно’, ‘ли’, получившей распространение и в вопросительных контекстах). Для иллюстрации подобной полисемии мы приводим пример из ненецкого языка, где показатель гипотетического наклонения *-ku* используется в вопросительной функции:

- (2) ненецкий язык [Люблинская, Мальчуков 2007: 449]
ŋamge=va ŋeleka tan'a-na-ky?
 что=CLIT чудовище.NOM быть-PRES-HYPOTH
 ‘Это чудовище?’ (букв. ‘Это, наверное, какое-то чудовище’).

Таким образом, и этот вид полисемии можно отнести на счет имплицатуры: заявление об отсутствии уверенности в данном состоянии дел понимается как приглашение слушающему подтвердить или опровергнуть его истинность (т. е. как вопрос).

2.2. Взаимодействие иллокутивных наклонений и реализа / ирреализа

В этом разделе пойдет речь о смысловой связи иллокутивных наклонений и самостоятельной категории реализа / ирреализа, что позволяет одной категории выступать вместо другой. Приведенные в разделе 2.1 примеры иллюстрируют случаи связи между модальными и иллокутивными значениями. Однако сходным образом взаимодействуют и показатели реализа / ирреализа, что неудивительно, если учесть, что различия между эпистемическими показателями и показателями ирреализа весьма тонки, и статус некоторых гипотетических форм однозначно определить невозможно (во всяком случае, на основе вторичных источников). Вместе с тем, по крайней мере, в некоторых языках, где функционируют полноценные формы реализа / ирреализа, можно обнаружить случаи нетривиального взаимодействия между формами ирреализа и недекларативных наклонений [Elliott 2000]; см. также [Mithun 1995; Palmer 2001; Урманчиева 2004]. Например, в ряде языков, о которых идет речь в работе [Elliott 2000], показатели ирреализа используются для выражения императива; см. следующие примеры из языка маунг:

- (3) язык маунг [Capell, Hinch 1970: 67]
 а. *ŋi-udba-Ø*.
 1SG-класть-PRES.IND.R
 ‘Я кладу’.

- b. *g-udba-nji!*
 2SG-класть-IRR
 ‘Положи это!’

В языках мира использование показателей ирреалиса в императивных контекстах распространено довольно широко, что подтверждает недавно вышедшая работа [van der Auwera, Devos 2012]. В некоторых других языках, например, в языке каддо, показатели ирреалиса используются в общевопросительных предложениях (polar questions):

- (4) язык каддо [Chafe 1995: 354]
Sah?-yi-bahw-nah?
 2.агнс-IRR-видеть-PERF
 ‘Ты (его) видел?’

В указанной работе использование показателей ирреалиса в общевопросительных предложениях в языке каддо объясняется тем, что общий вопрос предполагает отсутствие у говорящего знания о том, имело ли данное событие место в действительности¹⁰. Эта трактовка позволяет также объяснить, почему в языке каддо ирреалис стандартно употребляется в отрицательных предложениях:

- (5) язык каддо [Chafe 1995: 355]
Kúy-t'a-yi-bahw.
 NEG-I.агнс-IRR-видеть
 ‘Я (его) не вижу’.

Последний пример, однако, несколько отличается от других, поскольку здесь речь идет о синтагматическом взаимодействии, когда отрицание требует употребления показателей ирреалиса (а не сам показатель ирреалиса выражает значение отрицания). В терминах Палмера [Palmer 2001], в языке каддо действует «объединенная» система («joint system») маркирования реалиса / ирреалиса, при которой употреблением показателя реалиса / ирреалиса управляет морфологический контекст, а в языке маунг — «разъединенная система» («non-joint system»), при которой показатель ирреалиса сам по себе выражает иллокутивные значения. Действительно, с функциональной точки зрения совместное выражение значений императива и ирреалиса оказывается избыточным, что может вести к реинтерпретации одной из граммем. Например, в западногренландском эскимосском языке и в языке джамуль тиипай сочетания императивных форм с показателями ирреалиса служат для выражения вежливого императива [Гусев 2005: 63; Aikhenvald 2010: 143].

2.3. Взаимодействие иллокутивных наклонений и эвиденциальности

Хотя взаимоотношения эвиденциальности и наклонения кажутся более опосредованными, эти категории демонстрируют взаимодействие двух различных типов. С одной стороны, наблюдается синтагматическое взаимодействие. Так, отмечается, что в не-декларативных наклонениях значения эвиденциальности могут нейтрализоваться [Aikhenvald 2004: 242—255]. Это явление можно отнести на счет эффекта маркированности или на счет фактора «релевантности» [Malchukov 2011]: эвиденциальная квалификация (еще) не совершенного действия менее актуальна; ср. [Givón 1982; Narrog 2005]. С другой стороны, по предположению Палмера [Palmer 1986: 85—88], в системе эвиденциальных значений некоторых языков формы непосредственной эвиденциальности («информация

¹⁰ Подобного мнения придерживается и И. А. Мельчук [Мельчук 1998: 147—150], который относит значения декларатива / интеррогатива и утверждения / отрицания к одной и той же категории логического статуса высказывания.

из первых рук») выражают значение декларатива (ср. его квалификацию форм «визуальной эвиденциальности» в языке туюка как форм «маркированного декларатива»). Несмотря на то, что данная интерпретация может вызывать возражения, в других случаях удается показать диахроническую связь между показателями эвиденциальных и иллокутивных значений. В работах [Мальчуков 1999; Malchukov 2000] приводится описание эволюции глагольных форм в тунгусских языках, где причастные формы начинают вытеснять более архаичные формы индикатива. В плане прошедшего времени перфектное причастие начинает выражать вначале значение косвенной эвиденциальности в прошедшем (как в удэгейском языке), а затем — значение общего прошедшего времени (как в нанайском языке), что соответствует обычному направлению грамматикализации граммем перфекта; см. [Bybee et al. 1994]. Большой интерес в данном случае представляет собой параллельная эволюция форм финитного глагола: исторически более ранние формы индикатива прошедшего времени вначале приобретают значение прямой эвиденциальности (как в удэгейском языке, где они противопоставлены формам косвенной модальности), а в нанайском языке они подвергаются дальнейшей маргинализации и приобретают функцию эмфатического утверждения:

(6) нанайский язык [Аврорин 1962: 105], цитируется в [Мальчуков 1999; Malchukov 2000]

- a. *Mi un-kim-bi.*
я.NOM говорить-PERF.PART-1SG
'Я сказал'.
- b. *Mi un-ke-i.*
я.NOM говорить-PAST-1SG
'Я же сказал'.

В работе [Аврорин 1962] значение глагольных форм в (6b) характеризуется как «утвердительное наклонение» в противоположность формам «изъявительного наклонения», образованным от причастий, см. (6a). Сходные процессы имеют место в ряде славянских балканских языков (в болгарском, македонском), где также идет обновление временной системы глагола за счет форм причастного происхождения [Friedman 2000]; ср. [Malchukov 2000]. Например, в болгарском языке образуемое на основе причастия «прошедшее неопределенное», выражающее значения косвенной эвиденциальности (информация «с чужих слов») эволюционирует в сторону показателя немаркированного прошедшего времени, а глагольные формы «определенного прошедшего времени» приобретают значение засвидетельствованной эвиденциальности. Как отмечено в работе [Friedman 2000], в болгарском языке засвидетельствованные формы не употребляются в гипотетических контекстах (с наречиями типа 'возможно'), что свидетельствует об их модализации. В обоих случаях эволюция эвиденциальных форм в показатели «фактивного» наклонения (подтверждающие реальность описанного глаголом события) являет собой побочный результат обновления глагольной системы. Этот сценарий, связанный с модализацией исходно нейтральных индикативных форм, также напоминает эволюцию показателей сослагательного наклонения в ряде других языков (в восточно-армянском, хинди/урду, фарси, каирском арабском) из показателей «старого настоящего времени» («old presents»), вытесненных из индикативных употреблений недавно образованными формами [Haspelmath 1998]; ср. [Bybee et al. 1994: 231—236].

Есть и другие примеры, свидетельствующие о наличии связи между эвиденциальностью и иллокутивными наклонениями. Так, в работе [Aikhenvald 2004: 109] приводится пример из языка фокс (семья алгонкин), где вопросительная форма («plain interrogative») употребляется в значении косвенной эвиденциальности (или, скорее, умозаключения). Этот пример, возможно, следует интерпретировать сходным образом как результат эволюции показателей нефактивности/инферентива в показатели интеррогатива (см. пример из немецкого языка (2) выше), даже если в последнем случае вопросительная функция показателя представляется первичной.

3. Взаимодействие категорий наклонения и времени

Ниже мы проанализируем взаимодействие наклонения и времени, рассматривая императив в качестве основного представителя иллюкутивных наклонений, а конъюнктив или лучше ирреалис в качестве основного представителя ирреальных наклонений. Кроме того, рассматриваются случаи взаимодействия с категорией времени и некоторых других наклонений и форм, претендующих на статус наклонения.

3.1. Взаимодействие императива и времени

Как показывают многочисленные примеры из лингвистической литературы [Бирюлин, Храковский 1992; Храковский 2001; Schalley 2008; Aikhenvald 2010; Гусев 2013], даже если в том или ином языке выражаются различные значения времени, они обычно выражаются в индикативе, но отсутствуют в формах императива. И это не удивительно, если учесть, что повелительный речевой акт, естественно, относит действие к плану будущего. Соответственно, в языках, где формы императива способны выражать темпоральные значения, они обычно относятся к плану будущего времени, как, например, в языках с противопоставлением немедленного и отсроченного императива, ср. в эвенском:

- (7) эвенский язык [Malchukov 2001: 172]
- a. *Hör-li!*
идти-IMP.2SG
'Иди (сейчас)!'
 - b. *Hör-de-j!*
идти-DIST.IMP-REFL.SG
'Иди (позже)!'

Более того, это различие значений нередко модализируется. При этом дистантный императив, как и следует ожидать, воспринимается как имеющий более вежливое значение, чем императив немедленный, поскольку последний предполагает более высокую степень контроля говорящего над адресатом и, соответственно, более высокую степень принуждения; ср. [Aikhenvald 2010: 130—131].

В связи с тем, что императиву внутренне присуща футуральная интерпретация, он обычно несовместим с выражением прошедшего времени [Palmer 1986: 111—112] даже в языках, где время выражается независимо от наклонения. Подобные формы (прошедшее время императива) отсутствуют или подвергаются реинтерпретации [Храковский 1992]. Как правило, реинтерпретацию соответствующей временной формы в большинстве случаев вызывает императив [Храковский 1990]. В качестве другого примера можно привести форму «прошедшего хабитуалиса» на *-grA-* в эвенском языке. Помимо аспектуального (итеративного) значения, эта форма выражает и темпоральное значение, относя обычные действия к плану прошедшего времени. Это темпоральное значение чаще всего отмечается в контексте не-будущих форм, когда действие относится либо к плану прошедшего (у предельных глаголов), либо к плану настоящего (у непредельных глаголов). Однако присоединение показателя хабитуалиса к непредельному глаголу в форме не-будущего времени вызывает его сдвиг в план прошедшего:

- (8) эвенский язык¹¹
- a. *Etiken nulge-n.*
старик кочевать-AOR.3SG
'Старик кочует'.

¹¹ Эвенские примеры, источник которых не указан, приводятся из полевых записей А. Л. Мальчукова.

- b. *Etiken nulge-gre-n.*
 старик кочевать-НАВ-AOR.3SG
 ‘Старик обычно кочевал’.

Притом, что хабиитуалис в большинстве случаев ограничен формами прошедшего (или не-будущего) времени, иногда он встречается и в формах, соотносенных с будущим, в частности, в императиве. Любопытно отметить, что в последнем случае в результате реинтерпретации он получает метафорическое значение ‘как раньше’:

- (9) эвенский язык
Nulge-gre-li!
 кочевать-НАВ-IMP.2SG
 ‘Кочуй, как раньше!’

Таким образом, проблема данного функционально аномального сочетания разрешается путем реинтерпретации темпорального показателя в императивном контексте. В соответствии с терминологией В. С. Храковского, в данном случае императив выступает в качестве доминантной категории, а время — в качестве рецессивной. Как показано в работе [Храковский 1996], в роли доминантной категории чаще всего выступает императив, который накладывает ограничения на употребление других категорий или вызывает их реинтерпретацию. Вместе с тем, как показывает пример из сирийского диалекта арабского языка, императив иногда может выступать и в качестве рецессивной категории.

- (10) арабский язык (сирийский диалект) [Cowell 1964: 361], цит. по [Palmer 1986:112]
Kənt kōl lamma kənt fəl-bēt.
 ты.был есть.IMP когда ты.был в-доме
 ‘Тебе нужно было поесть, когда ты был дома’.

В данном случае (прошедшее) время, выраженное вспомогательным глаголом, выступает в качестве доминантной категории, а императив — в качестве рецессивной.

Сходные тенденции, указывающие на предпочтения императива по отношению к временным значениям, можно обнаружить, наблюдая, как различные временные формы используются в императивных значениях. В наиболее подробном исследовании на эту тему [Гусев 2013] отмечается, что в большинстве подобных случаев в функции показателя императива выступают формы будущего времени, а формы настоящего времени (как, например, в языке науатль) и особенно прошедшего времени выступают в этой роли исключительно редко. Встречающиеся случаи употребления форм прошедшего времени в императивном значении (как, например, фиксируемое в русском языке *Пошел!*) можно отнести на счет признака перфективности, связанного с императивным значением (см. 4.1 ниже).

3.2. Взаимодействие ирреалиса и времени

Взаимодействие форм ирреалиса с показателями времени происходит по несколько иной модели, вызывая нейтрализацию временных значений в формах ирреалиса. Подобную нейтрализацию можно объяснить маркированным статусом граммемы ирреалиса (конъюнктива) в категории наклонения или же относить на счет фактора «релевантности»: обозначение времени менее релевантно для характеристики событий, которые не имели места [Malchukov 2011]; также см. [Aikhenvald, Dixon 1998], где частое отсутствие противопоставления временных значений в отрицательных предложениях объясняется сходным образом. В качестве иллюстрации можно привести язык нкоре-кига, где в индикативе различается десять времен, но в конъюнктиве временная парадигма сокращается до двух показателей, а в императиве исчезает вовсе [Taylor 1985: 154]. В обобщающей главе сборника, специально посвященного категориям наклонения в европейских языках [Thieroff 2010: 19], отмечается, что из 36 описанных в нем европейских языков лишь в двух языках

все времена индикатива выражаются и в конъюнктиве. Сходным образом, временные различия нередко нивелируются в контрфактивных контекстах, а там, где сохраняются, могут подвергаться реинтерпретации и начинают выражать значения реалиса / ирреалиса. Хотя случаи использования форм прошедшего времени в составе показателей нереального условия в отличие от показателей гипотетического условия хорошо известны из европейских языков (*If I were you, I would never do that*), они отмечаются и в других языках; см. отдельные главы в коллективной монографии [Храковский 2005]. Собственно, наблюдаемая во многих языках взаимная несовместимость категории времени с не-индикативными (ирреальными) наклонениями позволила в свое время выдвинуть гипотезу, что время и наклонение следует относить к одной категории [Храковский, Володин 1979].

Помимо синтагматического взаимодействия, накладывающего ограничения на сочетаемость категорий ирреалиса и времени, существует и другой вид взаимодействия, связанный с полифункциональностью. Наличие связи между значениями будущего времени и гипотетическими модальными значениями — факт, хорошо известный в европейских языках. Хотя в европейских языках это связь будущего времени не с категорией наклонения как таковой, а с модальными глаголами, данные австронезийских и папуасских языков, судя по работе [Elliott 2000], показывают, что показатель ирреалиса может использоваться для обозначения будущего времени.

- (11) букийип [Conrad, Wogiga 1991: 282]
- a. *M-a-lpok*.
1PL-R-сражаться
'Мы сражаемся / мы сражались'.
 - b. *M-u-lpok*.
1PL-IRR-сражаться
'Мы будем сражаться'.

Несколько иной случай взаимодействия представлен в языке автув, где показателем будущего времени маркируется ирреалис, а показателем прошедшего времени — реалис:

- (12) автув [Feldman 1986: 71]
- a. *Rom d-æy-(ka)-m-e*.
3PL R-уходить-(PERF)-PL-PAST
'Они (уже) ушли'.
 - b. *Rom w-æy-ka-me-re*.
3PL IRR-уходить-PERF-PL-FUT
'Они уйдут'.

Пользуясь терминами Палмера [Palmer 2001], язык букийип демонстрирует «разъединенную систему» («non-joint use of irrealis markers») употребления показателей ирреалиса, в рамках которой они могут дополнительно выражать собственные иллокутивные и модальные значения, а в языке автув действует «объединенная система» («joint system») маркирования значений (ир)реалиса, которые зависят от сопутствующих категорий.

Следует отметить, что будущее относится к ирреалису не во всех языках, обладающих системой маркирования реалиса / ирреалиса. В некоторых языках противопоставление форм реалиса и ирреалиса выбирается в зависимости не от времени, а от утвердительного или отрицательного статуса (см. 5.2 ниже). В других языках к сфере реалиса могут относиться лишь определенные виды действий в будущем: например, в языке помо [Mithun 1995] определенное будущее входит в сферу реалиса, а неопределенное — в сферу ирреалиса. В целом, семантическая связь между будущим временем и ирреалисом очевидна: нефактивность будущих событий естественным образом относит их к сфере ирреалиса.

Более сложным оказывается отношение других временных форм к значениям модальности и реалиса / ирреалиса. Согласно одному, весьма радикальному, подходу, временные формы сами по себе в основном имеют модальную природу (ср. также концепцию Лайонза

[Lyons 1977], в соответствии с которой время представляет собой вид наклонения). По мнению Тироффа [Thieroff 2004], в европейских языках не только будущее, но и прошедшее время выполняет модальную функцию, поскольку его показатели употребляются в контекстах, типичных для ирреалиса (например, в составе показателей контрфактивного условия). Это мнение перекликается и со взглядами других лингвистов [James 1982; Fleischman 1989], которые объясняют использование показателей прошедшего времени для выражения ирреалиса в терминах «диссоциации с реальностью» («dissociation from reality»). Вместе с тем, как указывает Байби [Bybee 1995], подобная модализация прошедших времен возможна лишь в определенных контекстах (например, при употреблении модальных глаголов), что позволяет описывать такие случаи и в рамках предлагаемой нами концепции взаимодействия. Действительно, многие примеры из германских и романских языков, приводимые Тироффом [Thieroff 2004: 68 ff.] для иллюстрации употребления показателей прошедшего времени в модальных значениях, можно рассматривать как случаи выделяемых нами аномальных сочетаний, в которых граммы прошедшего и будущего времени выступают в комбинациях, но различаются сферой действия. Либо граммма прошедшего времени включает граммму будущего в свою сферу действия (*He knew that she would come*), либо наоборот (*She will have had dinner by now*). Притом, что о семантической аномальности здесь говорить не приходится, подобные сочетания являются прагматически ущербными (малочастотными — несут малую функциональную нагрузку) при чисто временной интерпретации и потому склонны к (модальной) реинтерпретации. Подобные случаи реинтерпретации комбинаций, которые выглядят как сочетание показателей прошедшего и будущего времени в составе одной глагольной словоформы, встречаются и в других языках. Например, в ненецком языке сочетание суффикса будущего времени с энклитикой прошедшего времени реинтерпретируется как показатель ирреалиса:

- (13) ненецкий язык [Люблинская, Мальчуков 2007: 445]
Manzara-nggu-s˚.
 работать-FUT-PAST
 ‘(Он/она) бы работал(а) (но...)’

В работе [Malchukov 2011] этот пример квалифицирован как случай «симметричного» взаимодействия в составе аномального сочетания, которое разрешается путем сдвига значений (реинтерпретации) у обеих граммем.

3.3. Случай взаимодействия со временем других наклонений

Поскольку взаимодействие показателей иллюкутивных значений и показателей времени зависит от функции конкретных граммем, оно оказывается неоднородным для различных речевых актов. Так, речевые акты, ориентированные в будущее (например, выражающие намерение или предупреждение), в основном ведут себя подобно императиву и соответствующим образом взаимодействуют с категорией времени. Например, в эвенском языке существует особое «превентивное» (форма предупреждения, apprehensive) наклонение с показателем *-ka-*, выражающим предостережение [Malchukov 2001]. Важно отметить, что это наклонение обычно выступает в комбинации с показателем будущего времени:

- (14) эвенский язык [Malchukov 2001]
Tik-č̄i-ke-s!
 падать-FUT-PREV-2SG
 ‘Смотри, упадешь!’

Превентивные формы настоящего времени (без показателя будущего) еще ограниченно используются в ряде эвенских диалектов, но в большинстве диалектов уже вышли из употребления [Malchukov 2001].

С другой стороны, вопросительные наклонения, существующие в таких языках, как эскимосский, не ограничивают сочетания с показателями времени; см. примеры и анализ в [König, Siemund 2007]. Языки, в которых употребление вопросительного наклонения ограничено планом прошедшего времени, встречаются довольно редко, хотя подобные случаи отмечаются в некоторых самодийских языках, в том числе в ненецком.

(15) ненецкий язык [Мельчук 1998: 152]

- a. *Manzara-na-s'*
 работать-2SG-PAST
 'Ты работал'.
- b. *Han'ana manzara-sa-n?*
 где работать-PAST.INT-2SG
 'Где ты работал?'

4. Взаимодействие категорий наклонения и вида

4.1. Взаимодействия императива и вида

Выше отмечалось наличие ограничений на употребление императивных форм с показателями времени: в большинстве языков императив не выражает временных значений, так как одни значения времени (прошедшее) в императивном контексте аномальны, а другие (будущее) — избыточны. Как показано в работе [van der Auwera et al. 2009], взаимодействие императива с категорией вида носит более сложный характер. В принципе, императивные значения вполне сочетаются с планом перфектива и имперфектива, в связи с чем языки с флективной категорией вида обычно сохраняют в ней и показатели императива. Примером может служить русский язык, где употребляются формы императива несовершенного и совершенного вида:

- (16) a. *Пиши письмо!*
 b. *Напиши письмо!*

Сказанное справедливо и для языков с менее грамматикализованной категорией вида, которая также может выражаться императивными формами.

И все же, как отмечено в указанной публикации, аспектуальные различия, маркируемые в индикативе, не всегда полностью переносятся в императив: чаще избирается лишь одна форма. При этом может выбираться аспектуальная форма либо имперфектива (как, например, в фарси), либо перфектива (как, например, в представленных ниже примерах из языка кьянг). В первом случае за таким выбором, возможно, стоит наличие диахронической связи между граммемами имперфектива и будущего времени, а второй случай требует отдельного разьянения. В работе [van der Auwera et al. 2009] такое ограничение предлагается относить на счет характерной для императивов общей **перфективной преференции**, которая проявляется в том, что повелительные речевые акты обычно включают поручение осуществить данное событие и не фокусируют внимание на темпоральной структуре события, что характерно для имперфективного ракурса. Наиболее четко перфективная преференция проявляется в языках типа языка кьянг, где в императиве употребляется показатель перфектива несмотря на то, что он представляет собой форму маркированную (за счет пространственных приставок).

- (17) язык кьянг (тибето-бирманский [LaPolla, Chenglong Huang 2003: 173])
ə-z-na!
 DIR-есть-IMP
 'Ешь!'

В русском языке также отмечается частичная нейтрализация аспектуальных различий в императиве [Храковский 1996]. Хотя в русском императиве могут употребляться

и перфективные, и имперфективные формы (см. выше), в отличие от имперфективных форм индикатива, основной функцией которых является выражение длительного действия, в императиве употребление показателей несовершенного вида не обязательно связано с этим значением ('Продолжай V!'). Например, в отличие от форм индикатива несовершенного вида (*Пишет письмо*), императивная форма несовершенного вида *пиши* (16а) крайне редко означает, что адресат уже находится в процессе написания письма ('продолжай выполнение действия')¹². Сказанное может означать, что императив вообще ближе к значению перфектива, чем к значению имперфектива, поскольку он нацелен не на сам процесс выполнения повеления, а на достижение указанного результата. Перфективная преференция в значении императивов также обнаруживается у показателей деонтической модальности в ряде языков, где они преимущественно сочетаются с перфективными глаголами; см. ниже в разделе 4.2.

Как показано в работе [van der Auwera et al. 2009], формальная маркированность является еще одним фактором, который способствует выбору аспектуальных форм императива. Так, при прочих равных условиях в случае нейтрализации выбирается немаркированная видовая морфема. Этим, вероятно, можно объяснить и необычное поведение отрицательного императива в русском языке. Как хорошо известно [Храковский, Володин 1986: 147—154], в русском языке прохибитив регулярно выражается императивами несовершенного вида, а отрицательные императивы совершенного вида получают превентивную интерпретацию (выражение предостережения):

- (18) а. *Не делай этого!*
 б. *Смотри, не сделай ошибки!*

Та же модель отрицания с перфективными императивами со значением предостережения отмечается в венгерском (где перфектив также выражается префиксами) и китайском языке (перфективный суффикс *le*). И в этих случаях можно усматривать реинтерпретацию маркированной аспектуальной формы в контексте нейтрализации.

Примечательно также, что нейтрализация более заметна в случае употребления отрицательных императивов (прохибитивов), чем положительных, поскольку имперфективные и перфективные формы императива в контексте отрицания логически эквивалентны [Padučeva 2008]¹³. Хотя это и не объясняет причину, по которой выбор в контексте нейтрализации падает на несовершенный вид, но ею, очевидно, является маркированность. Если принять общее мнение, согласно которому имперфектив является функционально немаркированным видом [Jakobson 1957; Бондарко 1971; Мельчук 1998], то неудивительно, что в отрицательных императивах он выбирается по умолчанию, а функционально маркированная форма перфектива подвергается реинтерпретации.

4.2. Взаимодействие ирреалиса и вида

Взаимодействие наклонений ирреалиса с категорией вида может подлежать тем же ограничениям, о которых упоминалось выше в связи с категорией времени. В обоих случаях в наклонениях ирреалиса число аспектуально-временных значений часто уменьшается, что можно отнести на счет дистрибутивной маркированности (сокращение парадигмы у маркированной грамеммы) или на счет «релевантности» (необязательность аспектуальной

¹² Эта нейтрализация, однако, носит лишь частичный характер, поскольку императив сохраняет остаточные аспектуальные различия. Так, в случаях, когда действие продолжается, употребляются лишь формы императива несовершенного вида. Точно так же предпочтительным является употребление формы несовершенного вида в ситуациях, когда действие вот-вот состоится или все этапы подготовки к нему завершены: если слушающий уже стоит на пороге, то употребляется форма несовершенного вида *Заходи!*, а не форма совершенного вида *Зайди!* [Бирюлин, Храковский 1992: 33; Падучева 1996: 66 и сл.].

¹³ «In fact, in order to say that an action is forbidden, it is sufficient to say this about an activity that leads to this action» [Padučeva 2008: 205].

характеристики несовершенного действия). Подобная нейтрализация не ограничивается формами ирреалиса (конъюнктива), но, в известной мере, характерна и для иллюкутивных наклонений, включая императив. Например, в языке коромфе [Rennison 1997] четырехсторонней видо-временной оппозиции в индикативе (между аористом, прошедшим временем, дуративом и прогрессивом) противопоставлена лишь одна оппозиция между немаркированной формой и дуративом в императиве. В санскрите формы императива и опатива производны от основ настоящего времени и имперфектива [Kulikov 2001]. Первоначально наклонения ирреалиса могли также возникать от основ аориста и перфекта, однако последние формы исчезли, что привело к нейтрализации аспектуальных различий. В баскском языке в конъюнктиве отсутствует различие видовых форм [Saltarelli 1988: 230]. А в цахурском языке (Дагестан) видовая оппозиция обязательна в («референтных») наклонениях реалиса, факультативна в гипотетических наклонениях и отсутствует в нефактивных наклонениях [Майсак, Татевосов 1998]. Примечательно, что Майсак и Татевосов также апеллируют к понятию релевантности для объяснения указанного постепенного нивелирования аспектуальных различий в цахурском языке.

Еще один случай взаимодействия модального значения и аспекта связан с выбором между деонтическим и эпистемическим прочтением в зависимости от аспекта; см. известные примеры из английского типа *He must leave* 'Он должен уехать' (деонтическое толкование) — *He must be leaving* 'Он, должно быть, уезжает' (эпистемическое толкование), которые имеют параллели в других языках ([Abraham, Leiss 2008]; о связи перфективных контекстов с деонтической модальностью, а имперфективных с эпистемической в славянских языках см. [Wiemer 2001]). Хотя модальные глаголы, выражающие деонтическую модальность, в нашей статье, посвященной наклонению, специально не обсуждаются, подобные случаи заслуживают внимания, поскольку взаимодействие показателей деонтической модальности с категорией вида напоминает взаимодействие императива с категорией вида. Например, как отмечает Е. В. Падучева [Paduceva 2008], в русском языке при отрицании показатели как императива, так и деонтической модальности могут сочетаться лишь с имперфективным инфинитивом:

- (19) а. Ты должен уехать.
б. Ты не должен уезжать (*уехать).

В названной работе нейтрализация значения вида справедливо относится на счет семантической эквивалентности видовых форм в данном контексте, однако в числе факторов, влияющих на выбор имперфективной формы в контексте нейтрализации, Е. В. Падучева не упоминает категорию маркированности. С нашей точки зрения, взаимодействие деонтической модальности и императива с видовыми граммемами описывается сходными правилами в обоих случаях: в контексте семантической эквивалентности выбирается немаркированная форма (несовершенного вида), а маркированная форма, если она вообще возможна, реинтерпретируется (см. также [Abraham, Leiss 2008], где вопрос о связи между значениями отрицания и несовершенного вида рассматривается более подробно).

5. Взаимодействие категорий наклонения и отрицания

5.1. Императив и отрицание

Взаимодействию категорий модальности и отрицания посвящена обширная литература, см., например, [van der Auwera 1996; de Naan 1997], в которой, однако, в основном рассматриваются проблемы не наклонений, а модальных глаголов. В контексте же настоящей работы, описывающей взаимодействие наклонения с другими глагольными категориями, важно отметить, что конструкции с показателями отрицательного императива (прохибитива) нередко строятся «нестандартно» (не в соответствии с принципом композиционности): они либо используют особый показатель прохибитива в сочетании со стандартным показателем императива, либо особую форму императива в сочетании со стандартным показателем

отрицания [Xrakovskij 2001; van der Auwera et al. 2005; König, Siemund 2007; Aikhenvald 2010]. Одна из распространенных моделей связана с использованием в прохибитивных конструкциях форм конъюнктива; см. примеры из испанского языка:

- (20) испанский язык [König, Siemund 2007: 310]
- a. *Canta!*
петь.2SG.IMP
'Пой!'
 - b. *No cantes!*
NEG петь.2SG.PRES.SBJV
'Не пой!'

Палмер [Palmer 1986: 113] объясняет употребление показателей конъюнктива (а также «юссива») в прохибитивных конструкциях логическими соображениями: «Вероятно, это можно объяснить тем, что отказ дать разрешение логически эквивалентен повелению не совершать действие...»¹⁴. Вместе с тем следует отметить, что употребление показателей конъюнктива не ограничено прохибитивными конструкциями. Как показано в следующем разделе, сочетание показателей конъюнктива / ирреалиса с отрицанием — весьма распространенная модель в языках мира; см. обзор в [Miestamo 2005].

5.2. Ирреалис и отрицание

Результаты ряда типологических исследований [Mithun 1995; Elliott 2000; Урманчиева 2004] показывают, что, наряду с грамматическим временем (отнесенность к будущему), к числу важнейших факторов, обуславливающих употребление показателей ирреалиса, принадлежит отрицание. К языкам, для которых характерно употребление реалиса и ирреалиса, обусловленное «полярностью» высказывания (контекстом утвердительных или отрицательных форм), относится язык каддо; см. выше пример (5) из работы [Chafe 1995]. Еще одним представителем этого типа является язык маунг:

- (21) язык маунг [Capell, Hinch 1970], цит. по [Elliott 2000: 77]
- a. *ŋi-udba-ŋ*.
1SG-клась-*PAST.R*
'Я положил' (плюсквамперфект).
 - b. *marig ŋi-udba-ŋji*.
NEG 1SG-клась-*PAST.IRR*
'Я не клал'.

Вместе с тем языки ведут себя в этом отношении неодинаково: например, если в языке каддо в контексте отрицания употребляются формы ирреалиса (5), то в центральном помо — формы реалиса; см. [Mithun 1995]. По мнению Митун [Mithun 1995: 380—381], это связано со сферой действия отрицания в отношении операторов реальности: в одних языках отрицается реальность события, а в других, скорее, речь идет об утверждении о его нереальности. Таким образом, в первом случае отрицание включает наклонение в сферу своего действия, а в последнем — наоборот.

Употребление показателей ирреалиса в сфере отрицания напоминает модель, известную из европейских языков, когда выбор между индикативом и конъюнктивом зависит от фактивности придаточного предложения. Палмер [Palmer 1986: 145] предлагает следующее обобщающее определение этой модели: «Конъюнктив употребляется в случаях, когда отсутствует какая-либо уверенность в осуществлении действия, но присутствует либо неуверенность ("может быть"), либо отсутствие полной уверенности ("сомнение") или в ситуации

¹⁴ «The explanation for this is, presumably, that denial of permission is equivalent to giving instructions not to act, since 'Not-possible' is equivalent to 'Necessary-not' in a logical system» [Palmer 1986: 113].

имеется презумпция, что действие скорее всего не осуществится»¹⁵. Ср. следующий пример из французского языка:

- (22) французский язык [Palmer 1986: 145]
Je pense qu'il vient.
 Я думать что=он приходить.3SG.PRES.IND
 'Я думаю, что он придет'.
- (23) *Je ne pense pas qu'il vienne.*
 Я не думать нет что=он приходить.3SG.PRES.SBJV
 'Я не думаю, что он придет'.

Предпочтение отдается конъюнктиву и тогда, когда основной глагол употребляется с отрицанием или отрицание является неотъемлемой частью его семантики. Любопытно отметить, что в работе [Bybee et al. 1994: 221—225] контексты с формами конъюнктива (выражающим значение возможности и т. д.) определяются как «гармоничные» по отношению к глаголам со значением сомнения. Этот подход (и терминология) перекликается с нашим анализом синтагматических взаимодействий с точки зрения «удачных» (естественных) / «неудачных» (аномальных) сочетаний, несмотря на то, что применяется в отношении случаев скорее синтаксической, чем морфологической сочетаемости.

5.3. Тернарное взаимодействие

Любопытный случай тернарного взаимодействия между показателями реалиса / ирреалиса, императива и отрицания приводятся в работе [Elliott 2000]. Как указано выше, в некоторых языках императив трактуется как ирреалис (см. пример (3) из языка маунг), а в других — как реалис. В ряде языков последнего типа употребление показателей реалиса / ирреалиса также зависит от наличия / отсутствия отрицания. Как правило, утвердительные императивы относятся к сфере реалиса, а отрицательные — к сфере ирреалиса; см. примеры из языка ватаман:

- (24) язык ватаман [Merlan 1994: 183]
- a. *Ø-wo gila!*
 2SG-дай же
 'Дай же (это ему)!'
- b. *wonggo yinganu-wo-n warnarr-warang!*
 NEG IRR.2.NONSG.A/ISG.O-давать-NONPST жир_имеющий-ABS
 'Не давай (мне) жирных'.

Эта модель — явный пример «логической» обусловленности форм реалиса / ирреалиса в случаях, когда маркирование ирреалиса связано с контекстом отрицания [Урманчиева 2004]. Труднее объяснить обратный случай, обнаруженный Эллиот. В языке манам и в ряде других австронезийских языков утвердительные императивы маркируются показателями ирреалиса, а отрицательные — показателями реалиса:

- (25) язык манам [Elliott 2000: 77], цит. по [Lichtenberk 1983: 418]
- a. *Go-moanā?o!*
 2SG.IRR-есть
 'Ешь!'
- b. *Móa?i ?u-pérez?-i!*
 ПРОН 2SG.R-терять-3SG.OBJ
 'Не потеряй это!'

¹⁵ «Where there is no degree of positive commitment but either non-commitment as with *be possible*, or negative commitment as with *doubt* (partial negative commitment) or *don't think* (total negative commitment), the subjunctive is used» [Palmer 1986: 145].

Эллиот считает данный случай необычным, отмечая, что «удовлетворительного объяснения этому явлению пока не существует и оно остается темой для дальнейших исследований» [Elliott 2000: 77]. Представляется, однако, что эту модель можно объяснить семантически, исходя из предположения, что семантика ирреалиса предполагает отрицание реалиса. Тогда в отрицательных императивных конструкциях два отрицания просто нейтрализуют друг друга.

Тем не менее на фоне остальных языков мира степень распространения этой модели выглядит маргинальной: недавно опубликованные результаты типологических исследований подтверждают, что в языках мира маркирование ирреалиса в императиве предполагает и его маркирование в прохибитиве [van der Auwera, Devos 2012].

5.4. Наклонение и отрицание: роль диахронии

В заключение настоящего раздела приведем еще один случай диахронически обусловленного взаимодействия между значениями иллюкутивной модальности и отрицания. В нанайском языке [Аврорин 1962] существует особое «очевидное» наклонение. Его любопытная особенность состоит в том, что при нем в принципе невозможно отрицание. При этом очевидно, что маркированность не может быть единственным фактором, определяющим этот запрет, так как остальные (индикативные и не-индикативные) наклонения не предусматривают каких-либо ограничений на сочетаемость с отрицанием. Истинная же причина весьма проста: диахронически формы очевидного наклонения восходят к сочетанию отрицательной формы глагола с эмфатической частицей. Ср. форму «очевидного» наклонения в (26a) и отрицательную форму индикатива в (26b):

- (26) нанайский язык [Аврорин 1962: 115]
- a. *Debo-a.ca-i=ka!*
работать-PAST.AFF-1SG=PTCL
'Я же работал!' (или букв. 'Разве я не работал?!')
 - b. *Debo-a.ca-i.*
работать-PAST.NEG-1SG
'Я не работал'.

Эти примеры — яркая иллюстрация роли диахронии в объяснении ограничений в области синтагматического взаимодействия, но также и того, что многие диахронические факторы не поддаются типологическому обобщению.

6. Взаимодействие категорий наклонения и лица: взаимодействие императива и лица

Как отмечается в литературе [Храковский, Володин 1986; van der Auwera et al. 2004; Croft 1990: 149], сочетания показателей императива и лица демонстрируют определенные типологические тенденции. Они представляют иерархию маркированности, в которой формы императива 2 лица маркированы в наименьшей степени (и присутствуют во всех языках), а формы императива 1 л. ед. ч. (а также формы эксклюзива 1 л. мн. ч., в отличие от форм инклюзива 1 л. мн. ч.) маркированы в наибольшей степени. Такие отношения частной (избирательной) маркированности (local markedness) можно представить в форме семантической карты или иерархии, которая позволяет предсказать наличие определенных форм для обозначения различных лиц. В упрощенном варианте эта карта представлена ниже в (27) в виде следующей иерархии, см. [van der Auwera et al. 2004; Schalley 2008; Aikhenvald 2010; Гусев 2013]:

- (27) Иерархия значений лица в императиве
2SG > 2PL > 1PL.INCL > 3SG, PL > 1PL.EXCL, 1SG

Императив ←

Из схемы видно, что чаще всего маркируются специализированными императивными формами (если в языке таковые есть) значения 2 л., а формы 1 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. **эксклюзива** входят в императивную парадигму реже всего. Например, в армянском языке формы императива существуют лишь для 2 л., в эскимосском (западно-гренландском) языке — для 2 и 1 л. мн. ч. инклюзива, в финском — для всех лиц кроме 1 л. ед. ч., а в языке лингала — для всех лиц; более подробно по этой теме см. [van der Auwera et al. 2004]. Важно отметить, что в последнем случае семантически аномальная императивная форма 1 л. ед. ч. (или 1 л. мн. ч. эксклюзива) чаще всего подвергается реинтерпретации. В работе [Malchukov 2001] этот факт был отмечен в эвенском (тунгусском) языке, где в сочетаниях форм 1 л. со «вторым» (дистантным) императивом на *-dA-* доминантной может оказаться и та и другая граммема. С одной стороны, формы на *-dA-* в сочетании с показателем 1 л. ед. ч. стали выражать значение будущего времени. Наличие этой реинтерпретации ясно из того факта, что форма на *-dA-ku* может употребляться в общевопросительных предложениях:

- (28) эвенский язык
а. *Hör-de-j!*
идти-IMP-REFL.SG
'Иди (позже)!'
б. *Hör-de-ku?* *Inge, hör-li-e!*
идти-IMP-1SG ладно идти-IMP-PTCL
'Мне можно идти? Ладно, иди!'

С другой стороны, аномальное сочетание показателя отсроченного императива с показателем 1 л. мн. ч. **эксклюзива** *-(k)un*, обозначающим в других наклонениях ряд лиц, из числа которых исключается слушающий (ср.: *Hör-ri-vun* 'Мы уехали (без тебя)' и *Hör-ri-t* 'Мы уехали (с тобой)'), вызывает реинтерпретацию значения личного показателя. У последнего появляется **инклюзивное** значение, с семантической точки зрения более «удачное», совместимое с функцией повелительного речевого акта:

- (29) эвенский язык
Hör-de-kun!
идти-IMP-1PL.EXCL
'Пошли!'

Однако чаще всего формы императива 1 л. ед. ч. в языке отсутствуют [Бирюлин, Храковский 1992: 30; van der Auwera et al. 2004]. Так, в финском языке это единственная форма, которая не представлена в императивной парадигме. Специализированная форма 1 л. ед. ч. императива отсутствует и в тюркских языках [Храковский 1996: 39]. Подобное варьирование характерно для аномальных сочетаний: такие формы либо вовсе отсутствуют в парадигме, либо подвергаются реинтерпретации.

Вместе с тем следует отметить, что запрету («blocking» [Malchukov 2011]) могут подвергаться не одни лишь аномальные сочетания, но также и самые естественные и высокочастотные комбинации грамматических значений, причем по прямо противоположным основаниям, а именно по причине их избыточности. В литературе неоднократно отмечалось (см. [Храковский 1992] и последующие работы), что, особенно в языках с усеченной парадигмой императива, предпочтение отдается не независимому, а кумулятивному выражению форм императива 2 лица. Таким образом, принцип экономии налагает запрет на **поверхностное** выражение соответствующих значений двумя отдельными (ненулевыми) показателями и, напротив, стимулирует их кумулятивное выражение.

7. Заключение

В Заключении обобщим выводы, которые касаются, главным образом, факторов, определяющих взаимодействие наклонения с другими категориями; общие соображения на эту тему можно найти в работе [Malchukov 2011]. Способ взаимодействия категорий, и в частности категорий наклонения и модальности с другими категориями, определяется целым рядом различных факторов. Один фактор — семантическая совместимость и «естественность» отдельных комбинаций граммем. Как подтверждают многочисленные примеры, аномальные комбинации — такие как «императив прошедшего времени» или «императив 1 л. ед. ч.» — обычно либо не представлены в парадигме совсем, либо подвергаются реинтерпретации. И, наоборот, естественные («гармонические») комбинации будут представлены во всех языках. Это обобщение требует, однако, одной важной оговорки.

Даже наиболее естественные сочетания могут быть ограничены в силу принципа экономии, который обычно исключает морфологическое (ненулевое) выражение обеих граммем в контекстах, если употребление одной из них будет избыточным. По соображениям экономии, такие семантически избыточные комбинации значений либо выражаются кумулятивно (как императив 2 л.), либо ведут к регулярному образованию полисемии в языках мира. Например, в языках с оппозицией реалиса / ирреалиса либо показатели ирреалиса гармонично сочетаются с показателем будущего времени (в системе «объединенного» кодирования различий между реалисом и ирреалисом, ср. пример (12) из языка автув), либо показатели ирреалиса употребляются как собственно показатели будущего времени (в «разъединенной системе», ср. пример (11) из языка букийип).

Еще одним общим принципом, накладывающим ограничения на синтагматическую сочетаемость, является так называемый фактор релевантности [Malchukov 2011]. Действие релевантности сводится к нейтрализации различий в значениях с пониженной функциональной нагрузкой (например, формы ирреалиса нередко не различают значений времени или вида, поскольку видо-временная характеристика является чисто прагматически малозначимой для действий, которые не осуществились). Подобные случаи также можно интерпретировать в рамках теории маркированности, в соответствии с которой немаркированные категории характеризуются более широкими возможностями дистрибуции по отношению к маркированным категориям (о «дистрибутивной маркированности» см. [Croft 1990]).

Вышеупомянутые факторы можно рассматривать в рамках теории маркированности, однако лишь, если последняя понимается не как общая маркированность (global markedness) безотносительная к значениям других категорий (так что множественное число оказывается всегда маркированным членом числовой оппозиции по отношению к единственному), а как частная (избирательная или дистрибутивная) маркированность (local markedness, в терминах, принятых в [Tiersma 1982] и [Croft 1990]), связанная с естественным характером конкретных комбинаций граммем. Если речь идет о более сложных парадигмах и если учитывать небинарные оппозиции (см. выше о категориях лица / числа), то подобные отношения частной маркированности можно описывать в терминах многочленных имплицативных иерархий (таких как «иерархия значений лица в категории императива» в (27)). Вместе с тем предсказание таких имплицативных иерархий, формируемых общими правилами семантической совместности и прагматической «полезности» сочетания отдельных граммем, будет всегда статистического, а не абсолютного характера, поскольку формирование отдельных парадигм, регулирующих сочетаемость грамматических показателей, в конечном счете, отражает особенности диахронического развития, характерные для данного конкретного языка. Во всяком случае, при постулировании таких иерархий основная роль отводится семантике отдельных граммем (императива, ирреалиса и т. д.), а не грамматических категорий в целом (наклонение, время и др.), поскольку синтагматические процессы — в той степени, в которой они обнаруживают типологические регулярности, — могут быть описаны и отчасти предсказаны только исходя из семантики отдельных граммем и общих процессов семантической композиции.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1, 2, 3	— лицо	NEG	— отрицание
A	— субъект переходного глагола	NONPST	— непрошедшее
ABS	— абсолютив	NONSG	— неединственное число
AFF	— аффирматив	NOM	— номинатив
AOR	— аорист	O	— объект переходного глагола
CLIT	— клитика	OBJ	— объект
DIR	— директивный (локативный) префикс	PART	— причастие
DIST	— дистантный императив	PAST	— прошедшее время
EXCL	— эксклюзив	PERF	— перфект
FUT	— будущее время	PL	— множественное число
HAB	— хабиуталис	PRES	— настоящее время
HYPTH	— гипотетическое наклонение	PREV	— превентив
IMP	— императив	PROB	— вероятностное наклонение
INCL	— инклюзив	PROH	— прохибитив
IND	— индикатив	PTCL	— частица
INT	— интеррогатив	R	— реалис
IRR	— ирреалис	REFL	— рефлексив
NECESS	— долженствовательное наклонение	SBJV	— конъюнктив
		SG	— единственное число

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Аврорин 1962 — Аврорин В. А. Грамматика нанайского языка. Л.: Наука, 1962. [Avrorin V. A. *Grammatika nanajского yazyka* [Grammar of the Nanai language]. Leningrad: Nauka, 1962.]
- Бирюлин, Храковский 1992 — Бирюлин Л. А., Храковский В. С. Повелительные предложения: проблемы теории // Храковский В. С. (отв. ред.). Типология императивных конструкций. СПб.: Наука, 1992. С. 5—50. [Biryulin L. A., Xrakovskij V. S. Imperative sentences: problems of the theory. *Tipologiya imperativnykh konstruksii*. Xrakovskij V. S. (ed.). St. Petersburg: Nauka, 1992. Pp. 5—50.]
- Бондарко 1971 — Бондарко А. В. Вид и время русского глагола. Л.: Наука, 1971. [Bondarko A. V. *Vid i vremya russkogo glagola* [Aspect and tense of the Russian verb]. Leningrad: Nauka, 1971.]
- Гусев 2005 — Гусев В. Ю. Типология специализированных глагольных форм императива: Дис. ... канд. филол. наук. М.: РГГУ, 2005. [Gusev V. Yu. *Tipologiya spetsializirovannykh glagol'nykh form imperativa. Kand. diss.* [Typology of specific imperative forms of the verb. Cand. diss.]. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2005.]
- Гусев 2013 — Гусев В. Ю. Типология императива. М.: Языки славянской культуры, 2013. [Gusev V. Yu. *Tipologiya imperativa* [Typology of the imperative]. Moscow Yazyki Slavyanskoj Kul'tury, 2013.]
- Люблинская, Мальчуков 2007 — Люблинская М. Д., Мальчуков А. Л. Эвиденциальность в ненецком языке // Храковский В. С. (отв. ред.). Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сборник статей памяти Н. А. Козинцевой. СПб.: Наука, 2007. С. 445—468. [Lyublinskaya M. D., Malchukov A. L. Evidentiality in the Nenets language. *Evidentsial'nost' v yazykakh Evropy i Azii. Sbornik statej pamjati N. A. Kozincevoj*. Xrakovskij V. S. (ed.). St. Petersburg: Nauka, 2007. Pp. 445—468.]
- Майсак, Татовосов 1998 — Майсак Т. А., Татовосов С. Г. Вид и модальность: Способы взаимодействия (на материале цахурского языка) // Черткова М. Ю. (отв. ред.). Типология вида: Проблемы, поиски, решения. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 265—281. [Maisak T. A., Tatevosov S. G. Aspect and modality: ways of interaction (Tsakhur). *Tipologiya vida: Problemy, poiski, resheniya*. Chertkova M. Yu. (ed.). Moscow: Shkola «Yazyki Russkoj Kul'tury», 1998. Pp. 265—281.]
- Мальчуков 1999 — Мальчуков А. Л. Перфект и эвиденциальность в тунгусских языках (опыт функционально-диахронического анализа) // Вопросы языкознания. 1999. № 3. С. 119—132. [Mal'chukov A. L. Perfect and evidentiality in the Tungus languages (an essay in functional and diachronic analysis). *Voprosy jazykoznanija*. 1999. No. 3. Pp. 119—132.]

- Мельчук 1998 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 2. М.: Языки русской культуры; Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 1998. [Melčuk I. A. *Kurs obshchei morfologii* [A course of general morphology]. Vol. 2. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury; Vena: Wiener Slawistischer Almanach, 1998.]
- Падучева 1996 — Падучева Е. В. Семантические исследования. М.: Языки русской культуры, 1996. [Paducheva E. V. *Semanticheskie issledovaniya* [Semantic studies]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1996.]
- Плунгян 2000 — Плунгян В. А. Общая морфология. М.: Эдиториал УРСС, 2000. [Plungian V. A. *Obshchaya morfologiya* [General morphology]. Moscow: Editorial URSS, 2000.]
- Плунгян 2011 — Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. [Plungian V. A. *Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira* [Introduction to grammatical semantics: grammatical categories and grammatical systems across languages]. Moscow: RGGU, 2011.]
- Урманчиева 2004 — Урманчиева А. Ю. Седьмое доказательство реальности ирреалиса. // Ландер Ю. А., Плунгян В. А., Урманчиева А. Ю. (ред.). Ирреалис и ирреальность. М.: Гнозис, 2004. С. 28—75. [Urmanchieva A. Ju. The seventh proof of reality of the unreal mood. *Irrealis i irreal'nost'*. Lander Yu. A., Plungian V. A., Urmanchieva A. Ju. (eds). Moscow: Gnozis, 2004. Pp. 28—75.]
- Храковский 1990 — Храковский В. С. 1990 — Взаимодействие грамматических категорий глагола: опыт анализа // Вопросы языкознания. 1990. № 5. С. 18—36. [Xrakovskij V. S. Interaction of grammatical categories of the verb. *Voprosy jazykoznanija*. 1990. No. 5. Pp. 18—36.]
- Храковский 1992 — Храковский В. С. (отв. ред.). Типология императивных конструкций. СПб.: Наука, 1992. [Xrakovskij V. S. (ed.). *Tipologiya imperativnykh konstruksii*. [Typology of imperative constructions]. St. Petersburg: Nauka, 1992.]
- Храковский 1996 — Храковский В. С. Грамматические категории глагола: опыт теории взаимодействия // Бондарко А. В. (отв. ред.). Межкатегориальные связи в грамматике. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. С. 22—43. [Xrakovskij V. S. Grammatical categories of the verb: an essay of the theory of interaction. *Mezhkategorial'nye svyazi v grammatike*. Bondarko A. V. (ed.). St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 1996. Pp. 22—43.]
- Храковский, Володин 1979 — Храковский В. С., Володин А. П. Об основаниях выделения грамматических категорий (время и наклонение) // Храковский В. С. (отв. ред.). Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л.: Наука, 1979. С. 42—54. [Xrakovskij V. S., Volodin A. P. Principles of identifying grammatical categories (tense and mood). *Problemy lingvisticheskoi tipologii i struktury yazyka*. Xrakovskij V. S. (ed.). Leningrad: Nauka, 1979. Pp. 42—54.]
- Храковский, Володин 1986 — Храковский В. С., Володин А. П. Типология императивных конструкций: русский императив. Л.: Наука, 1986. [Xrakovskij V. S., Volodin A. P. *Tipologiya imperativnykh konstruksii: russkii imperativ* [Typology of imperative constructions: the Russian imperative]. Leningrad: Nauka, 1986.]
- Якобсон 1972 — Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М.: Наука, 1972. С. 95—113. [Jakobson R. O. Shifters, verbal categories and the Russian verb. *Printsipy tipologicheskogo analiza yazykov razlichnogo stroya*. Moscow: Nauka, 1972. Pp. 95—113.]
- Abraham, Leiss 2008 — Abraham W., Leiss E. Introduction. *Modality-aspect interfaces. Implications and typological solutions*. Abraham W., Leiss E. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2008. Pp. XI—XXIV.
- Aikhenvald 2004 — Aikhenvald A. Yu. *Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Aikhenvald 2010 — Aikhenvald A. Yu. *Imperatives and commands*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Aikhenvald, Dixon 1998 — Aikhenvald A. Yu., Dixon R. M. W. Dependencies between grammatical systems. *Language*. 1998. Vol. 74. No. 1. Pp. 56—80.
- van der Auwera 1996 — van der Auwera J. Modality: The three-layered scalar square. *Journal of semantics*. 1996. Vol. 13. No. 3. Pp. 181—195.
- van der Auwera, Plungian 1998 — van der Auwera J., Plungian V. Modality's semantic map. *Linguistic typology*. 1998. No. 2. Pp. 79—124.
- van der Auwera et al. 2004 — van der Auwera J., Dobrushina N., Goussev V. A semantic map for imperatives-hortatives. *Contrastive analysis in language: Identifying linguistic units in comparison*. Willems D., Defrancq B., Coleman T., Noel D. (eds). New York: Palgrave Macmillan, 2004. Pp. 44—69.
- van der Auwera et al. 2005 — van der Auwera J., Lejeune L., Goussev V. The prohibitive. *The world atlas of language structures*. Haspelmath M., Dryer M. S., Gil D., Comrie B. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005. Pp. 290—293.

- van der Auwera et al. 2009 — van der Auwera J., Malchukov A., Schalley E. Thoughts on (im)perfective imperatives. *Form and function in language research. Festschrift for Christian Lehmann*. Helmbrecht J. et al. (eds). Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. Pp. 93—107.
- van der Auwera, Devos 2012 — van der Auwera J., Devos M. Irrealis in positive imperatives and prohibitives. *Language sciences*. 2012. Vol. 34. No. 1. Pp. 171—183.
- Bybee 1985 — Bybee J. *Morphology: A study of the relation between meaning and form*. Amsterdam: John Benjamins, 1985.
- Bybee 1995 — Bybee J. The semantic development of past tense modals in English. *Modality in grammar and discourse*. Bybee J., Fleischman S. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 1995. Pp. 503—517.
- Bybee et al. 1994 — Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. *The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Capell, Hinch 1970 — Capell A., Hinch H. E. *Maung grammar, texts and vocabulary*. The Hague: Mouton, 1970.
- Chafe 1995 — Chafe W. The realis-irrealis distinction in Caddo, the Northern Iroquoian languages, and English. *Modality in discourse and grammar*. Bybee J., Fleischman S. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 1995. Pp. 349—366.
- Conrad, Wogiga 1991 — Conrad R. J., Wogiga K. *An outline of Bukiyip grammar*. Canberra: Australian National University, 1991.
- Cowell 1964 — Cowell M. W. *A reference grammar of Syrian Arabic*. Washington: Georgetown University Press, 1964.
- Croft 1990 — Croft W. *Typology and universals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Croft 2003 — Croft W. *Typology and universals*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Derbyshire 1979 — Derbyshire D. C. *Hixkaryana*. Amsterdam: North-Holland, 1979.
- Elliott 2000 — Elliott J. R. Realis and irrealis: Forms and concepts of the grammaticalisation of reality. *Linguistic typology*. 2000. Vol. 4. No. 1. Pp. 55—90.
- Feldman 1986 — Feldman H. *A Grammar of Awtuw*. (Pacific linguistics, 94.) Canberra: Australian National University, 1986.
- Fleischman 1989 — Fleischman S. Temporal distance: A basic linguistic metaphor. *Studies in language*. 1989. Vol. 13. No. 1. Pp. 1—51.
- Friedman 2000 — Friedman V. Confirmative/nonconfirmative in Balkan Slavic, Balkan, Romance, and Albanian with additional observations on Turkish, Romani, Georgian and Lak. *Evidentials: Turkic, Iranian and neighboring languages*. Johanson L., Utas B. (eds). Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. Pp. 329—366.
- Givón 1982 — Givón T. Evidentiality and epistemic space. *Studies in language*. 1982. Vol. 6. No. 1. Pp. 23—49.
- de Haan 1997 — de Haan F. *The interaction of modality and negation: A typological study*. New York: Garland, 1997.
- de Haan 2006 — de Haan F. Typological approaches to modality. *The expression of modality*. Frawley W. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. Pp. 27—69.
- Haspelmath 1998 — Haspelmath M. The semantic development of old presents: New futures and subjunctives without grammaticalization. *Diachronica*. 1998. Vol. 15. No. 1. Pp. 29—62.
- Haspelmath 2006 — Haspelmath M. Against markedness (and what to replace it with). *Journal of Linguistics*. Vol. 42. No. 1. Pp. 25—70.
- James 1982 — James D. Past tense and the hypothetical: A cross-linguistic study. *Studies in language*. 1982. Vol. 6. No. 1. Pp. 375—403.
- Jakobson 1957 — Jakobson R. Shifters, verbal categories and the Russian verb. *Selected writings. Vol. 2: Word and language*. The Hague: Mouton, 1957. Pp. 130—147.
- König, Siemund 2007 — König E., Siemund P. Speech act distinctions in grammar. *Language typology and syntactic description. Vol. 1: Clause structure*. Shopen T. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Pp. 276—324.
- Kulikov 2001 — Kulikov L. *The Vedic -ya- presents*. Ph.D. thesis. University of Leiden, 2001.
- LaPolla, Chenglong Huang 2003 — LaPolla R., Chenglong Huang. *A grammar of Qiang with annotated texts and glossary*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003.
- Lichtenberk 1983 — Lichtenberk F. *A grammar of Manam*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1983.
- Lyons 1977 — Lyons J. *Semantics*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Malchukov 2000 — Malchukov A. L. Perfect, evidentiality and related categories in Tungusic languages. *Evidentials: Turkic, Iranian and neighboring languages*. Johanson L., Utas B. (eds). Berlin: Mouton de Gruyter, 2000. Pp. 441—471.

- Malchukov 2001 — Malchukov A. L. Imperative constructions in Even. *Typology of imperative constructions*. Xrakovskij V. S. (ed.). Munich: Lincom, 2001. Pp. 159—180.
- Malchukov 2009 — Malchukov A. L. Incompatible categories: Resolving the «present perfective paradox». *Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality*. Hogeweg L., de Hoop H., Malchukov A. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2009. Pp. 13—33.
- Malchukov 2011 — Malchukov A. L. Interaction of verbal categories: Resolution of infelicitous grammeme combinations. *Linguistics*. 2011. Vol. 49. No. 1. Pp. 229—282.
- Merlan 1994 — Merlan F. C. *A grammar of Wardaman, a language of the Northern Territory of Australia*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994.
- Miestamo 2005 — Miestamo M. *Standard negation: The negation of declarative verbal main clauses in a typological perspective*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005.
- Mithun 1995 — Mithun M. On the relativity of irrealis. *Modality in grammar and discourse*. Bybee J., Fleischman S. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 1995. Pp. 367—388.
- Narrog 2005 — Narrog H. On defining modality again. *Language sciences*. 2005. Vol. 27. No. 2. Pp. 165—192.
- Nuyts 2005 — Nuyts J. The modal confusion: On terminology and the concepts behind it. *Modality: Studies in form and function*. Klinge A., Müller H. H. (eds). London: Equinox, 2005. Pp. 5—38.
- Padučeva 2008 — Padučeva E. V. Russian modals *možet* 'can' and *dožen* 'must' selecting the imperfective in negative contexts. *Modality-aspect interfaces. Implications and typological solutions*. Abraham W., Leiss E. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2008. Pp. 197—215.
- Palmer 1986 — Palmer F. R. *Mood and modality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Palmer 2001 — Palmer F. R. *Mood and modality*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Plungian 2001 — Plungian V. The place of evidentiality within the universal grammatical space. *Journal of pragmatics*. 2001. Vol. 33. No. 3. Pp. 349—357.
- Rennison 1997 — Rennison J. R. *Koromfe*. London: Routledge, 1997.
- Saltarelli 1988 — Saltarelli M. *Basque*. London: Routledge, 1988.
- Schalley 2008 — Schalley E. *Imperatives: a typological approach*. Ph. D. thesis. University of Antwerpen, 2008.
- Taylor 1985 — Taylor C. V. *Nkore-Kiga*. London: Croom Helm, 1985.
- Thieroff 2004 — Thieroff R. Modale Tempora — non-modale Modi. Zu Bedeutung und Gebrauch inhärenter Verbkategorien in verschiedenen europäischen Sprachen. *Tempus / Temporalität und Modus / Modalität im Sprachvergleich*. Leirbukt O. (ed.). Tübingen: Stauffenburg, 2004. S. 63—85.
- Thieroff 2010 — Thieroff R. Moods, moods, moods. *Mood in the languages of Europe*. Rothstein B., Thieroff R. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2010. Pp. 1—29.
- Tiersma 1982 — Tiersma P. M. Local and general markedness. *Language*. 1982. Vol. 58. No. 4. Pp. 832—849.
- Traugott 2006 — Traugott E. C. Historical aspects of modality. *The expression of modality*. Frawley W. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. Pp. 107—139.
- Van Valin, LaPolla 1997 — Van Valin R. D., LaPolla R. J. *Syntax. Structure, meaning and function*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Wiemer 2001 — Wiemer B. Aspect choice in non-declarative and modalized utterances as extension from assertive domains. *Untersuchungen zur Morphologie und Syntax im Slawischen*. Bartels H., Störmer N., Walusiak E. (Hrsg.). Oldenburg: Bis, 2001. Pp. 195—221.
- Xrakovskij 2001 — Xrakovskij V. S. (ed.). *Typology of imperative constructions*. Munich: Lincom, 2001.
- Xrakovskij 2005 — Xrakovskij V. S. (ed.). *Typology of conditional constructions*. Munich: LINCOM Europa, 2005.

Статья поступила в редакцию 02.04.2015.

ИНТРОСПЕКЦИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И В ЯЗЫКЕ

© 2015 г. Мария Кирилловна Тимофеева

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск, 630090, Россия;
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090, Россия
timof@math.nsc.ru

Рассматриваются разные варианты обращения к интроспекции в ограниченной области: знания и использовании языка, его исследовании в лингвистике. Обосновываются две позиции: неизбежность и значимость интроспекции в указанной области; важность лингвистического исследования интроспекции как составляющей языка (вне зависимости от признания или непризнания достоверности интроспекции как метода научного исследования). В указанной области обращения к интроспекции часто считаются естественными и явно не упоминаются среди предположений, постулатов, методов или источников языковых данных. Поэтому в статье рассмотрены не только явные, но и неявные варианты использования интроспекции. Учен также тот факт, что в лингвистике не проводятся четкие различия между интроспекцией и «языковым чутьем», «лингвистическим чутьем», «самонаблюдением», «языковой интуицией».

Ключевые слова: интроспекция, языковое чутье, языковая интуиция, самонаблюдение, психологизм в языкознании, методы лингвистики, объекты языковой интроспекции, интроспективные языковые данные, интроспекция как объект лингвистики.

INTROSPECTION IN LANGUAGE AND LINGUISTICS

Mariya K. Timofeeva

Sobolev Institute of Mathematics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090, Russia
timof@math.nsc.ru

Different lines of applying or treating introspection in the following limited area are considered: knowledge and usage of language, its investigating in linguistics. Two main positions are advocated: inevitability and significance of introspection for the indicated area; importance of linguistic study of introspection as a constituent of language (regardless of whether introspection is deemed a reliable scientific method or not). In the indicated area, linguists and language users often deal with introspection as a natural capacity, and do not explicitly introduce it among postulates, assumptions, methods, or language data sources. Therefore, the paper considers not only explicit, but also implicit applications of introspection. Linguistics does not formulate any clear differences between introspection and «linguistic feeling», «language feeling», «self-observation», «linguistic intuition». This fact is also taken into account.

Keywords: introspection, linguistic feeling, language feeling, self-observation, linguistic intuition, psychologism in linguistics, linguistic methods, objects of linguistic introspection, introspective linguistic data, introspection as an object of linguistics

Введение

Современная лингвистика имеет не вполне четкие границы, особенно в междисциплинарных областях. Кроме того, между дисциплинами, занимающимися исследованиями языка (прежде всего лингвистикой, логикой, психологией, философией), исторически сложилось определенное распределение интересов по отношению к языку, и оно во многом традиционно сохраняется. Например, формальной семантикой занимаются преимущественно логики, а внутренней речью — преимущественно психологи.

Будем понимать под термином «лингвистика» области, признаваемые современным сообществом профессиональных лингвистов частями лингвистики. Учитывая сложность отграничения лингвистики от других направлений познания, в сферу внимания которых попадает язык, более четко очертить ее границы вряд ли возможно.

В лингвистике интроспекцию можно рассматривать двояко: как метод исследования и как объект исследования. Во втором случае интроспекция считается одной из составляющих языка и является объектом изучения именно в этом качестве.

Традиция отношения к интроспекции как к одному из базовых методов лингвистики в настоящее время подвергается критике как «изнутри», так и «извне». «Изнутри» против применения интроспекции выступают, например, многие когнитивные лингвисты, руководствующиеся естественнонаучными принципами исследования и, следовательно, стремлением минимизировать субъективность. «Извне» с той же целью заменяют лингвистические понятия их статистическими аппроксимациями разработчики компьютерных средств обработки текстов и моделирования различных аспектов языкового поведения человека.

Ранее сомнения относительно допустимости интроспекции как метода высказывали структуралисты, прежде всего представители дескриптивной лингвистики, воспринявшие бихевиористские принципы исследования. В частности, сторонники радикального направления «методологического скептицизма» [де Мауро 2000] настаивали на том, что всякое изучение семантики субъективно и, значит, семантика не должна быть объектом исследований лингвиста. Минимизация обращений к сфере языковых значений означает минимизацию использования интроспективных данных.

Противостояние разных взглядов на интроспекцию как научный метод, присущее психологии, начиная с конца XIX в. имело отражение в лингвистике. В целом, оно не было столь резким, исключение составляют разделы, исследующие соотношение между языком, мышлением, сознанием. В этих разделах сильно влияние бихевиоризма. Здесь нет единого отношения к интроспекции, часто воспроизводятся доводы оппонентов и пропонентов интроспекции в психологии, использовавшиеся в связи с бихевиоризмом. Иллюстрацией несогласия может служить тематический сборник, специально посвященный обсуждению методологии когнитивной лингвистики: Раймонд Гиббс отстаивает преимущества бихевиористских методов по сравнению с традиционно используемой лингвистами интроспекцией и выражает озабоченность отсутствием единства лингвистов в принятии такой позиции [Gibbs 2006], а Леонард Талми убедительно демонстрирует, что интроспекция — неотъемлемая составляющая процесса использования языка, без обращения к которой ни владение языком, ни его исследование невозможны [Talmy 2006]. Негативное отношение к использованию интроспекции отражено в публикациях многих когнитивных лингвистов, например, в [Willems 2012] сопоставление интроспекции и эмпирического наблюдения как методов лингвистики однозначно приводит автора к признанию преимущества второго.

Вместе с тем, такое мнение не является общепринятым в когнитивной лингвистике. Дискуссии по поводу приемлемости метода интроспекции в большей степени характерны для зарубежных линий развития данной области. Отечественные когнитивные лингвисты, опираясь на опыт своих предшественников, традиционно отводят центральное место семантическим исследованиям, когнитивной семантике [Рахилина 1998]. Использование интроспекции здесь существенно.

Стремление к устранению интроспекции как источника субъективности может, в частности, приводить к полному отказу от лингвистических определений. В этом отношении показательно, например, исследование [Diuk et al. 2012], в котором проводится анализ вербализованной интроспекции в текстах разного времени, от библейских до современных. Интроспекция здесь является объектом, но отвергается как метод. Динамика употребительности семантической группы слов и словосочетаний, указывающих на интроспекцию, изучается посредством статистических методов. Выявление рассматриваемых слов и словосочетаний также не опирается на лингвистические знания и интроспекцию.

В традиционной лингвистике при построении такой семантической группы использовалось бы (в той или иной степени) обращение исследователей к своей интроспекции или интроспекции других носителей языка, интроспекция фигурировала бы как один из методов. В противоположность этому, в [Diuk et al. 2012] указанная семантическая группа выделяется на основе статистического анализа совместной встречаемости в текстах (проводится «латентный семантический анализ»). Результат исследования показал, что употребительность слов и словосочетаний, указывающих на интроспекцию, возрастала с течением времени. Это трактуется авторами как статистическое подтверждение гипотезы о том, что развитие интроспекции коррелирует, с одной стороны, с появлением письменности и развитием культуры, а с другой, — с определенными нейрофизиологическими изменениями головного мозга, происходившими в ходе эволюции человека.

Примечательно, что лингвистическая (семантическая) информация исключена здесь не только из процедуры исследования, но и из представления результатов: конкретные примеры слов, отнесенных к изучаемой семантической группе, не приводятся, состав этой группы остается неизвестным читателю. Тем самым лингвистическая интерпретация исследования неявно признается излишней. Некоторые примеры можно увидеть лишь в более ранней публикации авторов [Raskovsky et al. 2010], описывающей предварительное — пробное — исследование того же вопроса; в этом случае также применялись статистические методы, однако слова, имеющие отношение к интроспекции, отбирались «вручную».

Независимо от принятия / непринятия интроспекции как метода научного исследования, она является неотъемлемой составляющей использования языка. Более того, согласно ряду исследований (в частности, [Diuk et al. 2012]), на протяжении истории прослеживается тенденция к возрастанию обращений к интроспекции. Однако дискуссии по поводу приемлемости интроспекции как метода подавляют ее исследование как объекта. Такая ситуация, по-видимому, характерна не только для лингвистики.

Как отмечается в [Dehaene 2013], негативное отношение к интроспекции долго сохранялось в когнитивной науке, и происходило это в результате смещения интроспекции как исследовательского метода и интроспекции как источника сырых данных внутреннего восприятия, подлежащих научному изучению и объяснению вне зависимости от оценок их достоверности. Хотя результат интроспекции доступен только тому человеку, который ее испытывает, этот человек достаточно устойчив в своих интроспективных восприятиях (даже если они неадекватны или необычны с позиции окружающих). Именно этот факт обуславливает ту воспроизводимость эксперимента, которая позволяет интроспекции стать объектом научного исследования. Однако на осознание этого факта ушло много времени [Ibid.].

Устойчивость и воспроизводимость интроспективных данных можно проиллюстрировать следующим примером из рассказа Александра Грина «Фанданго»¹.

- (1) *Это фантомы, фантомы! <...> Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Не т² этих испанцев! Не т² покрывала! Не т² плащей и горностаев! Не т² ничего, никаких фиелей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь!*

Здесь говорящий отказывает в достоверности интроспективным данным своего зрительного и слухового восприятия. Возможно, наблюдаемая им сцена действительно нереальна, является галлюцинацией или мистификацией. Однако как бы ни был говорящий убежден в нереальности ситуации, это не влияет на интроспекцию: он не в силах ликвидировать интроспективные данные своего восприятия путем словесного их отрицания; он все равно видит то, что видит, и слышит то, что слышит. Неустрашимость интроспективных данных

¹ Грин А. С. Фанданго // Грин А. С. Алые паруса. Романы. Рассказы. М.: Эксмо, 2014. С. 765—825.

² Здесь и далее в цитатах из «Фанданго» разрядка А. Грина.

органов чувств (вне зависимости от мнений субъекта восприятия и других людей) делает результаты научного исследования таких данных, полученные в определенном типе экспериментальных ситуаций, воспроизводимыми.

С начала 2000-х гг. было проведено немало экспериментальных эмпирических исследований интроспекции. Одним из существенных результатов явилась гипотеза, сформулированная в [Fleming et al. 2010], согласно которой способность к интроспекции имеет определенный нейрофизиологический коррелят, степень развитости которого сопряжена с индивидуальной способностью к интроспекции.

Чрезмерная сосредоточенность на недостатках интроспекции как метода, по-видимому, не единственная причина того, что в большей части областей лингвистики интроспекция не относится к числу активно обсуждаемых тем. Метод интроспекции издавна применяются при исследовании языка, не подвергая принципиальным сомнениям, как нечто само собою разумеющееся, часто не перечисляя в списке использованных методов. Хотя интроспекция присутствует в приобретении и использовании навыков владения грамматикой и языковыми стилями, осуществления синонимических преобразований, построения связной речи и т. д., самой ей, как таковой, при обучении языку специально не учат. Интроспекция очень редко становится самостоятельным объектом внимания лингвистов. В отличие от приставок, суффиксов, предложений, интонации, мимики и т. п., она незрима и неслышима для собеседника. У нее нет воспринимаемых при коммуникации материальных носителей. Тем не менее, ее всеохватывающее присутствие и роль в языке дают возможность менее прагматично ориентированным исследователям сосредоточивать именно на ней свое внимание, создавая теории языка, которые на этом основании можно назвать интроспективными.

Исходя из приведенной характеристики возможных отношений к интроспекции, далее рассматриваются следующие вопросы. В разделах 1 и 2 представлены соответственно варианты интроспекции и примеры ее использования. В разделе 3 кратко характеризуется классификация типов интроспекции, предложенная Л. Талми. Как уже говорилось, очень часто носители языка и лингвисты обращаются к интроспекции неявно, но затем используют полученные интроспективные данные в рассуждении в качестве языкового факта или аргумента. Такая неявная интроспекция рассмотрена в разделе 4. Следующие два раздела посвящены теориям (5) и методам (6), для которых характерно явное обращение к интроспекции (хотя, возможно, термин «интроспекция» при этом не используется). При самом свободном понимании интроспекции вся наша жизнь насыщена ею, ибо все содержание чувств доступно нашему вниманию благодаря обращению к содержаниям собственного сознания, то есть интроспекции. Будем называть такую интроспекцию «естественной». Исключить этот вид интроспекции из внимания было бы неправильно, так как она тоже может служить основой лингвистической теории. «Естественная интроспекция» рассмотрена в разделе 5.1. Более типичные для лингвистики теории, ориентированные на ограниченную «естественную интроспекцию», согласующуюся со сложившимися лингвистическими традициями, представлены в разделе 5.2. В Заключении кратко формулируется ряд выводов, к которым привели предыдущие рассуждения.

1. Варианты использования интроспекции

Если пока исключить из внимания «естественную интроспекцию», то в лингвистике следует выделить два понимания интроспекции. При широком понимании интроспекцией считают любое обращение к своему сознанию как к источнику фактов и аргументов для коммуникации или лингвистического исследования. Такая интроспекция присуща языку и лингвистике на всем протяжении их существования. Второе понимание интроспекции образовалось в лингвистике под влиянием психологии бихевиоризма, оно более узкое, чем первое, так как в нем принимаются во внимание не все случаи использования интроспекции в качестве источника данных и аргументов.

Таким образом, будут рассматриваться три понятия, которые можно упорядочить по объему следующим образом: «естественная интроспекция» включает «широкое понимание интроспекции», а оно, в свою очередь, — «бихевиористское понимание интроспекции».

Для обозначения обращений к интроспекции в лингвистике используются также другие термины: «самонаблюдение», «языковое чутье», «языковая интуиция», «лингвистическая интуиция». Например, Ю. Д. Апресян [Апресян 1995: 300] говорит о лингвистической интуиции, Л. В. Щерба [Щерба 1974: 33] — о самонаблюдении, М. А. Кронгауз — об интроспекции. М. А. Кронгауз даже связывает эти термины между собой, говоря, что основным способом пополнения и оценки языкового материала «является интроспекция, т. е. самонаблюдение. Интроспекция означает обращение к собственной языковой интуиции» [Кронгауз 2001: 92]. Все эти термины в лингвистике используются для обозначения непосредственного «видения» человеком в своем сознании определенных характеристик речевых или текстовых отрезков (осмысленности, правильности, синонимичности, семантико-синтаксической целостности, возможностей преобразования и т. д.). Какие-либо регулярные смысловые различия между указанными терминами в лингвистике не прослеживаются, поэтому они будут рассматриваться как синонимы и, ради единообразия рассуждения, использоваться будет термин «интроспекция».

Следует сделать еще два замечания относительно соотношений терминов «интуиция» — «интроспекция» и «интроспекция» — «самонаблюдение».

Понятия «интуиция» и «интроспекция» не совпадают. Однако речь будет идти не об интуиции вообще, а о более узком понятии: о языковой (лингвистической) интуиции как непосредственном, интроспективном усмотрении человеком определенных характеристик речевых и текстовых отрезков. Именно в этом смысле языковая (лингвистическая) интуиция и будет отождествляться с интроспекцией, что, по-видимому, соответствует приведенному выше мнению М. А. Кронгауза. Более общее понимание интуиции (в психологии и философии) — как обращения к своему внутреннему опыту (не только языковому) для поиска ответа на некоторый вопрос, решения задачи или проблемы — рассматриваться не будет.

В психологии предлагается разграничивать «интроспекцию» (осуществляемую исследователем) и «самонаблюдение» (производимое испытуемым) [Гиппенрейтер 1988]. В лингвистике в целом не прослеживается аналогичная тенденция словоупотребления: термины «интроспекция» и «самонаблюдение», как правило, фигурируют в качестве взаимозаменяемых синонимов или же используется один из них без объяснения причин такого выбора. Поэтому переносить данное разграничение в лингвистику было бы некорректно.

Вместе с тем, разделение смыслов терминов, указывающих на интроспекцию, можно встретить и в лингвистике, причем не только в бихевиористских ее направлениях. Так, М. А. Кронгауз [Кронгауз 2001: 96] разграничивает внутреннюю интроспекцию (обращение человека к собственному сознанию) и внешнее наблюдение (анкетирование, интервьюирование). Кроме того, он выделяет еще два варианта: *in vitro* (обращения лингвиста к своей языковой интуиции или к интуиции информанта с целью построения и дальнейшей оценки каких-либо языковых фрагментов) и *in vivo* (наблюдения лингвиста за естественной коммуникацией или ее результатами).

Неоднозначное отношение к интроспекции в значительной степени обусловлено тем, что по отношению к любой наблюдаемой составляющей своего внутреннего мира человек занимает двойственную позицию: он одновременно и наблюдатель, и объект наблюдения. Слыша, видя, испытывая радость, удивление, робость, человек, возможно, не отдавая себе в этом отчета, осознает переживаемые восприятия и чувства как свои собственные. Особенно явственны эти две позиции при сознательно осуществляемой интроспекции, когда человек (как наблюдатель) умышленно направляет внимание на содержание своего же внутреннего мира (как на объект наблюдения).

Осуществлять, даже с минимальным расхождением по времени, два разных, но одинаково значимых вида деятельности трудно. Навыки совмещения разных видов физических

движений можно со временем развить. Однако в случае интроспекции совмещаются эфемерные нефизические действия — восприятия, волевое управление вниманием, — а детали таких действий, по сравнению с действиями физическими, труднее поддаются контролю. Более того, само совмещение ограничено, поскольку фокус внимания высвечивает лишь одну из двух позиций, оставляя второй область периферии или ретроспекции.

Сложность принятия двойственности интроспекции служит значительным оправданием парадоксальности отношения к ней. Часто ее считают естественной и не нуждающейся в специальном рассмотрении, составляющей как бы общий фон восприятия или исследования, основное значение которого видится в чем-то ином (это избавляет от анализа ее двойственности). Другой вариант — размежевать названные две позиции, то есть единство «наблюдатель — объект наблюдения». Так, в бихевиоризме функция внешнего наблюдателя закрепляется за исследователем, который следит за поведенческими проявлениями явно или неявно предполагаемых интроспективных состояний другого человека, непосредственно эти состояния переживающего (испытуемого). Насколько верны предположения наблюдателя относительно интроспективных переживаний испытуемого и какие из переживаний в результате такого разделения труда вообще выпадают из области наблюдения исследователя, остается неясным: соответствующие решения наблюдатель принимает на основе своей интроспекции, но эти обращения к интроспекции не принимаются во внимание (не оценивается их адекватность как метода получения данных).

Подытожим тот репертуар позиций, который обусловлен вариативностью отношения к интроспекции, представив каждую из них характеризующим ее тезисом. Данные позиции не являются взаимоисключающими.

1. Интроспекция — необходимая и основополагающая составляющая (осознаваемая или нет) любого восприятия, ее надо учитывать в полной мере всегда, какая бы область внутренних переживаний ни рассматривалась (признание такой «естественной интроспекции» свойственно «интроспективным теориям языка»).
2. Способность к интроспекции — необходимая составляющая знания языка, всякий носитель языка обладает способностью к интроспекции (этот тезис принимают, например, представители психологического направления языкознания).
3. Интроспекция, используемая как источник данных и аргументов при коммуникации или исследовании языка, — один из основных методов научного исследования в лингвистике («широкое понимание интроспекции»).
4. Интроспекция специально лингвистически подготовленных людей более надежна, не все обладают этой способностью в одинаковой степени («тренированная интроспекция»).
5. Интроспекция субъективна, она не может служить надежным источником получения информации, поэтому предпочтительнее не использовать ее непосредственно, а судить о ней по внешним проявлениям в поведении человека (бихевиористские направления в лингвистике).

Здесь представлены и позиции «со знаком плюс», поддерживающие обращение к интроспекции в том или ином ее варианте, и позиции «со знаком минус», отказывающие ей в достоверности. Далее рассматривается реализация названных вариантов интроспекции в лингвистике и языке.

В рамках каждой из перечисленных позиций можно рассматривать язык в современном его состоянии (синхронии) или же в развитии (диахронии). В сумме получается весьма обширный перечень потенциально существующих позиций. Эти позиции взаимосвязаны.

Например, для изучения возможностей интроспекции как метода лингвистического исследования надо проанализировать, применительно к каким видам данных индивидуального сознания и насколько надежно ее можно использовать, а это означает, что нужно рассмотреть обращения человека к интроспекции в ходе использования или исследования языка. Именно такова была цель Л. Талми, одного из наиболее известных современных когнитивных лингвистов, в небольшой публикации которого [Talmy 2007] основным объектом

научного интереса являлась интроспекция как метод. В целях изучения этого метода Л. Талми построил наиболее полное на сегодняшний момент описание и классификацию явных и неявных обращений человека к интроспекции в рамках языковой или лингвистической деятельности. Удивительно, что, несмотря на важность интроспекции для лингвистики, это единственная лингвистическая работа такого рода, которую удалось найти.

2. Примеры интроспекции

Интроспекция используется прежде всего в реальной коммуникации носителей языка и лишь на этой основе может развиваться как метод лингвистики. Проявления такой интроспекции многообразны. Приведем для иллюстрации несколько примеров из «Фанданго», в которых представлены прообразы ряда вариантов использования интроспекции в лингвистике.

- (2) — *Что чувствуете вы, одолев тысячи миль? — Жажду...*
 (3) — *Я в истерике, я воплю и скандалю, потому что дошел! Вскипел!*
 (4) — *Рыба! Рыба! Вы потеряли рыбу!*

Один из очень часто встречающихся вариантов интроспекции — интроспективное видение человеком данных своего внутреннего (2, 3) или внешнего (4) восприятия, сообщение об этом посредством слов, выбор подходящих обозначений, понимание аналогичных сообщений других людей. Такое умение — прообраз профессиональных навыков лингвиста, изучающего вопросы **референции**.

Лингвистическое изучение референциальных отношений предполагает обращение к методу интроспекции при подборе примеров референции, встречающихся в речи, построении референциальных выражений (гипотетически возможных или невозможных), категоризации условий выбора референциального выражения, обзора и обобщении языкового материала. Такого рода операции используются, например, при изучении референциальных средств в дискурсе [Кибрик 2003], в частности, при анализе конкретных случаев референции с целью выявления и исследования факторов, влияющих на референциальный выбор.

Распространенный вид интроспекции — усмотрение **семантических соотношений и возможностей перифразирования**, в частности, — межъязыковых соответствий (5), ассоциаций (*цыгане — погадать*), синонимических соответствий (*рисунок для журнала — иллюстрация*) (6).

- (5) *Переводчик <...> оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел: «мы должны быть» неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал;*
 (6) — *Ходят ли к вам цыгане? — спросил я.*
 — *Цыгане? — переспросил буфетчик. <...> — Ходят. — Он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова:*
 — *Это погадать, что ли? Или зачем?*
 — *Хочу сделать рисунок для журнала.*
 — *Понимаю, иллюстрацию. Так вы, гражданин, — художник?*

Использованное в (5) умение интроспективно видеть **правильность / неправильность** языкового выражения или преобразования используется в лингвистике очень часто. В частности, в ходе экспериментального построения (в уме исследователя) различных видов обозначений и оценивания их допустимости / недопустимости в рассматриваемом языке. В качестве иллюстрации можно привести анализ использования дейксиса для обозначения пространственных соотношений в русском языке [Апресян 1995: 640]. Недопустимость предложений типа **Вдали появился я верхом на лошади*, экспериментально подвергнутых интроспективному испытанию, используется далее для аргументации утверждения об особенностях употребления двух групп слов: *вдалеке, вдали* и *далеко*,

недалеко, издалека (наречия первой группы в случае нереализованной второй валентности обозначают пространственную ориентацию, фиксированную относительно говорящего; наречия второй группы обозначают симметричное объективное пространственное отношение).

В диалоге (6) представлен еще один распространенный вариант интроспекции: предвидение мысли, которую собирается высказать собеседник. Предвидеть можно не только мысль, но и определенные данные органов чувств, например, зрительных (7).

(7) — *Это тот самый дом, сеньор профессор! Мы прибыли!*

Способность **предвидеть** мысли или восприятия, **устанавливать ассоциации** между ними используется, например, при планировании и интерпретации ассоциативных экспериментов в психолингвистике и когнитивной лингвистике.

В обширной области исследования ассоциаций, метафор, прототипических категорий активно используются навыки интроспективного наблюдения. В частности, при выведении гипотез о глубинных семантических сущностях необходим **обзор** их поверхностных проявлений. Примером может служить анализ прототипических составляющих понятия места [Кубрякова 1997: 27—28].

Языковые средства локализации в пространстве и времени активно изучаются в когнитивной лингвистике. В одной из фундаментальных работ на эту тему [Яковлева 1994] можно найти много примеров использования метода интроспекции. Так, интроспективное **восприятие толкований** слов *миг*, *мгновенье*, *минута* и интроспективно же осуществляемый **обзор** возможных условий употребления этих слов для обозначения кратковременности использовались при выявлении смысловых коннотаций, предопределяющих сочетаемость [Там же: 102—106]. На основе подобного анализа языкового материала реконструируются определенные модели времени, используемые говорящими (эмоционально насыщенное восприятие времени и рациональное, аналитическое восприятие времени). Когнитивные модели также могут восприниматься интроспективно (в целом или по частям), особенно если такие конструкторы изображены графически.

Экспликация элементов смысла, построение толкований (на глубинном или поверхностном семантическом уровне), оценивание и уточнение толкований, семантических представлений, инвентаря семантических элементов — все это операции, требующие обращения исследователя к своей интроспекции.

Следующие три примера иллюстрируют возможности интроспективного усмотрения разных вариантов смысла одного и того же текста (8), обращения к интроспекции при поиске адекватного словесного представления мысли (9) и восприятие адекватности представления смысла (10). Профессионально развитое умение производить такие операции востребовано при решении многих лингвистических задач.

В (8) персонаж апеллирует к неизвестным интроспективным данным, которые, тем не менее, считает доступными для адресата сообщения. Это ожидание подтверждается ответной репликой. В данной ситуации оба собеседника понимают, что интроспективно воспринимаемые ими смыслы одного и того же текста различны: у второго оно глубже (детальнее). Для обоих это различие интроспективно очевидно.

(8) — *Вот, — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений, — одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему у пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронута <...> что там увидел, тебе знать.*
— *Это правда, — сказал я, — сегодня случилось то, что ты рассказываешь.*

Словесная репрезентация интроспективно наблюдаемой мысли — задача не всегда простая, она может решаться с разной степенью успешности, может даже оказаться нерешаемой (9). В (10) совершенно экстраординарная ситуация (разрыв времени и смещение событий), которую пытаются осмыслить действующие лица, неожиданно получает необычное, но по их собственному признанию очень точное словесное оформление. Сама мысль,

которую надо выразить словами, ее ускользание, пути ее словесного выражения и их адекватность выражаемой мысли — все это данные интроспекции участников коммуникации.

- (9) *...я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — «Фанданго». Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я тем не менее пристально приближал эту мысль, чем более приближал, тем более далекой становилась она;*
- (10) — *Ну, я просто дура! — сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, — признак конца душевной бури. — Очень понятно! Все перевернулось, и в перевернутом и оказалось на своем месте!*
Я подивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего.

Точность словесной репрезентации мысли непосредственно видится говорящим, это не результат взвешенной оценки или логического вывода, это интроспективно данный факт.

Интересно сравнить примеры (1) и (10). В (1) говорящий отказался считать интроспективные данные своих органов чувств (зрения и слуха) соотносимыми с реальным миром. В то же время остальным участникам представленной в (1) коммуникативной ситуации возможность такого отказа, по-видимому, даже не приходит в голову, они непроизвольно принимают аналогичные интроспективные данные как реальность, веря в достоверность предоставляемых органами чувств фактов. Похожее доверие к своему восприятию демонстрируют собеседники в (10): они интроспективно видят правильность словесного объяснения определенных событий и не подвергают это чувство сомнению. Вместе с тем, можно предположить, что в случае сомнения они смогли бы прекратить интроспективно воспринимать данное словесное объяснение как адекватное. Иначе говоря, им удалось бы сделать то, чего не смог сделать говорящий в (1), пытаясь отменить данные своего зрения и слуха. Восприятие правильности словесного описания событий в (10) представляет собой менее устойчивый вид интроспективных данных, чем восприятия органов чувств в (1). Это различие может служить иллюстрацией предложенного Л. Талми ранжирования интроспективных данных по степени их устойчивости и ясности их восприятия. Такое ранжирование необходимо при анализе возможностей интроспекции как метода лингвистического исследования.

3. Классификация типов интроспекции, предложенная Л. Талми

Вне зависимости от того, признаем ли мы достоверность интроспективных данных или сомневаемся в этом, необходимо изучить ее саму, виды ее явного и неявного использования в качестве метода и в качестве источника данных. Только таким образом можно обрисовать «профиль» данного инструмента и, значит, более точно и прицельно применять его в лингвистике. Такова отправная точка рассуждения Л. Талми [Talmy 2007], считающего интроспекцию базовым методом лингвистики. Он находит множество случаев обращения к интроспекции как в ходе обычного использования языка при коммуникации, так и в деятельности лингвиста. Приведем несколько примеров, чтобы показать, какие типы составляющих языка могут рассматриваться как базирующиеся на интроспекции. Более детальное обсуждение этой классификации содержится в [Тимофеева 2010].

Талми ранжирует составляющие языка по степени их интроспективной доступности, используя три параметра классификации: 1) уровни осознания (предметный уровень и метауровень), 2) условия интроспективного наблюдения (наличие / отсутствие связи с текущим процессом коммуникации или, в терминах Л. Талми, онлайн/офлайн интроспекция), 3) интенсивность, ясность, устойчивость наблюдения. Онлайн/офлайн виды интроспекции, в свою очередь, тоже подразделяются на подвиды.

Например, перед произнесением реплики в ходе диалога говорящий «видит» внутренним взором (на первом уровне осознания) ту мысль, которую он намерен выразить вербально. В этот момент он может приостановить диалог и задуматься над тем, как лучше выразить

эту мысль: как упорядочить ее составляющие, что высказать явно, а что — завуалированно и т. д. (все эти размышления относятся ко второму уровню осознания).

Пример интроспекции, сопутствующей коммуникации: говорящий, указывая на некий предмет, называет его, слушающий фиксирует связь между предметом и словом («делает умственную заметку») с целью пополнения своего словарного запаса. Пример предваряющей интроспекции: слушающий удерживает в уме мысли (или даже их языковые реализации), которые предполагает высказать позже, прогнозирует высказывания собеседника.

Пример офлайнной автономной (то есть осуществляемой вне контекста речи) интроспекции, используемой лингвистами в ходе исследовательской работы: изучение изолированных смыслов языковых единиц, при этом смыслы полноточных слов более доступны для интроспекции, чем смыслы служебных, смыслы конкретных слов более доступны, чем смыслы абстрактных. Высокодоступна при автономном офлайнном наблюдении грамматическая правильность предложения, но в очень малой степени доступны смыслы аффиксов и семантические компоненты, составляющие структуру смысла слова.

В типологическом исследовании, осуществленном Л. Талми, охвачены очень многие случаи обращения лингвистов к «естественной» и явной интроспекции. Так, традиционному лингвистическому эксперименту, разработанному в конце 1920-х гг. А. М. Пешковским и Л. В. Щербой, тоже находится место в классификации Л. Талми. Можно сказать, что этот вид эксперимента обычно проводится «в режиме офлайн» и состоит в том, что лингвист выбирает или специально создает некий текст и направляет свое внимание на его восприятие (на втором уровне осознания) с целью понять, воспринимается ли текст как правильный или как неправильный. Щерба называл используемый им метод «самонаблюдением», настаивал на его важности для исследования языка и опровергал мнение о его субъективности [Щерба 1974].

Если вспомнить о введенном выше разграничении трех понятий («естественная интроспекция», широкое и бихевиористское понимание), то надо сказать, что Талми исследовал интроспекцию в широком понимании, он не учитывал весь тот объем интроспективных данных, которые служат основой обсуждаемых далее интроспективных теорий языка.

4. Неявные обращения к интроспекции

Неявное обращение человека к интроспекции может быть как осознанным, так и неосознанным, но в обоих случаях ни процесс интроспекции, ни получаемые таким образом данные не представляют самостоятельной цели, не выделяются как составляющая языка или как метод исследования (пусть даже под другим названием). Однако эти данные используются затем в качестве фактов или аргументов в рассуждении. Поэтому эти случаи следует отнести к «широкому пониманию интроспекции».

Любой естественный язык, служащий средством человеческой коммуникации — в отличие от многих искусственных, например, математических языков, — совмещает в себе предметный язык (на котором обсуждают предметный мир) и метаязык (на котором обсуждают предметный язык). Поэтому метаязыковые суждения может высказывать любой носитель языка, лингвист отличается лишь большим профессионализмом в построении на этой основе лингвистических суждений. Неявная интроспекция, охватывая и предметный язык, и метаязык, создает условия для использования интроспекции в составе методов лингвистического исследования и лингвистических теорий.

К интроспекции (без использования этого термина) исследователи языка неявно обращались уже в очень давние времена. Для иллюстрации приведем два примера из времен античности: первый — о неявном постулировании исследователем языка необходимости наличия интроспекции у носителя языка, второй — об использовании исследователем своей собственной интроспекции.

В эту эпоху предлагался ряд похожих версий процесса «установления имен», то есть связывания комбинаций звуков с определенными конкретными или абстрактными вещами.

Схематично эти версии можно описать так. Человек, испытывая типичные для определенной ситуации эмоции, выражал эти эмоции какими-то звуками. Постепенно эти звуки (возможно, в преобразованном виде) приобретали новую функцию, превращаясь из средства выражения эмоции в средство обозначения вещи. Подобные версии есть, например, у Лактанция, Диодора, Витрувия, Эпикура [Верлинский 2006]. Первые слова, согласно Лактанцию, — эмоциональные звуки. Эпикур, полагая слова инстинктивной реакцией людей на воздействие вещей, рассуждал так: вещи вызывают у человека определенные зрительные восприятия и эмоции, а те обуславливают произнесение специфических звуков.

Независимо от того, как оценивать эти гипотезы с позиций современной лингвистики, они дают пример очень раннего допущения неявной интроспекции у носителя языка. Действительно, столь серьезный шаг как догадка о различии двух функций звуков — эмоциональной и обозначающей — предполагает способность носителя языка осознать определенное звучание как реакцию на определенное содержание своего сознания, связать эти две стороны в языковом знаке и затем использовать получившийся знак произвольно, в отрыве от спровоцировавших его появление ситуаций. Существо, способное совершить такую операцию, должно обладать интроспекцией.

Еще один важный шаг на пути познания языка — открытие неоднозначности слов. Референциальная неоднозначность, проявляющаяся, например, в собственных именах (одно и то же имя может указывать на разных людей) и смысловая неоднозначность (то есть полисемия и омонимия) были также известны во времена античности. Современники Демокрита знали и о существовании синонимов (или «равновесных» слов по его терминологии). Омонимия и полисемия использовались в ответах оракула и как литературный прием [Верлинский 2006: 106].

Для усмотрения неоднозначности необходима интроспекция, и эту способность неявно использовали софисты, исследуя свойства языка в своих экспериментах с текстами. Осознание неоднозначности как языкового явления, интерес к многозначности слов нашли отражение во многих софизмах, например, основанных на «играх» с интроспективно наблюдаемым размытым смыслом слов в парадоксах «Куча» и «Лысый». Для понимания этих парадоксов человек должен «консультироваться» со своим восприятием, обращаясь сам к себе примерно с таким вопросом: могу ли я назвать этим словом эту вещь, воспринимаю ли я это как правильное использование данного слова? Аналогичные вопросы может задавать себе и современный лингвист в ходе лингвистического эксперимента [Щерба 1974] с использованием интроспекции.

Нельзя сказать, что неявное использование интроспекции характерно лишь для начальных стадий осмысления человеком языка, что потом ему на смену приходит осознанная оценка интроспекции как исследовательского метода.

Случаи неявного использования интроспекции можно найти во взглядах и теориях очень многих авторов, на протяжении всей длительной истории существования интереса человека к языку. Даже во взглядах Фердинанда де Соссюра, которого часто называют основоположником антипсихологизма в языкознании, присутствует интроспекция, хотя бы потому, что он считает знаком двустороннюю психическую сущность, связывающую понятие и акустический образ. Однако интроспекция все же не находится в фокусе внимания Ф. де Соссюра.

Неявное использование интроспекции есть даже у ее радикальных противников — представителей дескриптивной лингвистики, следовавших базовым положениям бихевиоризма и опиравшихся в своих исследованиях на анализ сочетаемости элементов языка (дистрибуции). В процессе такого анализа использовалась интроспекция носителя описываемого языка: носитель языка выступал в качестве информанта, судящего о правильности / неправильности языковых цепочек, о тождественности / нетождественности их смыслов. Кроме того, при бихевиористском исследовании невозможно избежать и интроспекции самого исследователя, так как именно он, опираясь на свои восприятия поведения другого человека (осознанно или нет), решает, какие составляющие поведения принять во внимание. Есть вероятность, что он, используя в качестве критерия выбора значимых данных свою

интроспекцию, «смотрит, но не видит». Аналогичные неявные обращения к интроспекции есть у всех бихевиористских направлений в лингвистике, в частности, в когнитивной лингвистике и психолингвистике.

В отличие от приведенных примеров, в которых обращения к интроспекции имеются, но явным образом никак не вводятся, следующие теории языка в той или иной форме заявляют о ее присутствии.

5. Явные обращения к интроспекции

«Естественная интроспекция» — всепроникающее явление, не устранимое ни из языка, ни из процессов его использования и изучения. Некоторые теории языка концентрируются именно на этом обстоятельстве, абсолютизируя его. Будем условно называть такие теории интроспективными. В отличие от неявного применения интроспекции здесь обращение к фактам индивидуального сознания открыто признается, хотя и не всегда используется термин «интроспекция».

Интроспективных теорий языка немного. Гораздо чаще область использования интроспекции ограничивается так, чтобы не возникало больших противоречий со сложившимися традициями рассмотрения языка, такие теории условно назовем интроспективно-лингвистическими.

5.1. Интроспективные теории языка

Для иллюстрации возможности видения языка, служащего основанием интроспективной теории, стоит обратиться к работе Робина Джорджа Коллингвуда «Принципы искусства» [Коллингвуд 1999]. Р. Дж. Коллингвуд известен как историк и философ, к числу лингвистов его не относят. Тем не менее, в его работе содержится целостное представление о языке как о такой сфере индивидуального сознания, которая насквозь «сплетена» из интроспективных содержаний разного уровня сложности. Это наглядный пример явно интроспективной теории языка, аналога которому среди работ лингвистов найти нельзя, так как настолько сильный интроспективный подход является непродуктивным с позиции традиционной лингвистики: все обычные лингвистические понятия (фонемы, морфемы, слова, грамматические категории и т. д.) здесь оказываются в числе «метафизических фикций». Вместе с тем, интроспективные аспекты представления о языке изложены у Коллингвуда ясно, детально и концентрированно (в отличие от похожих идей его предшественника, историка и философа Бенедетто Кроче).

Можно усмотреть сходство между видением языка, присущим Р. Дж. Коллингвуду, и античными гипотезами об эмоциональном происхождении языка, о которых говорилось ранее. По мнению Коллингвуда, «эмоциональные заряды» в преобразованном виде составляют самую основу языка. Согласно схеме его рассуждения, ощущения, будучи зафиксированы на самом примитивном уровне сознания (признаны человеком как его собственные), могут постепенно, восходя последовательно к все более развитым уровням психического опыта, приобрести определенную свободу. Сначала эта свобода выражается в том, что ощущения можно фиксировать и сравнивать с другими, далее она развивается до того, что их становится возможным распознавать, в конечном итоге — называть. Иначе говоря, они могут стать означаемыми языковых знаков. На стартовом этапе это знаки первоначального языка («языка сознания»), которому еще предстоит развиваться до обычного человеческого языка («языка интеллекта»). Причем «эмоциональный заряд» характеризует все ощущения, от самого сырого их варианта на примитивном уровне сознания до их осознания и выражения в развитом языке коммуникации. В преобразованном виде такой заряд присутствует и в любой мысли, поэтому выражение любой мысли — это выражение сопутствующих ей эмоций.

Путь из примитивных ощущений в означающие знака может пройти любой вид действий человека (например, мимика), способный приобрести свойство что-либо выражать. Осознав

некоторое ощущение, человек постепенно научается использовать соответствующее действие произвольным образом.

Поскольку, с точки зрения Коллингвуда, любая эмоция существует лишь постольку, поскольку она может быть выражена, совершенствование языковых средств дает возможность выражать (а значит, и иметь) все новые виды эмоций. Чем более развит язык, тем большее количество эмоций и тем более тонкие эмоции он способен выражать. Над обычным языком надстраиваются профессиональные и символические языки. Однако и они тоже не приводят к исчезновению эмоциональных составляющих. Если на начальном этапе новый, например, математический символ еще может использоваться механически, то с течением времени, он обстраивается использующими его людьми и неизбежно «обрастает» эмоциональными оборонами. Даже математик связывает со знаками своего языка эмоции, специфичные именно для такой сферы коммуникации (не случайно ведь говорят о «красивой теореме» и «красивом доказательстве»).

Смыслы не «передаются» вместе с текстом, а заново творятся как слушающим, так и говорящим, эти смыслы индивидуальны и уникальны. И при описанном понимании этого процесса, создание и понимание смыслов сплошь пронизано интроспективными восприятиями «эмоциональных зарядов» и ощущений разных уровней.

Вместе с тем, деятельность лингвиста направлена только на результат живой коммуникации, на препарирование ее продуктов — текстов. В результате получают не составляющие подлинного языка, а «метафизические фикции», лишенные реального существования: части речи, значимые части слов, синтаксические структуры и т. д. Аналогичных взглядов на лингвистические традиции придерживался другой автор интроспективной концепции языка К. Фосслер: «Рассматривать язык с точки зрения установлений и правил — значит рассматривать его ненаучно» [Фосслер 2007: 33].

Здесь уместно вспомнить о высказывании другого философа, Людвиг Витгенштейна: «Философские проблемы возникают, когда язык пребывает в праздности» [Витгенштейн 2003: 248]. «Язык в праздности» — это тексты (устные или письменные), т. е. продукт, результат использования языка.

Интроспекция, где бы она ни применялась — при использовании языка или при его изучении, — это инструмент ухода от «языка в праздности» к «языку в действии». Однако, удаляясь от «языка в праздности» на слишком далекое расстояние, мы рискуем потерять границы языка.

Это действительно происходит во многих теориях языка, которые можно отнести к числу интроспективных, например у Б. Кроче. Если язык в столь большой степени индивидуален, то растворяются границы между разными языками, так как всякое единство индивидуальных языков (например, национальное) может быть построено только на основе введения абстрактных сущностей, «метафизических фикций», не наблюдаемых в фактах проявления языка и, соответственно, незаконных в таких теориях языка. Проблема обнаружения границ языков возникает и у К. Фосслера.

На рубеже XIX и XX вв. под влиянием сочетания идей В. фон Гумбольдта и Б. Кроче в Германии возникла лингвистическая школа эстетического идеализма, или идеалистическая нефилология. Ее основоположник, К. Фосслер, рассматривал каждый случай использования человеком языка как акт индивидуального творчества, воспринимаемый только самим этим человеком. Любое языковое выражение индивидуально и неповторимо, «для выражения внутренней интуиции всегда существует только одна-единственная форма» [Фосслер 2007: 33]. Подобно Б. Кроче и Р. Дж. Коллингвуду, К. Фосслер отрицал правомерность членения речи в соответствии с лингвистическими понятиями морфемы, слова и т. д., поскольку такие сущности не воспринимаемы и являются фикциями. Их можно использовать лишь как техническое средство, удобное при определенных обстоятельствах, осознавая при этом произвольность таких членений речи.

Как и Б. Кроче, он причислял «языкознание к группе исторических дисциплин, основывающихся на созерцании (интуитивное познание)» [Там же: 28]. Взгляды Фосслера не лишены

противоречий, в ряде отношений непрозрачны. Его идеи можно причислить к числу интроспективных теорий языка лишь в качестве намерения или проекта, поскольку они носят скорее декларативный характер и не реализовались в виде целостной лингвистической концепции языка. В отличие от Коллингвуда, который не был лингвистом и легко отказывался в своих рассуждениях от «метафизических фикций», Фосслер — лингвист, его неизбежно манила к себе лингвистическая традиция, поэтому его видение языка не столь целостно.

По поводу взглядов К. Фосслера А. С. Чикобава высказывает интересную мысль: «концепция К. Фосслера являет собой... прекрасный эксперимент, показывающий, во что может вылиться теория языка, построенная без учета основной, коммуникативной, функции языка, теория, основанная только лишь на экспрессивной функции» [Чикобава 1959: 135].

Действительно, если историю лингвистики рассматривать как серию своего рода мысленных экспериментов по построению на основе языковых данных тех или иных логических конструкций — теорий, — то интроспективные теории языка — это довольно поучительные эксперименты. Эти теории отрицали традиционные лингвистические категории, поэтому их непротиворечивое комбинирование с принятыми в лингвистике принципами анализа языкового материала оказывалось проблематичным. Для того же, чтобы развить интроспективную теорию до полноценной теории языка, необходимо выработать свои собственные практически применимые приемы работы с языковыми данными, что, по-видимому, оказывается непростой задачей.

5.2. Интроспективно-лингвистические теории языка

Приверженцы представлений о языке, рассматриваемых в данном разделе, придают большое значение интроспекции, но это не приводит их к полному отрицанию лингвистических исследовательских принципов. Их теории языка не являются столь радикально интроспективными.

Истоки теорий, о которых далее пойдет речь, — в мыслях о языке, высказанных Вильгельмом фон Гумбольдтом и основывающихся на видении языка как преходящего процесса, как деятельности. Именно эти идеи составили основу одного из направлений в языкознании — психологического направления.

Многие приверженцы данного направления следовали взглядам Иоганна Фридриха Гербарта и придавали первостепенное значение представлениям и ассоциациям, присутствующим в индивидуальном сознании и связанным с использованием языка.

Базовые положения ряда авторов интроспективных и интроспективно-лингвистических теорий языка, истоки которых восходят к гумбольдтовской традиции, можно кратко представить так. Использование языка — это творческий процесс, он неповторим в ситуациях коммуникации. Создание и понимание любого текста в процессе коммуникации содержит элемент творчества. Сам язык возникает и развивается на всем протяжении его истории благодаря тем людям, которые разговаривали на нем. Эти люди, обладая национальной и территориальной общностью, объединенные сходными проблемами, интересами, целями, использовали этот язык в течение многих сотен лет, неизбежно закрепляя в его устройстве следы своего языкового творчества. Таким образом индивидуальные носители языка постепенно вносили больший или меньший вклад в становление языка, используемого определенным сообществом людей, нацией. В результате всякий национальный язык приобрел свои особенности, отражая «дух народа», который совместно творил его. Ни на какой стадии существования язык не может представлять собой некое законченное образование: всякий человек, используя язык, заново творит его.

Образно говоря, язык подобен чрезвычайно сложно организованной сети, сквозь которую носители языка видят физический и нефизический континуумы. Для каждого языка ячейки сети, получающие наименования в этом языке, обладают своей спецификой, отражая «дух народа». Это неповторимое членение мира, свойственное каждому конкретному языку, В. фон Гумбольдт называет «внутренней формой» языка.

А. А. Потебня использовал более конкретное понятие внутренней формы слова как первоначальной мотивации наименований вещей. В его трактовке неявно присутствует предположение о том, что для возникновения и развития языка необходимо наличие интроспекции у носителя языка. Действительно, во внутренней форме слова отражается первичное восприятие вещи: специфика восприятия обуславливает специфику наименования.

Александр Афанасьевич Потебня — один из самых ярких представителей психологической школы в лингвистике. Варианты обращения к интроспекции, присутствующие в его трудах, конечно, не исчерпываются понятием внутренней формы. Многочисленность таких обращений позволяет привести здесь лишь отдельные примеры. А. А. Потебня видел основания для признания эмоциональной, или междометной, теории происхождения языка, о которой уже говорилось ранее. Он очень детально анализирует тот процесс в индивидуальном сознании, в ходе которого «междометие, под влиянием обращенной на него мысли, изменяется в слово»; «создавая слово, человек должен заметить свой собственный звук; это уже самонаблюдение» [Потебня 1922: 78—79]. А. А. Потебня также рассматривает развитие слова в сознании понимающего его человека. Он полагал (позже аналогичную мысль высказывал Р. Дж. Коллингвуд), что состояния нашей души, эмоции уясняются нами лишь после того, как мы их выражаем в слове, тем самым наделяя их неким самостоятельным существованием; в противном случае они навсегда остаются для нас «темными» [Там же: 81].

Тем самым интроспективное восприятие эмоции, за которой следует образование выражающего ее знака, придает самой эмоции иной способ существования, также воспринимаемый интроспективно. Обращаясь к психологическому понятию апперцепции, Потебня подробно анализирует его применительно к языку, рассматривая процесс создания слова или использования его в речи как замену некоего первоначального восприятия измененным вторичным восприятием, возникающим в результате апперцепции первого.

Труды А. А. Потебни дают яркий пример возможности такого сочетания психологического и лингвистического взглядов на язык, при котором обе стороны можно назвать равновесными. Чаще исследователи, относимые к психологическому направлению лингвистики, например И. А. Бодуэн де Куртенэ и В. Вундт, в большей степени склонны уделять внимание одной из этих двух сторон.

И. А. Бодуэн де Куртенэ в большей степени сосредоточен на рассмотрении конкретных вопросов, касающихся области познания языка, принимает во внимание сложившиеся в ней традиции. Психологизм в его работах определяет ракурс рассмотрения языковых явлений.

Напротив, Вильгельм Вундт, хотя и полемизирует вполне профессионально и детально с современными ему языковедами (например, Х. Штейнталем, Г. Паулем, Г. Шухардтом), обсуждая ряд аспектов языка, однако, будучи прежде всего психологом и философом, в своей «Психологии народов» (1912) [Вундт 2002] не уделяет столь большого внимания конкретным лингвистическим понятиям и традициям исследования языка. Основное направление его интереса, обусловленное идеей В. фон Гумбольдта о языке как проявлении «духа народа», связано с рассмотрением «коллективной личности» и предлагаемой им самостоятельной новой дисциплины — психологии народов, опирающейся на три области исследования: язык, мифы, обычаи.

Вместе с тем, в развиваемой им экспериментальной психологии В. Вундт, конечно, рассматривает явления языка, отводя им значительное место, но ограничиваясь элементарными психологическими процессами, связанными с языком [Вундт 1912]. В этой части своих исследований Вундт строит апперцептивную концепцию языка, существенным компонентом которой являются интроспективные восприятия. Сложные психические процессы, точнее, их следы, запечатленные в языке, мифах, обычаях, должны изучаться, по мнению Вундта, в рамках психологии народов.

Хотя В. Вундт рассматривает взаимоотношения между наукой о языке и психологией как отношения обоюдной взаимопомощи, при рассмотрении языка фокус его интересов — на психологической стороне, а не на лингвистической. Подтверждением тому являются слова самого В. Вундта: «...во взаимодействии этих двух областей знания центр тяжести

приходится на вторую половину...: на добывание психологического знания из фактов языка... Язык нам понадобился бы для того, чтобы заложить прочную основу психологии сложных психологических процессов, и это даже в том случае, если бы оказалось — во что я, конечно, не верю, — что языкознание вовсе не нуждается в помощи психологии» [Чикобава 1959: 26].

Формат статьи не позволяет детально рассмотреть роль интроспекции во взглядах на язык всех значимых представителей психологического направления в языкознании. Стоит лишь отметить, что это направление актуально до сих пор, хотя, конечно, претерпело изменения, связанные с развитием лингвистики и психологии. В частности, преемниками идей В. фон Гумбольдта явились и исследователи гипотезы лингвистической относительности Сепира — Уорфа, и представители когнитивной лингвистики. Интроспекция здесь используется при работе с информантами, обращениях лингвиста к своему «языковому чутью», в составе лингвистического эксперимента.

6. Интроспекция как метод лингвистики

Для обсуждения интроспекции как метода лингвистики вернемся к введенному ранее разграничению двух пониманий: широкого и более узкого, бихевиористского. При широком понимании к случаям применения данного метода относятся все такие обращения к интроспекции, цель которых — нахождение посредством нее дополнительных фактов и аргументов для рассуждения о языке. Лингвист, например, может утверждать о каком-то словосочетании, что «так по-русски сказать нельзя», даже если на этот случай нет прямого запрета в существующих описаниях русского языка. Этот вариант метода интроспекции возник при исследованиях языка очень давно и развивался самостоятельно еще до той эпохи, когда надежность интроспекции стала предметом научных споров. При суженном, бихевиористском, понимании интроспекция считается субъективной и использование ее в научном исследовании ограничивается, по заявлениям некоторых дескриптивистов (например, З. Харриса) она может быть совсем устранена, но это означает лишь, что те обращения к интроспекции, которые могли бы быть учтены при ее широком понимании, не принимаются во внимание.

Позицию метода интроспекции в лингвистике можно назвать противоречивой. Многие считают его одним из основных для науки о языке (обычно имея в виду широкое понимание интроспекции). В то же время в профессиональных терминологических изданиях по лингвистике этот метод не наделяется соответствующим статусом. В словарях лингвистических терминов интроспекция вообще не упоминается среди методов лингвистики. В лингвистическом энциклопедическом словаре в основной статье о методах лингвистики [Степанов 1990] интроспекция также не названа, о ней сказано только в статье об экспериментальных методах [Фрумкина 1990]. Вместе с тем, в научно-популярной онлайн-энциклопедии «Кругосвет» (<http://www.krugosvet.ru/>) в статье «Методология лингвистики» сказано, что «Для традиционной лингвистики... [о]сновным инструментом исследователя является его языковая интуиция (интроспективный метод)». Такая противоречивая ситуация, наряду с частотой неявного использования интроспективных данных в лингвистических рассуждениях и отсутствием для интроспекции единого наименования, по-видимому, свидетельствует о том, что в целом метод интроспекции находится в лингвистике на этапе его осознания как такового.

Учитывая историю явных и неявных обращений к методу интроспекции, следует выделить три взаимодействующие линии его развития в лингвистике.

1. Многовековая история применения метода интроспекции (в широком понимании) на всем протяжении развития науки о языке. Длительное время метод формировался на этой основе.
2. Влияние идей В. фон Гумбольдта и интроспективной психологии конца XIX — начала XX в. Формирование направления психологизма в науке о языке хорошо сочеталось с первой линией развития, позволило эксплицировать многие случаи использования интроспекции лингвистами.

3. Влияние бихевиоризма и принимаемых им естественнонаучных критериев знания. Формирование бихевиористских направлений лингвистики.

Неявные обращения к методу интроспекции начались настолько давно, что по отношению к ним еще сложно использовать слова «лингвистика» или «наука о языке». Тем не менее, это уже выявление некоторых из тех языковых единиц, которые фигурируют в современных исследованиях языка. Например, способность человека непосредственно «видеть» смысловую целостность цепочек языковых знаков (распознавая границы предложений, осмысленных словосочетаний), их смысловое сходство, правильность или неправильность (допустимость или недопустимость) языковых выражений, основываясь лишь на своем языковом чутье, использовалась исследователями языка с незапамятных времен. Еще египтяне в XVII—XVI вв. до н. э. делали специальные графические пометки над строкой текста («красные точки»), разделяя речевой поток на отрезки. Эти отрезки могли представлять собой, например, простые предложения, сложные предложения, причастные обороты, отдельные слова, словосочетания. Сегментация текста, хотя и обладала своей спецификой по сравнению с современными традициями, тем не менее, состояла в выделении частей, обладающих семантико-синтаксической целостностью [Десницкая, Кацнельсон 1980: 11]. Тем самым метод интроспекции неявно использовался для сегментации текста древними предшественниками исследователей языка. Как это ни удивительно, обращение к интроспекции с целью сегментации текста применялось и в наше время дескриптивными лингвистами XX в. для выделения текстовых отрезков, которые информанты, являвшиеся носителями исследуемого языка, должны были оценить как допустимые, отождествить с другими отрезками и т. д. (метод был предназначен прежде всего для построения лингвистических описаний бесписьменных языков американских индейцев). И точно так же обращения к методу интроспекции в этом случае были неявными, но уже по другой причине: сторонники дескриптивной лингвистики, будучи приверженцами бихевиоризма и не признавая интроспективные данные достоверными, оставляли эти проявления интроспекции за пределами своего внимания, внося таким образом не замечаемую ими противоречивость в свою теорию.

Для сторонников широкой трактовки «основным способом пополнения языкового материала и одновременно его оценки с различных точек зрения является интроспекция, т. е. самонаблюдение», метод интроспекции «следует признать кратчайшим путем к проверке той или иной гипотезы» [Кронгауз 2001: 92—93].

Похожие характеристики метода интроспекции можно найти во многих более ранних работах. Прежде всего, стоит вспомнить о школе младограмматиков, расцвет которой пришелся на конец XIX в. — начало XX в. В частности, Герман Пауль «особо выделял роль интроспекции, игравшей неосознанно значительную роль с самого начала изучения языка в лингвистических традициях», поскольку, опираясь на нее, лингвист может исследовать «психический организм» — сложное переплетение различных представлений, в котором реализуется в индивидууме знание языка [Алпатов 1999: 104]. Сам Г. Пауль говорит о самонаблюдении: «Психическую сторону речевой деятельности, как и все психические явления вообще, можно изучать лишь путем самонаблюдения» [Пауль 1964: 211].

Одно из очень важных для лингвиста применений метода интроспекции состоит в использовании его для создания таких типов текстов исследуемого языка, какие в данный момент представляют интерес. Причем создавать лингвист может как правильные тексты («положительный языковой материал»), так и неправильные («отрицательный языковой материал»). Именно таков принцип проведения эксперимента, получившего распространение в лингвистике, начиная с работ А. М. Пешковского и Л. В. Щербы в начале XX в. Этот метод используется в исследованиях многих лингвистов более позднего поколения. Причем отнюдь не всегда при обращении к таким экспериментам используют термин «интроспекция», например, Ю. Д. Апресян называет эту способность человека «лингвистической интуицией» [Апресян 1995: 300], Л. В. Щерба говорил о методе самонаблюдения.

Относительно возможной субъективности суждений лингвиста, проводящего такой эксперимент, единства нет. Многие авторы, используя интроспекцию (в широком понимании),

вообще не обсуждают этот вопрос. Щерба опровергал мнение о субъективности интроспективных наблюдений в рамках лингвистического эксперимента [Щерба 1974].

Вместе с тем, оценка привычного для лингвистики широкого понимания интроспекции в современных обстоятельствах вынуждает признать определенные опасности, связанные с этим методом. М. А. Кронгауз перечисляет основные из них, а именно: возможность привнесения особенностей собственного индивидуального языка исследователя (идиолекта); искусственность условий применения языковой интуиции; возможность ее изменения в ходе исследования и в связи с течением времени; ее притупление в результате длительного размышления; возможность бессознательной «подгонки» материала под теорию; возможность постепенного привыкания к отрицательному языковому материалу и его перехода в положительный [Кронгауз 2001: 93]. Все это вполне реальные угрозы для исследователя языка, и они специфичны именно для изучения данного объекта.

Часто, однако, рассуждения лингвистов о возможной субъективности метода интроспекции не опираются на столь подробный учет специфики языкового материала, а являются отголосками дискуссий в психологии. Например, один из сторонников метода интроспекции Люсьен Теньер, полагающий, что «интроспекция должна стать одним из главных методов исследования синтаксических фактов» [Теньер 1988: 48], приводит в защиту своего мнения аргументы, вполне узнаваемые по истории психологии.

Если неоднозначное отношение к интроспекции действительно в значительной степени обусловлено ее двойственностью — совмещением в одном человеке ролей наблюдателя и объекта наблюдения, — то интересно посмотреть, обращали ли лингвисты внимание на этот аспект метода интроспекции. В отечественной лингвистике раньше других на это обстоятельство указал в начале 1920-х гг. А. М. Пешковский, разделив две позиции: лингвиста и носителя языка [Пешковский 1965]. Каждый человек может выполнять любую из этих ролей. Хотя лингвист в первой из них более искусен, но и обычный носитель языка, не являясь лингвистом, тоже имеет возможность выступать в роли такового. Вместе с тем, А. М. Пешковский предостерегает против смешения этих позиций: лингвист должен четко осознавать, какую из них он в данный момент занимает. Тем самым Пешковский, по сути, говорит о тренированной интроспекции: наращивании опыта лингвистической интроспекции, в частности, — умения разводить в своем сознании указанные две позиции.

В. М. Алпатов указывает на аналогичное разделение позиций субъекта и наблюдателя японским лингвистом середины XX в. Мотоки Токиэда. Первая позиция предполагает обращение к интроспекции для распознавания правильного и неправильного, красивого и некрасивого, престижного и непрестижного. Очень кратко и ясно формулируется главный постулат: «Точка зрения наблюдателя возможна только тогда, когда имеет своей предпосылкой точку зрения субъекта» [Алпатов 1999: 274]. Иначе говоря, сначала нужно выступить в роли носителя языка, а затем изучать полученные в этой роли интроспективные данные, перейдя в роль наблюдателя. Такая установка делает интроспекцию основным методом лингвистики. М. Токиэда вполне справедливо отмечал, что отрицание указанного алгоритма действий лингвиста (от роли субъекта — к роли наблюдателя) и декларируемый отказ от роли субъекта у дескриптивистов на деле означает неосознаваемое, но неизбежное обращение к этой роли при отсутствии явного признания этого факта в теоретических рассуждениях. Дескриптивисты, следуя бихевиористскому взгляду на интроспекцию, игнорировали многие из тех обращений к интроспекции, которые являются таковыми при ее широком понимании.

Само по себе выделение роли лингвиста как более компетентного носителя языка, часто явно или неявно признаваемое лингвистами, свидетельствует о том, что предпочтительнее все же отдается тренированной интроспекции. Однако это редко оговаривается явно. Конечно, имеется в виду специфическая, лингвистическая, тренировка интроспекции, отличная от вариантов тренировки интроспекции в психологии (представленных, например, у В. Вундта, О. Кюльпе, Э. Титченера, К. Штумпфа). Примером специального обсуждения тренированной интроспекции в лингвистике являются работы Анны Вежбицкой.

Отталкиваясь от идей Рене Декарта и Готфрида фон Лейбница об «интуитивной ясности» и «самоочевидности» для человеческого сознания определенных смыслов и частей смыслов, она разрабатывает свой собственный метод, используемый ею при выявлении семантических примитивов: атомарных элементов смысла, обнаруживаемых путем сравнения содержаний, проявляющихся в разных контекстах [Вежбицкая 1993].

Заключение

Интроекция является основой знания языка, содержится в любой лингвистической теории. Фактически, так или иначе, интроекцию использует каждый лингвист. Поэтому представительное рассмотрение обращений к интроекции на всем протяжении развития лингвистики было бы равносильно написанию истории этой дисциплины, что, конечно, не соразмерно объему статьи. Были приведены только примеры идей, теорий, методов, иллюстрирующие варианты использования интроекции, выделенные в разделе 1.

Интроективная теория, как и ее антипод — бихевиоризм, — может быть радикальной и умеренной. Радикально интроективная теория языка, как показывает практика, не доходит до той стадии, на которой можно ставить и решать какие-либо прикладные задачи. Радикально анти-интроективная (бихевиористская) теория языка неизбежно противоречива. Иначе говоря, интроекция в лингвистике неустраима, но продуктивная интроекция — это всегда ограниченная интроекция.

Интроекция — это один из инструментов владения языком и связной речью. Исследование ее в таком качестве, дальнейшее развитие типологизации обращений к ней, начатое Л. Талми, изучение ее функций в языке и коммуникации, необходимы отнюдь не только для развития методологии лингвистики. По сути, исследование интроекции означает лингвистический анализ одной из важнейших составляющих языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Алпатов 1999 — Алпатов В. М. История лингвистических учений. Учебное пособие. М.: Языки русской культуры, 1999. [Alpatov V. M. *Istoriya lingvisticheskikh uchenii. Uchebnoe posobie* [History of linguistic theories. A teaching guide]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1999.]
- Апресян 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. [Apresjan Ju. D. *Izbrannye trudy: V 2 t. T. II: Integral'noe opisaniye yazyka i sistemnaya leksikografiya* [Selected works: In 2 vol. Vol. II: Integrated description of language and systematic lexicography]. Moscow: Shkola «Yazyki Russkoi Kul'tury», 1995.]
- Вежбицкая 1993 — Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах // THESIS. 1993. Вып. 3: Мир человека. С. 185—206. [Wierzbicka A. Semantics, culture and cognition: universal human concepts in culture-specific configurations. *THESIS*. 1993. No. 3: *Mir cheloveka*. Pp. 185—206.]
- Верлинский 2006 — Верлинский А. Л. Античные учения о возникновении языка. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. [Verlinskii A. L. *Antichnye ucheniya o vzniknovenii yazyka* [Antique theories of the origins of language]. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ., 2006.]
- Витгенштейн 2003 — Витгенштейн Л. Философские исследования // Языки как образ мира. М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. С. 220—548. [Wittgenstein L. *Philosophical studies. Yazyki kak obraz mira*. Moscow: AST; St. Petersburg: Terra Fantastica, 2003. Pp. 220—548.]
- Вундт 2002 — Вундт В. Психология народов. М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. [Wundt W. *Psikhologiya narodov* [Social psychology]. Moscow: Eksmo; St. Petersburg: Terra Fantastica, 2002.]
- Вундт 1912 — Вундт В. Введение в психологию. М.: Книгоиздательство «КОСМОС», 1912. [Wundt W. *Vvedenie v psikhologiyu* [Introduction to psychology]. Moscow: KOSMOS, 1912.]
- Гиппенрейтер 1988 — Гиппенрейтер Ю. Б. Метод интроекции и проблема самонаблюдения // Введение в общую психологию. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 34—47. [Gippenreiter Yu. B. Introspective method and the problem of self-observation. *Vvedenie v obshchuyu psikhologiyu*. Moscow: Moscow State Univ., 1988. Pp. 34—47.]

- Десницкая, Кацнельсон 1980 — Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д. (ред.) История лингвистических учений. Древний мир. Л.: Наука, 1980. [Desnitskaya A. V., Katsnel'son S. D. (eds). *Istoriya lingvistikheskikh uchenii. Drevnii mir* [History of linguistic theories. Ancient world]. Leningrad: Nauka, 1980.]
- Кибрик 2003 — Кибрик А. А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе: Дис. ... докт. филол. наук. М.: Институт языкознания РАН, 2003. [Kibrik A. A. *Analiz diskursa v kognitivnoi perspektive. Dokt. diss.* [Discourse analysis in cognitive perspective. Doct. diss.]. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, 2003.]
- Коллингвуд 1999 — Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. М.: Языки русской культуры, 1999. [Collingwood R. G. *Printsipy iskusstva* [The principles of art]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1999.]
- Кронгауз 2001 — Кронгауз М. А. Семантика: Учебник для вузов. М.: РГГУ, 2001. [Krongauz M. A. *Semantika: Uchebnik dlya vuzov* [Semantics: A manual for universities and colleges]. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2001.]
- Кубрякова 1997 — Кубрякова Е. С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // Известия АН. Сер. лит. и яз. 1997. Т. 56. № 3. С. 22—31. [Kubryakova E. S. The language of space and the space of language. *Izvestiya AN. Seriya literatury i yazyka*. 1997. Vol. 56. No. 3. Pp. 22—31.]
- де Мауро 2000 — де Мауро Т. Введение в семантику. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. [Mauro T. de. *Vvedenie v semantiku* [Introduction to semantics]. Moscow: Dom Intellekтуal'noi Knigi, 2000.]
- Пауль 1964 — Пауль Г. Принципы истории языка (Извлечения) // Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 1. М.: Просвещение, 1964. С. 199—217. [Paul H. Principles of the history of language (Extracts). Zvegintsev V. A. *Istoriya yazykoznaniiya XIX—XX vekov v ocherkakh i izvlecheniyakh*. Part. 1. Moscow: Prosveshchenie, 1964. Pp. 199—217.]
- Пешковский 1965 — Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык // Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М.: Просвещение, 1965. С. 288—299. [Peshkovskii A. M. Objective and normative view of language. Zvegintsev V. A. *Istoriya yazykoznaniiya XIX—XX vekov v ocherkakh i izvlecheniyakh*. Part. 2. Moscow: Prosveshchenie, 1965. Pp. 288—299.]
- Потебня 1922 — Потебня А. А. Мысль и язык. 4-е изд. Одесса, 1922. [Potebnya A. A. *Mysl' i yazyk* [Thought and language]. 4th ed. Odessa, 1922.]
- Рахилина 1998 — Рахилина Е. В. Когнитивная семантика: история, персоналии, идеи, результаты // Семиотика и информатика. Вып. 36. М.: Русские словари, 1998. С. 274—322. [Rakhilina E. V. Cognitive semantics: history, people, ideas, results. *Semiotika i informatika*. No. 36. Moscow: Russkie Slovarei, 1998. Pp. 274—322.]
- Степанов 1990 — Степанов Ю. С. Метод // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 298—299. [Stepanov Yu. S. Method. *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'*. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1990. Pp. 298—299.]
- Теньер 1988 — Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988. [Tesnière L. *Osnovy strukturnogo sintaksisa* [Basics of structural syntax]. Moscow: Progress, 1988.]
- Тимофеева 2010 — Тимофеева М. К. Интроспекция как предмет и как метод лингвистики // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2010. Т. 9. Вып. 2: Филология. С. 3—12. [Timofeeva M. K. Introspection as subject matter and a method of linguistics. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Istoriya, filologiya*. 2010. Vol. 9. No. 2: *Filologiya*. Pp. 3—12.]
- Фосслер 2007 — Фосслер К. Эстетический идеализм: Избранные работы по языкознанию. М.: ЛКИ, 2007. [Fossler K. *Esteticheskii idealizm: Izbrannye raboty po yazykoznaniiyu* [Aesthetic idealism: Selected works on linguistics]. Moscow: LKI, 2007.]
- Фрумкина 1990 — Фрумкина Р. М. Экспериментальные методы // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 590—591. [Frumkina R. M. Experimental methods. *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'*. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1990. Pp. 590—591.]
- Чикобава 1959 — Чикобава А. С. Проблема языка как предмет языкознания. На материале зарубежного языкознания. М.: Учпедгиз, 1959. [Chikobava A. S. *Problema yazyka kak predmet yazykoznaniiya. Na materiale zarubezhnogo yazykoznaniiya* [The problem of language as a subject matter of linguistics. Focused on foreign linguistics]. Moscow: Uchpedgiz, 1959.]
- Щерба 1974 — Щерба Л. В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24—39. [Shcherba L. V. About the threefold aspect of linguistic phenomena and experiment in linguistics. *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost'*. Leningrad: Nauka, 1974. Pp. 24—39.]

- Яковлева 1994 — Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. [Yakovleva E. S. *Fragments of the Russian linguistic worldview (models of space, time and perception)*. Moscow: Gnozis, 1994.]
- Dehaene 2013 — Dehaene S. The brain mechanisms of conscious access and introspection. *Neurosciences and the human person: New perspectives on human activities*. Battro A., Dehaene S., Singer W. (eds). Pontifical Academy of Sciences. Scripta Varia 121. Vatican City, 2013. Available at: <http://www.casinapioiv.va/content/accademia/en/publications/scriptavaria/neurosciences.html>
- Diuk et al. 2012 — Diuk C. G., Slezak D. F., Raskovsky I., Sigman M., Cecchi G. A. A quantitative philology of introspection. *Frontiers in integrative neuroscience*. 2012. Vol. 80. No. 6. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3449397/>
- Fleming et al. 2010 — Fleming S. M., Weil R. S., Nagy Z., Dolan R. J., Rees G. Relating introspective accuracy to individual differences in brain structure. *Science*. 2010. Vol. 329. No. 5998. Pp. 1541—1543.
- Gibbs 2006 — Gibbs R. W. Why cognitive linguistics should care more about empirical methods? *Methods in cognitive linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, 2006. Pp. 2—19.
- Raskovsky et al. 2010 — Raskovsky I., Slezak D. F., Diuk C. G., Cecchi G. A. The emergence of the modern concept of introspection: a quantitative linguistic analysis. *Proceedings of the NAACL 2010. Young investigator workshop on computational approaches to languages of the Americas*. 2010. Pp. 68—75.
- Talmy 2006 — Talmy L. Foreword. *Methods in cognitive linguistics*. Amsterdam: John Benjamins, 2006. Pp. xi—xxi.
- Talmy 2007 — Talmy L. Introspection as a methodology in linguistics. Paper distributed at *10th International cognitive linguistics conference*, 2007, Kraków (Poland). Available at: <http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/talmy/talmy.html>.
- Willems 2012 — Willems K. Intuition, introspection and observation in linguistic inquiry. *Language sciences*. 2012. Vol. 34. No. 6. Pp. 665—681.

Статья поступила в редакцию 02.04.2015.

**КАК ГРАММАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЯЕТ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(на примере эвиденциальной системы тазовского селькупского)***

© 2015 г. Анна Юрьевна Урманчиева

Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, 199053, Россия; Институт
языкознания РАН, Москва, 125009, Россия
urmanna@yandex.ru

Статья посвящена одному аспекту семантической эволюции грамматических показателей, до сих пор не освещавшемуся в полной мере в работах по грамматикализации. Речь идет о том, как грамматическая система, принимая новый показатель, может влиять на возникновение у него того или иного значения. В данной работе этот вопрос рассматривается на примере развития полисемии одного из эвиденциальных показателей северного, тазовского диалекта селькупского языка.

Ключевые слова: селькупский язык, эвиденциальность, глагольная система, семантическая эволюция показателей

**HOW MUCH IMPACT CAN GRAMMATICAL SYSTEM
HAVE ON THE SEMANTIC EVOLUTION OF GRAMS
(a case study on the Tas Selkup system of evidential markers)**

Anna Yu. Urmanchieva

Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 199053, Russia;
Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125009, Russia
urmanna@yandex.ru

This paper is devoted to an aspect of the semantic evolution of grams, which seems to be usually underestimated in grammaticalization studies. It is stated that a grammatical system can have a considerable impact on the process. This issue is examined on the example of a Tas Selkup evidential marker, which has developed a wide range of various semantic functions meeting the requirements of Selkup verbal system.

Keywords: Selkup, evidentials, verbal system, semantic evolution of grams

Введение

Селькупский язык относится к самодийской группе уральской семьи языков. В составе самодийской группы селькупский образует особую ветвь. Он подразделяется на пять основных диалектов, распадающихся на локальные говоры. В данной статье рассматривается материал одного из северных говоров — тазовского, в котором наиболее полно сохранилась эвиденциальная система. Мое видение эвиденциальной системы тазовского селькупского представлено в [Урманчиева 2014]. Настоящая статья построена следующим образом: в первом разделе обсуждается понятие грамматического дрейфа, которое предлагается для описания семантической эволюции показателей в рамках грамматической системы (этот процесс, на мой взгляд,

* Исследование выполнено в рамках проекта РНФ «Диахронически нестабильные аспектуальные категории» № 14-18-02624 (рук. — В. А. Плулган).

отличен от процесса грамматикализации); во втором разделе вкратце характеризуется семантика эвиденциальных показателей тазовского селькупского; в третьем разделе эвиденциальная система тазовского селькупского сопоставляется с эвиденциальными системами северносамодийских языков; в четвертом разделе высказываются гипотезы о путях развития эвиденциальных систем самодийских языков; и, наконец, в пятом разделе описываются направления экспансии лагентового показателя в селькупской глагольной системе и обсуждаются факторы, повлиявшие на развитие у рассматриваемого показателя присущей ему полисемии.

1. Понятие «грамматического дрейфа»

Обычно в работах по типологии грамматикализации развитие каждой грамматической единицы рассматривается изолированно; даже если и предполагается возможность внешнего влияния, то речь идет только о влиянии контекста (ср., например, классификацию семантических изменений в работе [Bybee et al. 1994], демонстрирующую, что влияние контекста на семантику грамматического показателя возрастает на поздних стадиях грамматикализации), но не о тех требованиях, которые предъявляет к новому показателю архитектура принимающей его грамматической системы. Вместе с тем очевидно, что языковая единица, коль скоро она оказывается встроенной в определенную грамматическую подсистему языка, не может семантически эволюционировать совершенно независимым образом. Появление любого нового показателя в системе не может не затронуть значение уже существующих в грамматической системе показателей из данной семантической зоны.

В этом смысле семантическая сущность процесса грамматикализации не идентична семантической эволюции показателя, принадлежащего грамматической системе. Дело в том, что траектория развития грамматического показателя может существенно изменяться под влиянием того, что при вторжении в его семантическую зону нового показателя возникает своего рода «отталкивающий» момент, причем в этом случае старый грамматический показатель должен уступить экспансии грамматизируемого. В связи с этим я предлагала разграничивать собственно процесс грамматикализации (образование новой грамматической единицы) и г р а м м а т и ч е с к и й д р е й ф (семантическое развитие показателей в грамматической системе):

...грамматизируемый показатель в значительной степени живет сам по себе, определенным образом «деформируя» грамматическую систему, чтобы занять место среди уже существующих показателей. В свою очередь, *грамматический* показатель принадлежит системе, между элементами которой энергия этой деформации распределяется, подобно угасающим колебаниям, пропорционально тому, насколько близко элемент находится к эпицентру вторжения, то есть пропорционально тому, насколько тесно он семантически связан с новым элементом системы. На наш взгляд, крайне важно разграничить эти две области исследования (грамматикализация vs. семантическая эволюция грамматических показателей в системе, которую мы предлагаем называть *грамматическим дрейфом*), так как *грамматический дрейф* зачастую не подчиняется тем закономерностям, которые сформулированы в рамках теории грамматикализации [Урманчиева 2008: 123].

Таким образом, можно говорить о таком факторе, влияющем на процесс семантической эволюции показателя, как внутрисистемные отношения между старыми и новыми грамматическими показателями. Существенно, что до сих пор если об этом и шла речь, то подразумевалось, что эти отношения являются однонаправленными: старые показатели испытывают давление новых показателей. В частности, именно эти случаи рассматриваются в [Bybee et al. 1994] при описании такого семантического механизма, как приобретение значения контекста (новые показатели вытесняют старые в неассертивные контексты). Как видно из приведенной выше цитаты, предлагая ввести понятие «грамматического дрейфа», я также ориентировалась прежде всего на те случаи, когда старый показатель уступает экспансии нового¹.

¹ Надо отметить, что семантическое развитие «старых» показателей далеко не исчерпывается таким крайним проявлением, как вытеснение в консервативные контексты с неассертивной

Однако понятие «грамматического дрейфа» следует несколько скорректировать. А именно, оказывается, что семантическое взаимодействие показателей внутри грамматической системы не является однонаправленным: значение старых грамматических показателей в не меньшей степени может влиять на направление семантической эволюции более новых грамматических показателей. Яркий пример такого влияния, причем носящего «множественный» характер, будет рассмотрен в данной статье.

2. Эвиденциальная система селькупского языка

В эвиденциальной системе селькупского языка представлено три показателя: показатель инфертива *-mp(y)*, показатель аудитива *-kunä* и полисемичный показатель *-nt(y)*, называемый в этой работе латентивом вслед за [ОчСЯ 1980], который и является основной темой данной статьи. В данном разделе будут вкратце охарактеризованы все эвиденциальные показатели тазовского селькупского. Употребления латентива с показателем *-nt(y)* подробно разобраны в [Урманчиева 2014; 2015]. Здесь будут приведены основные сведения об употреблении этой формы косвенной эвиденциальности. При описании эвиденциальной системы тазовского селькупского удобно оперировать предложенной в [Плунгян 2011: 473] типологически ориентированной схемой эвиденциальных значений. Схема в статье не приводится, необходимые пояснения по поводу того или иного эвиденциального значения будут даны по ходу изложения, параллельно с примерами.

2.1. Эвиденциальные употребления латентива

2.1.1. Значение визуального доступа

Как показано в [Урманчиева 2014], селькупский резко отличается от родственных ему языков (и, вообще говоря, от большинства «канонических» языков с категорией эвиденциальности) тем, что в нем к сфере прямой засвидетельствованности относится только партиципнтное значение («говорящий лично принимал участие в ситуации»), но не значение визуального доступа («говорящий лично наблюдал ситуацию»), хотя традиционно (в соответствии с устройством большинства эвиденциальных систем) именно личное наблюдение считается основой прямой засвидетельствованности. Пример (1) демонстрирует употребление латентива в значении визуального доступа:

- (1) *Әты-мын-ты пӧнӧ танты-лӧ, чап кӧ-ңы-ты мӧт-ты*
слово-PROL-3 наружу выйти-СВВ лишь найти-AOR-O3 чум-GEN.3

пӧры-т улқа чӧты тамы-ль сарпы-ля иппы-нты-Ө.
верх-GEN лед против грязный-ADJ тропа-DIM лежать-LATENT-S3.

Монты тӧтты пӧто-мын иннӧ тӧ-с сайи тантылэнэ-нты-Ө.
глядь земля нутро-PROL вверх огонь-GEN глаза выходить-LATENT-S3

‘Как он сказал, на улицу вышла, едва разглядела — по обледенелой крыше жилища грязная дорожка **идет**. Глядь — из-под земли искры **выходят**’ [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 16].

семантикой. Напротив, за счет определенного сужения значения, которое неизбежно должен претерпеть старый показатель, он в некоторых случаях получает вторую жизнь. А именно, приобретая более узкое, специализированное и в силу этого более яркое значение, он в результате может оказаться прагматически более востребованным, чем прежде. В частности, именно такой путь развития постулируется для суахилийского показателя консекутива *ka-* в работе [Урманчиева 2008]: этот показатель, будучи вытесненным из части контекстов в результате экспансии показателя прошедшего времени, изменил свою семантику на более специализированную, что дало толчок к дальнейшей семантической эволюции на основе этого нового значения. Но рассмотрение таких примеров не относится к теме настоящей работы.

Поскольку, действительно, использование показателя косвенной засвидетельствованности для маркирования визуального доступа крайне нетипично, возникает вопрос: не могут ли рассматриваемые употребления быть проинтерпретированы как-то иначе? Альтернативной была бы трактовка, согласно которой употребления, аналогичные приведенному в примере (1), представляют миративное значение (т. е. используются для маркирования информации, являющейся новой и неожиданной для говорящего; о миративе см. подробнее 2.1.6). Действительно, эвиденциальные формы могут развивать миративное значение; в частности, хорошо известно, что в северносамодийских языках это значение развилось на базе формы с инферентивным значением. Однако употребления селькупского латентива в значении, которое мы определяем как визуальный доступ, имеют существенное отличие от употреблений миративных показателей других самодийских языков. А именно, латентив в значении визуального доступа может употребляться на протяжении достаточно значительных фрагментов текста, описывая последовательно сменяющиеся друг друга ситуации в рамках нарративной цепочки, что абсолютно нехарактерно для миратива². Это происходит в тех случаях, когда протагонист, попадая в некоторые новые обстоятельства с новыми действующими лицами, наблюдает эту ситуацию, не вмешиваясь в нее и не принимая в ней активного участия. В этом случае часть повествования ведется с использованием форм визуального доступа от лица протагониста. Данный нарративный прием — чередование форм аориста как форм прямой засвидетельствованности с формами визуального доступа — назван в [Урманчиева 2015] *ди с к у р с и в н ы м д е й к с и с о м*. Суть его состоит в том, что фокус повествования все время удерживается возле протагониста за счет того, что действия второстепенных персонажей (до тех пор, пока протагонист не начинает с ними активно взаимодействовать) подаются в рассказе сквозь призму восприятия протагониста:

- (2) *Түлэ мөттү щёрны₁₁. Мөттү чап щёрны₁₂ монты нильчыль ильчала бмнынты₁₃ мықай тарыль нюкык ёңа₁₄. Кеккысá мыта мат на щип қольчинты₁₅ нильчиң на кэтынтыты₁₆ «Тімням на тўнты». Ньны нильчиң на кэтынтыты₁₇ «Бл амтáщик». Онты иннá ныллэилá пөнá на тарынты₁₈. Сёпылаң ёлá мөттү на қонтицеинты₁₉. Монты мат чунтаны пэлыль лакап тарыль тыры орқылтылá тултынтыты₁₁₀ на. Щоқырыт шўньнэнты на омталтынтыты₁₁₁ на. Ныны ащца ката₁₁₂. Ий иннá ныллэя₁₁₃ понá тáры₁₁₄ пэлыль чуннынт. Ныны иннá омта₁₁₅. Яннá лақалта₁₁₆.*
- ‘Придя, в дом вошел₁₁. В дом лишь вошел₁₂, глядь, такой старичок сидит₁₃, даже шерсть сверху на нем (есть)₁₄. С трудом меня увидел₁₅, так вот говорит₁₆: «Брат мой вот пришел». Потом так говорит₁₇: «Садись». Сам, встав, на улицу вышел₁₈. Через некоторое время в чуме вот появился₁₉. Глядь, моего коня половину, за холку с шерстью схватив, притащил₁₁₀. В пещку положил₁₁₁. Потом ничего не случилось₁₁₂. Ий встал₁₁₃, на улицу вышел₁₁₄ на половину своего коня. Потом сел₁₁₅. Вперед тронулся₁₁₆’ [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 18].

² Миративное значение в северносамодийских языках либо сопутствует инферентивному (и в этом случае не так принципиально, постулируем ли мы наличие миративного компонента или нет, так как он не может быть выражен применительно к завершившимся ситуациям, описываемым глаголами действия, в случае прямой засвидетельствованности), либо может быть выражено, так сказать, «в чистом виде», по отношению к непосредственно наблюдаемым ситуациям, но такие употребления миратива ограничены глаголами состояния. Кроме того, кажется, что парадоксальным образом и в случае развития миративного значения на базе инферентивного этот путь грамматикализации обусловлен не связью миративного значения с эвиденциальной семантикой, а другим важным свойством употребления инферентивных показателей. А именно: контексты употребления инферентива, как правило, подразумевают «чтение» определенных **видимых** следов уже совершившейся ситуации (в частности, инферентив часто допустим в контексте глагола зрительного восприятия, синтаксическом либо, шире, дискурсивном: герой приходит в определенное место и видит, что до его прихода здесь нечто произошло) и **непосредственную** вербализацию производимых наблюдений. Таким образом, миративность сама по себе связана не с эвиденциальностью, а именно с непосредственным наблюдением, и, как будет видно из дальнейшего изложения, если не предполагать у латентивного показателя значения визуального доступа, другие эвиденциальные значения этого показателя с трудом объяснили бы его использование в миративных контекстах.

В этом отрывке повествование ведется сначала от третьего лица при помощи аористных форм [1], [2]. Затем, при появлении нового персонажа (старика), референция к протагонисту осуществляется при помощи первого лица ('меня увидел', 'моего коня'), и идет довольно длинная цепочка латентивных форм [3]—[11], описывающих действия старика от лица наблюдающего за ним протагониста. Наконец, когда сам он включается в действие, референция к нему опять осуществляется при помощи третьего лица и в повествовании появляются аористные формы [12]—[16].

2.1.2. Значение сенсорного доступа

Латентив используется и для маркирования сенсорного доступа, т. е. в тех случаях, когда говорящий получает информацию о ситуации при помощи слуха (чаще всего) (3), но также — осязания или обоняния. В этом значении может употребляться также специализированная форма *аудитива* (4):

- (3) *Ûtynyk ïñkylymp-a-ty picyt siïmy ïñny-nty-ø*
вечером услышать-AOR-O3 топор-GEN звук слышаться-LATENT-S3
'К вечеру услышала: звук топора слышится' [ОчСЯ 1993: 12, текст 3: 39]³.
- (4) *Ukkyr contō-qyt pi-t conty-l' kotā-qyt aj ñil'cyk*
один время-LOC ночь-GEN время-ADJ середина-LOC опять так
ïntyn'-ny-ty: aj kos qaj na tii-kynä-ø
услышать-AOR-O3 опять INDEF что вот прийти-AUD-S3
'Вдруг в полночь опять слышит: опять кто-то пришел, слышно' [Там же: 38, текст 26: 127].

Судя по всему, аудитив представляет собой более старую форму, ср.: «В течение последних десятилетий в тазовском диалекте значительно сократилось употребление аудитива. Это наклонение довольно часто встречается в текстах, охваченных словарем И. Эрдеи [Erdélyi 1969], однако в современных записанных нами текстах аудитив не был употреблен ни разу, хотя сама его форма понятна большинству информантов. Сфера прежнего использования аудитива, т. е. обозначение "действий, устанавливаемых на основании их слышимости" (Прокофьев 1935, стр. 69), в настоящее время обслуживается обычно латентивом» [ОчСЯ 1980: 242].

2.1.3. Эндофорическое значение

Латентив может использоваться также в тех случаях, когда говорящий сообщает о своих внутренних ощущениях:

- (5) *Kātsat, ñnyl', qālymp-āš topy-sā. A to mat uta-p cūšaly-nty-ø*
внук правда идти-IMVS2 нога-INSTR а то я рука-1 заболеть-LATENT-S3
'Внук, правда, иди пешком. А то мои руки заболели' [ОчСЯ 1993: 18, текст 6: 55—56].

2.1.4. Репортативное значение

Латентив используется для передачи информации, известной говорящему со слов других людей.

- (6) *Tēpтыль чёлы нильчиль әты тү-нты-ø — ёмталь₁ қон₂*
следующий день такой весть прийти-LATENT-S3 царь_{1,2}
мықыт мампа коччи пэля-ль тамтыр-ты ицўньни-нты-ø
у мол много половина-ADJ род-3 убавиться-LATENT-S3
'На следующий день пришло известие, что людей у царя стало вполнину меньше' [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 18].

³ Ссылки на тексты из [ОчСЯ 1993] даются в следующем формате: номер страницы, номер текста: номер предложения в тексте.

- (7) *Qum-yt njk tom-n̄-tyt, lapkō-qyn üt cāγγy-nty-Ø*
 человек-PL так говорить-AOR-3PL магазин-LOC вода **не.иметься-LATENT-S3**
 ‘Люди говорят, в магазине водки **нет**’ [ОчСЯ 1980: 241].

2.1.5. Презумптивное значение

Латентив используется также в контекстах, которые следует, как кажется, определить как презумптивные. В работе [Урманчиева 2014] я описывала соответствующие употребления как инферентивные, однако теперь мне кажется более уместным квалифицировать соответствующие употребления как презумптивные. Эти колебания объясняются тем, что на первый взгляд в соответствующих примерах можно выделить текстовые фрагменты, эксплицитно описывающие основания для инференции (т. е. ту наблюдаемую ситуацию [1], на основании которой говорящий путем инференции восстанавливает наличие ситуации [2], которую он лично не наблюдал). Тем не менее эти основания для инференции обладают определенным свойством, которое отличает эти контексты от классических инферентивных (для маркирования которых в селькупском существует отдельный, собственно инферентивный показатель *-mru*, см. [Урманчиева 2014]). А именно, ситуации [1] (в примере (8) ниже выделена разрядкой) и [2] связаны достаточно опосредованно, и для постулирования связи между ними необходимо в значительной сфере опираться на общие рассуждения, знания о мире и т. п. Такое значение описывается в типологии эвиденциальных значений В. А. Плунгяна как презумптивное (в типологии эвиденциальности [Aikhenvald 2004] соответствующее значение определяется как *assumption*):

- (8) *Merky namyššak esy-mpa-Ø — m̄t-ty n̄ny ponā ašša tann-enta-Ø.*
 ветер такой *стать-INFER-S3* чум-3 из наружу NEG выйти-FUT-S3
Ira njl'cik esa: “Nop qət-qolam-ty-Ø”
 старик так сказать-AOR-S3 бог убить-PROSP-LATENT-S3
 ‘Ветер такой поднялся — из чума на улицу старик не выйдет. Старик так сказал: «Бог меня **убить собрался**»’ [ОчСЯ 1993: 8, текст 1: 4—5].

2.1.6. Миративное значение

Наконец, латентив выражает еще одно грамматическое значение, не относящееся к сфере эвиденциальности, но часто возникающее у эвиденциальных показателей, — значение миратива. Для описания миративных употреблений эвиденциальных показателей в самодийских языках наиболее адекватной является трактовка миративности, предложенная С. ДеЛанси (впервые на это указано в [Гусев 2007: 425—429]). Он определяет миративность как «семантическую категорию новой, или неассимилированной информации»⁴.

- (9) *iča koš kuççe qən-Ba-Ø? ukk̄r çonDō-qyt lōZ̄b-t*
 PN хоть куда уйти-INFER-S3 один время-LOC черт-GEN
m̄t̄æ-n aç çãť p̄rGь nãC̄ŷr t̄ym̄.
 дверь-GEN отверстие напротив высокий три лиственница
nãC̄ŷrmDæliç t̄ym̄ p̄r̄b-çyt tō ām̄n̄-nD̄b-Ø iča
 третий лиственница вершина-LOC на сидеть-LATENT-S3 PN
 ‘Ича-то куда ушел? Вот [досл. однажды. — А. У.] напротив двери черта три высоких лиственницы. И на вершине третьей лиственницы, **оказывается, Ича сидит**’ [Прокофьев 1935: 102].
- (10) *uī! k̄b̄Z̄m̄b̄} çayGa-p! titja-p qət-ta-p.*
 EXCL счастливый ловушка-1 пташка-ACC добыть-LATENT-O1
qolC̄ŷa-n t̄ja-p qət-ta-p!
 кукша-GEN ребенок-ACC добыть-LATENT-O1
 ‘<Черт-старик к ловушке подходит.> О! Счастливая ловушка моя! Пташку **поймал** я, птенца кукши **поймал** я!’ [Прокофьев 1935: 102]

⁴ «...a semantic category of new or unassimilated information» [DeLancey 2012: 533].

2.2. Инферентивный показатель

Наряду с латентивом, в селькупском представлен показатель инферентива (его употребления также разбираются в [Урманчиева 2014]). Он употребляется для обозначения ситуации в тех случаях, когда говорящий не наблюдал саму ситуацию, но:

а) наблюдает ее непосредственный результат (в этом случае, как кажется, сложно говорить о том, что утверждение о самой ситуации связано с наблюдением результата отношением инференции, так как тривиальный результат ситуации прагматически является ее непосредственной составляющей). В данном случае, вероятно, уместно говорить о такой разновидности доступа к информации о ситуации, как *визуальный ретроспектив* (см. [Урманчиева, в печати, б])⁵;

б) наблюдает какие-то менее тривиальные последствия ситуации и путем инференции восстанавливает информацию о ненаблюдавшейся ситуации (либо ее компонентах):

- (11) *im̄|ā-q̄n-D̄b̄* *çap tul̄n̄-ŋa-Ø*, *im̄|a-t̄m̄ tonD̄* *naşşāqyt qu-mBa-Ø* —
бабушка-LOC.POSS-3 едва прийти-AOR-S3 бабушка-1 выдать давно умереть-INFER-S3
m̄qaj qorQ̄b-t̄ tar̄b-| *qyt t̄at̄bq q̄m̄B̄ş-ŋa-t̄b̄*
даже медведь-GEN шерсть-ADJ мох совсем укрыть-INFER-O3
'К бабушке своей как только дошел — бабушка моя, выдать, так давно умерла — даже медвежий (собств. медвежье-шерстный) мох совсем (ее) **покрыл**' [Прокофьев 1935: 109].

В примере (11) описываются две ситуации. Утверждение о ситуации [1] 'мох ее покрыл' представляет собой пример *визуального ретроспектива*, основанного на наблюдении результата. В то же время эта ситуация, в свою очередь, служит эксплицированным в тексте основанием (косвенным свидетельством) для логического вывода о существовании ситуации [2] ('мох покрыл' → 'бабушка умерла давно'). Замечу попутно, что инференция может иметь определенную сферу действия: так, в примере (11) инференция касается именно времени смерти, сам же факт кончины в данном случае также устанавливается путем наблюдения результата.

Наконец — это наблюдение окажется важным, когда речь пойдет о семантической эволюции эвиденциальных значений, — следует сказать, что инферентив часто употребляется в контексте глаголов визуального восприятия:

- (12) *Mannup-š-tyt*: *Ica-n ima-ty qu-mBa-Ø*
смотреть-AOR-S3PL PN-GEN жена-3 умереть-INFER-S3
Pany-sä kuty₁ kos₂ p̄arqyl-ŋa-ty
Нож-INSTR кто-то_{1,2} заколоть-INFER-O3
'Смотрят: Ичина жена **умерла**. Ножом кто-то (ее) **заколол**' [ОчСЯ 1993: 25, текст 12: 26—27].

Отличие инферентива в тазовском селькупском от инферентива северносамодийских языков состоит в том, что в редких случаях инферентив допустим при прямой засвидетельствованности ситуации в перфектных контекстах:

- (13) *Hy-n īȳ* *nīl̄ k̄at̄y-ny-t*: «*Man myta nen̄nyā-l̄*
Небо-GEN ребенок так сказать-AOR-O3 я мол сестра-ADJ
mȳj̄j̄ȳn̄₁ n̄ȳnt̄ä₂ ð̄m̄ty-nt̄ä-ŋyt ukyn ap̄sy-n-ty
вместе_{1,2} сидеть-NMLZ-LOC перед.LOC еда-GEN-3
mat k̄ym̄mal̄ty-sa-k. Ǟsä-n nam̄y-t ç̄t̄y ŋ̄ry-n-ty ŋ̄ip̄
я потащить-ПРАЕТ-S1 Отец-1 это-GEN из-за закон-GEN-3 я.АСС

⁵ Дело в том, что контексты визуального ретроспектива, как правило, подразумевают «чтение» определенных следов уже совершившейся ситуации, т. е. информация о ситуации поступает к говорящему **непосредственно** в процессе расшифровки этих следов. В этом смысле инферентив действительно сообщает о том, что говорящий *видит*.

пин-па-Ø — сельчи марки нат-йо \bar{y} -на-м)
положить-INFER-S3 семь остров это-TRANSL тащить-AOR-O1

‘Божий сын так говорит: «Я, когда сидел с сестрами за столом, раньше времени еду себе взял. Поэтому мой отец на меня наказание **наложил** — семь островов за это ташу»’ [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 16].

3. Селькупская эвиденциальная система в сопоставлении с северносамодийскими

Итак, в тазовском селькупском семантическая зона эвиденциальности поделена между показателями следующим образом, см. таблицу 1.

Таблица 1

Эвиденциальная система тазовского селькупского⁶

Тип доступа к информации	Эвиденциальное значение	Способ выражения
Прямой личный доступ	партиципантное	аорист / (в перфектных контекстах очень редко возможен инферентив)
	визуальное	латентив <i>-nt(y)</i> / инферентив <i>-mp(y)</i> (= визуальный ретроспектив)
	сенсорное	латентив <i>-nt(y)</i> / аудитив <i>-kyn(ä)</i>
	эндофорическое	латентив <i>-nt(y)</i>
Непрямой личный доступ	инферентивное	инферентив <i>-mp(y)</i>
	презумптивное	латентив <i>-nt(y)</i>
Непрямой неличный доступ	репортативное	латентив <i>-nt(y)</i>

Как соотносится эта система с эвиденциальными системами северносамодийских языков? Эвиденциальная система ненецкого описана исчерпывающим образом в работах С. И. Бурковой, из последних можно указать [Буркова 2010]; эвиденциальная система нганасанского — в [Гусев 2007]; оба энецких идиома описываются по материалам автора данной статьи. Поскольку, во-первых, в указанных работах можно найти примеры на все перечисленные значения в ненецком и нганасанском, во-вторых, эвиденциальная система энецкого не отличается от эвиденциальных систем других северносамодийских языков и, в-третьих, подробное описание эвиденциальности в северносамодийских не входит в задачу данной работы, здесь приводится только таблица, в которой суммируются данные по структуризации семантической сферы эвиденциальности в северносамодийских языках (таблица 2). Подробно будет рассмотрено только выражение презумптивного значения, так как это важно для сопоставления с селькупским материалом.

⁶ Следует учитывать, что схема несколько упрощена: аорист как немаркированный член парадигмы эвиденциальных форм может заменять специализированные эвиденциальные формы в ряде контекстов.

Таблица 2

Эвиденциальные системы северносамодийских языков⁷

Тип доступа к информации	Эвиденциальное значение	Ненецкий	Тундровый энецкий	Лесной энецкий	Нганасанский
Прямой личный доступ	партиципантное	аорист ⁸			
	визуальное	аорист / инферентив (= визуальный ретроспектив) ⁹			
	сенсорное	аудитив ¹⁰			
	эндофорическое	аудитив			
Непрямой личный доступ	инферентивное	инферентив			
	презумптивное	проба-билитив-презумптив ¹¹ (подробно см. ниже)	презумптив ¹²		
Непрямой неличный доступ	репортативное	инферентив / аудитив	инферентив		репорта-тив ¹³ / аудитив

Презумптивное значение в чистом виде из всех северносамодийских языков выражается только в энецком. Однако больший интерес, чем энецкая форма, для темы данной статьи представляет одна форма ненецкого языка — форма пробабилитива-презумптива с показателем *-на-кы/-да-кы/-та-кы*. Дело в том, что именно она когнатна селькупской латентивной форме¹⁴.

⁷ Заливка в ячейках таблицы означает, что в языке это значение не получает специального грамматического выражения.

⁸ Образование аористной формы в самодийских языках происходит по достаточно сложным правилам, поэтому в таблице не приводятся показатели; интересующихся читателей можно отослать к статье [Урманчиева 2013], где суммированы существующие данные по образованию аориста в самодийских языках, а также впервые приводятся полные данные о правилах образования аористной формы в лесном и тундровом энецком.

⁹ Инферентив в самодийских языках выражается следующими показателями: селькупский *-mp(y)*, тундровый ненецкий *-вы ~ -мы*, лесной и тундровый энецкий *-bi ~ -pi*, нганасанский *-HUATU*. Нганасанский показатель является составным, его первым элементом выступает старый показатель инферентива *-HUA* (соответствующий энецкому *-bi ~ -pi*, см. [Гусев 2006]; нганасанские показатели даются в морфонологической транскрипции и поэтому записаны заглавными буквами) и сохранившийся в нганасанском в интеррогативной парадигме в репортативной функции, см. [Гусев 2013: 71]).

¹⁰ Аудитив в самодийских языках выражается следующими показателями: селькупский *-kun(ä)*, тундровый ненецкий *-вон(он) ~ -мон(он)*, лесной и тундровый энецкий *-(m)uni*, нганасанский *-MUNƏI/-MUNUJ*.

¹¹ Пробабилитив-презумптив в тундровом ненецком имеет форму *-на-кы ~ -да-кы ~ -та-кы*.

¹² Презумптив в энецком имеет показатель *-ta* (прибавляется к особой глагольной основе, но морфонологические тонкости в данном случае несущественны).

¹³ В нганасанском сформировалась особая парадигма репортатива, см. [Гусев 2007: 429—439].

¹⁴ И латентивный показатель селькупского языка *-nl(y)*, и первый компонент ненецкого пробабилитива-презумптива *-na* имеют причастное происхождение и восходят к общесамодийскому показателю имперфективного причастия **-nta*.

Данная форма описывается в [Буркова 2010: 285] как выражающая именно презумптивное значение в сочетании с пробабилитивным: «Аффикс *-на/-да/-та* в составе словоформы пробабилитива выражает <...> значение презумптива, указывающее на то, что информация, лежащая в основе предположения, входит в область общих знаний, память говорящего».

Ниже приводятся несколько примеров из ненецких текстов, (14)—(17). Прежде всего презумптив оформляет сентенциальный актант при глаголе 'говорить' (в этом случае 'говорить' означает 'думать') — в таких примерах фактически содержится эксплицитное указание на «ментальный» источник информации:

- (14) *Пя-4н хэв-хана юседа-б-та ма-ма-зэ хабэй э-накы-Ø*
 дерево-GEN.PL.1 бок-LOC лежать-VACOND-3 сказать.AOR-S1-PRAET мертвый быть-PRES-S3
 'Когда он лежал около моих дров, я подумала, что он **мертвый**' [ЭПН: 322].

Есть примеры, в которых ментальный источник информации фактически подразумевается, однако эксплицитно в контексте не обозначается (помимо употребления грамматического показателя презумптива):

- (15) *Хурка-рха-'? Судбя-' э-накэ-''?*
 что-COMP-PR3DU? **Великан-ДУ** **быть-PRES-S3DU**
 '— Каковы они [двое]? Они, наверное, **сильные**?' [ЭПН: 272].

Часто в контексте эксплицитно указываются основания, позволяющие говорящему сформулировать презумптивное суждение:

- (16) *Ты пэр-чи-ни нули" по-н юңгу-ню".*
 олень.ACC.PL держать-PTPRAES-PL.1 очень год-LAT не.иметься[-CONN]-NEG.EMPH.S3PL
Ты-ду нэдара-накы-'' хаңгула-накы-д''?
 Олень-3PL отпустить-PRES-S3PL заболеть-PRES-R3PL
 'Уж больно долго нет наших пастухов. Наверное, они оленей **упустили**, или **заболели**' [Лаба-наускас 2001: 15].
- (17) *Нярава₁ валкумбэ₂-' ня-ли-да няңгары-Ø.*
 PN_{1,2}-GEN рот-LIM-3 открытым.быть.AOR-S3.
Ханя ман-дакы-Ø: «Ху-мна ту-т-ба-та?»
 Как сказать-PRES-S3 где-PROL прийти-FUT-VACOND-3
 'У Нярава Валкумбэ₂ только рот остался раскрытым. Наверное, **думает**, по какому месту угодит <стрела>' [Терещенко 1990, текст 4, предл. 131, 132].

Использование селькупского латентива в презумптивном значении проиллюстрировано примером (8) выше; см. также примеры (24)—(28) из [Урманчиева 2014].

Таблица 2 позволяет наглядно увидеть значительную близость эвиденциальных систем северносамодийских языков. В дальнейшем для сопоставления с тазовским селькупским нам достаточно будет пользоваться данными тундрового ненецкого (тем более что именно в ненецкой глагольной системе представлена презумптивная форма, когнатная селькупской).

4. Развитие эвиденциальных систем самодийских языков

Итак, и в тундровом ненецком, и в тазовском селькупском представлены эвиденциальные показатели с широкой семантикой. Каковы сценарии развития грамматической полисемии в эвиденциальной сфере этих двух идиомов?

4.1. Инферентив

В ненецком представлен показатель инферентива *-вы ~ -мы*, который выражает значения «визуального ретроспектива», собственно инферентива и репортатива. Показатель этот

когнатен показателю перфективного причастия *-vbi ~ -mbi*, и путь его семантической эволюции представляется достаточно очевидным. Вероятно, отправной точкой грамматикализации послужила предикация с перфективным причастием, подчиненная глаголу зрительного восприятия. Дальнейший путь ее развития был, по всей видимости, таким:

перфективное причастие,
зависимое от глагола зрительного восприятия → визуальный ретроспектив → инферентив → репортатив

Выше уже упоминалось, что контексты визуального ретроспектива (и, шире, инферентива — в отличие от репортативных контекстов), как правило, подразумевают «чтение» определенных следов уже совершившейся ситуации, т. е. информация о ситуации поступает к говорящему *не посредственно* в процессе расшифровки этих следов. В этом смысле прототипические инферентивные контексты подразумевают совмещение **миративного** и инферентивного семантических компонентов. И эвиденциальные показатели естественно эволюционируют в показатели «неассимилированной» информации, т. е. в показатели с obviously миративным значением. Таким образом, полный путь развития инферентивного показателя ненецкого языка выглядит следующим образом:

перфективное причастие,
зависимое от глагола зрительного восприятия → визуальный ретроспектив → инферентив → репортатив
↓
миратив

4.2. Презумптив

Что можно сказать о грамматикализации *презумптивного* показателя в ненецком? Он состоит из двух морфем: показателя пробабилитива *-кы* (входящего в состав еще пяти форм) и предшествующего ему показателя имперфективного причастия. Можно было бы предполагать, исходя из ненецкого материала, что была грамматикализована конструкция с причастной клаузой, подчиненной глаголу со значением ‘думать’¹⁵. Однако, если попытаться выбрать исходную конструкцию, которая могла бы дать путь грамматической эволюции, в равной степени подходящий и для ненецкого презумптива, и для селькупского латентива, возможно, следует считать, что исходной, как и в случае инферентива, была конструкция с глаголом визуального восприятия.

В этом случае переход от значения визуального восприятия к презумптивному значению представляет собой ту же метафору, которая задействована в семантической эволюции глагола ‘видеть’ (ср., например, полисемию др.-англ. *seon* ‘to see, look, behold; observe, perceive, understand; experience, visit, inspect’ [<http://etymonline.com/index.php?term=see>]).

Соответственно, исходной точкой грамматикализационного процесса в данном случае явилась конструкция *X видум, что V-PtPraes*.

¹⁵ Ср. употребление презумптива с глаголом *манзь* ‘сказать’, который также употребляется в значении ‘думать’:

(i) *Пя-н* *хэв-хана* *юседа-б-та* *ма-ма-зъ* *хабэй* *э-накы-Ө*
 дерево-GEN.PL.1 бок-LOC лежать-VACOND-3 сказать.AOR-S1-PRAET мертвый быть-PRES-S3
 ‘Когда он лежал около моих дров, я подумала, что он мертвый’ [ЭПН: 322].



Ненецкая пробабилитивная форма *-на-кы* находится на третьей стадии данного пути грамматикализации, причем ни значения визуального доступа, ни значения миратива эта форма не выражает. В ненецком, как уже было сказано, презумптивный показатель употребляется только в сочетании с показателем эпистемической оценки — возможно, именно он блокирует выражение значения визуального доступа и миратива. Что касается селькупского латентивного показателя *-nt(y)*, то он выражает и значение визуального доступа к ситуации, и значение миратива, и значение презумптива; таким образом, в его семантике объединяются грамматические значения, представленные на разных этапах данного пути грамматикализации.

Напомню, что значения селькупского латентивного показателя *-nt(y)* не ограничиваются тремя перечисленными: он является показателем с широкой эвиденциальной семантикой. Напротив, инферентивный показатель селькупского не имеет такой широкой сферы употребления, как инферентивный показатель ненецкого. Соответственно, можно было бы предположить, что в тазовском селькупском инферентивный показатель «недоразвился» в эвиденциальной сфере (в частности, он не утратил возможности описывать ситуации, к которым говорящий имел прямой личный доступ) и что, в отличие от северносамодийских языков, в тазовском селькупском именно латентив оказался тем «грамматически сильным» показателем, вокруг которого изначально была выстроена эвиденциальная система, тогда как инферентив в селькупском был развит гораздо слабее. В ненецком же, напротив, представлена система с экспансией инферентивного показателя и с «недоразвившимся» латентивным показателем, выражающим только презумптивные значения.

5. Перестройка эвиденциальной системы тазовского селькупского

Однако, как кажется, есть основания предполагать, что исходно селькупская система эвиденциальных маркеров была существенно ближе к ненецкой. Что дает основания говорить об этом?

Самый очевидный случай можно наблюдать при кодировании сенсорного и эндофорического значений. Напомню, что в тазовском селькупском эти значения выражаются латентивным показателем, однако он вытеснил исконный показатель аудитива в самое недавнее время, и притом не полностью, так что восстановить первоначальную картину не составляет труда. Исконный аудитивный показатель встречается как в текстах, записанных в 20-х гг. XX в. Г. Н. Прокофьевым, так и — гораздо реже — в текстах из [ОчСЯ 1993], записанных в 70-х гг. XX в. См. также приведенную после примера (4) аргументацию того, что в селькупском в ситуации конкуренции аудитива и латентива именно аудитив представляет собой более старый и вытесняемый из грамматической системы показатель.

Итак, значение аудитива представляет собой первый и самый бесспорный пример экспансии латентивного показателя в селькупской эвиденциальной системе. При этом использование латентива для маркирования значения сенсорного доступа гораздо естественнее объяснить не конкретными семантическими переходами, обусловленными собственным значением латентивного показателя, а тем, что в грамматической системе уже имеется определенная семантическая ниша, и семантический переход запускается именно за счет того, что эта семантическая ниша втягивает в себя новый грамматический показатель взамен старого.

Гораздо менее тривиальным выглядит вопрос о том, как исходно (условно — в прасамодийском) была поделена эвиденциальная сфера между показателем, восходящим

к имперфективному причастию (селькупский латентив, ненецкий презумптив) и показателем, восходящим к перфективному причастию (инферентив). Можно было бы предположить, что в селькупском исходно была представлена эвиденциальная система, близкая к обско-угорской (засвидетельствована, например, для обдорского хантыйского). Обско-угорская эвиденциальная система, как и тазовская селькупская, организована при помощи двух форм, восходящих к перфективному и имперфективному причастиям. Интересно сопоставить некоторые употребления эвиденциальных форм, восходящих к перфективному (Pfv) и имперфективному (Ipfv) причастиям в тазовском селькупском, ненецком и обдорском хантыйском (по материалам [Nikolaeva 1999a]¹⁶). Антериорность, заложенная в значение перфективного причастия, и одновременность, соотносящаяся с имперфективным причастием, при финитном употреблении этих форм естественно трансформируются в абсолютное время, прошедшее и настоящее соответственно. Если учитывать этот параметр, оказывается, что наиболее симметричная система наблюдается в обдорском хантыйском, см. таблицу 3.

Таблица 3

Распределение показателей, восходящих к имперфективному и перфективному причастиям, в обдорском хантыйском

Значения	Формы	
	Настоящее время	Прошедшее время
‘инферентив’		Pfv
‘репортатив’	Ipfv	Pfv
‘миратив’	Ipfv	Pfv
‘презумптив’	? ¹⁷	?

В ненецком происходящая от перфективного причастия форма проникает в сферу настоящего времени в миративном значении. Что касается настоящего времени репортатива, то, по данным [Буркова 2010: 300], «если “пересказываемая” ситуация относится к настоящему временному плану, то функцию выражения ренарратива берет на себя аудитив». Однако противопоставление аудитива и инферентива в репортативной сфере как презентных и претеритных форм соответственно, как кажется, следует считать скорее поздним явлением. Во-первых, судя по энецким и нганасанским данным, инферентивная форма (в нганасанском, соответственно, как собственно репортатив, так и вопросительный репортатив, восходящий к этимологическому инферентивному показателю, см. [Гусев 2007: 437—439, 441]) употребляется и в значении репортатива настоящего времени. Во-вторых, в нганасанском аудитивная форма также может употребляться в значении репортатива, причем как с референцией к настоящему, так и к прошедшему времени, примеры см. в [Гусев 2007: 423]. Соответственно, можно предполагать, что изначально противопоставление инферентива и аудитива в репортативной сфере не было связано с временной референцией. Возможно, аудитив использовался для сообщения более или менее общеизвестной информации, а инферентив — для пересказа информации из конкретного источника. Для данной статьи существенно, что инферентивная форма могла передавать значение репортатива в сфере настоящего времени и в ненецком, о чем свидетельствует реализация этой возможности в энецком и нганасанском, см. таблицу 4.

¹⁶ В обдорском хантыйском эвиденциальность выражается финитными употреблениями перфективного и имперфективного причастий.

¹⁷ Знаки вопроса в данной строке таблицы означают, что нет сведений о выражении этих значений грамматическими средствами, однако возможно, что соответствующие употребления эвиденциальных форм не зафиксированы в существующих описаниях.

Таблица 4

Распределение показателей, восходящих к имперфективному и перфективному причастиям, в тундровом ненецком

Значения	Формы	
	Настоящее время	Прошедшее время
‘инферентив’		Pfv
‘репортатив’	Aud (но энец, нган. Pfv)	Pfv
‘миратив’	Pfv	Pfv
‘презумптив’	Ipfv + Prob	Ipfv + Prob

В селькупском, напротив, происходящая от имперфективного причастия форма вторгается в сферу прошедшего времени (таблица 5).

Таблица 5

Распределение показателей, восходящих к имперфективному и перфективному причастиям, в тазовском селькупском

Значения	Формы	
	Настоящее время	Прошедшее время
‘инферентив’		Pfv
‘репортатив’	Ipfv	Ipfv
‘миратив’	Ipfv	Ipfv
‘презумптив’	Ipfv	Ipfv

Можно ли считать, что представленная в тазовском селькупском асимметричная система развилась из симметричной системы обдорского типа? Кажется, есть основания считать, что перестройка системы была еще более значительной: не от симметричной системы обдорского типа, а от асимметричной (но в другую сторону, нежели в селькупском) северносамодийской системы. Естественно, основным аргументом является не столько генетическая близость селькупского и северносамодийских языков, но и внутрисистемные аргументы, к рассмотрению которых мы сейчас перейдем.

5.1. Латентив в значении репортатива

В селькупских грамматиках значение репортатива приписывается только латентиву, см. [Прокофьев 1935: 66; ОчСЯ 1980: 241]. Есть ли основания считать, что раньше репортатив маркировался инферентивом?

В селькупских фольклорных нарративах представлена форма с показателем *-mmynt(y)* (<*-mpy-nt(y)*). Первый элемент этого суффикса — показатель инферентива, второй — показатель латентива. Как продемонстрировано в [Урманчиева, в печати, а], этот показатель по своим употреблениям в точности соответствует употреблениям нганасанского репортативного показателя. Однако в селькупском, в отличие от нганасанского, эти употребления сохранились исключительно в нарративном регистре, в фольклорных текстах. Такое использование формы на *-mmynt(y)* на протяжении всего повествования является достаточно редким, однако оно полностью соответствует использованию специализированной репортативной формы в нганасанском. Это доказывает, что и в селькупском эту форму следует рассматривать именно как выражающую репортативное значение. В интродуктивных фрагментах фольклорных текстов в нганасанском также может употребляться либо инферентив, либо репортатив; в селькупском, в свою очередь, в интродуктивных фрагментах может употребляться либо форма с показателем *-mp(y)*, являющаяся инферентивом, либо

форма с показателем *-mmynt(y)*, которая, очевидно, и в этом случае является функциональным аналогом нганасанского репортатива.

Можно наблюдать некоторую корреляцию между типом повествования и возможностью использовать в дискурсе репортативную форму (эта корреляция лучше видна на нганасанском материале, но в меньшем объеме ее можно наблюдать и в селькупском). Так, репортативные формы чаще используются в персональных нарративах (например, в рассказе о старших родственниках, в рассказе о собственном рождении, а также в рассказах о несомненно имевших место исторических событиях, известных со слов очевидцев, пусть даже отделенных от рассказчика несколькими поколениями), а инферентивные — в таких фольклорных повествованиях, которые являются «общим достоянием». Ср. следующий фрагмент фольклорного нарратива, в котором последовательно употребляются репортативные формы:

- (18) 21. *N̄ny konnä na tannymmynty.* 22. *Ukkyr qälyk karrän na qalymmynty, qural' qälyk karrän na qalymmynty.* 23. *̄my qälyt konnä na tannymmynt̄tyt.* 24. *Ira cul' m̄tqnty na š̄erpynty.* 25. *Qälyt p̄qyn ep̄iäqyt ämnäntysä m̄tyt ȳlyp n' utysä na t̄qqymmynt̄tyt, n̄ny tösä t̄qqympaty, n̄ny ürsä qamnympaty, n̄ny aj n' utysä na t̄qqymmyntyty.* 26. *N̄ny qälytym m̄tyt ütylä, kunner apsy qajty äsa muntyk karrä na tottymmyntyty.* 27. *N̄ny ira na apstyqolammyntyty, na amyrqolammynt̄tyt qälyt.* 28. *N̄ny onty m̄tqyt qalympa, šitty ämnänty n' ennäl' okoškanty na ütymmyntyty, šitty ämnänty p̄qyl' peläl' m̄ta p̄tylyt, šitty ämnänty innä š̄öjal p̄rynty ütymmyntyty.* 29. *S̄epylaj na amyrpynt̄tyt, s̄epylaj na ̄mnymmymnt̄tyt qälyn.*

‘21. Потом на берег он **вышел**. 22. Один ненец внизу **остался**, хромой ненец внизу **остался**. 23. Остальные ненцы на берег **вышли**. 24. Старик в свою землянку **вошел**. 25. Пока ненцы на улице были, (он) со своими снохами пол сеном **застелил**, потом берестой застелил, потом жиром залил, потом опять сеном **застелил**. 26. Потом, ненцев в дом впустив, сколько еды, что у него было, (= сколько было у него еды), все на огонь (вариться) **поставил**. 27. Потом старик **стал кормить, стали есть** ненцы. 28. Потом сам в доме остался, двух снох к переднему окну **отправил**, двух снох в наружные сени, двух снох вверх к дымовому отверстию чувала **отправил**. 29. Достаточно **покушали**, достаточно **посидели** ненцы’ [ОчСЯ 1993: 30, текст 20].

В дейктическом же регистре репортатив выражается только латентивным показателем (что и отражено в грамматиках), однако это является очевидной инновацией. Вероятно, переход репортативных функций от инферентивного к латентивному показателю совершался в два этапа:

- 0) первоначально в селькупском, как и в северносамодийских, репортативное значение выражалось формой инферентива¹⁸ (в селькупском это форма с показателем *-mp(y)*);
- 1) инферентивная форма с показателем *-mp(y)*, выражавшая репортативное значение, стала дополнительно маркироваться показателем латентива *-nt(y)*. В итоге образовалась форма репортатива с составным показателем *-mmynt(y)*. Составной характер этого показателя, помимо всего прочего, указывает на то, что латентивный показатель — поскольку он прибавляется к уже существующей в языке грамматической форме — является более молодым элементом грамматической системы, чем показатель инферентива¹⁹;

¹⁸ Очевидно, что форма, восходящая к перфективному причастию, переходя в эвиденциальную сферу, должна была сначала приобрести инферентивные употребления как семантически смежные с идеей собственно результативности, выражаемой причастной формой. Развитие репортативных употреблений должно было стать следующим шагом на пути грамматикализации.

¹⁹ Рассматриваемый показатель фольклорного репортатива *-mmynt(y)* следует отличать от показателя с другой функцией, и, вероятно, только омонимичного фольклорному репортативу, но образовавшегося несколько иначе: первый элемент его представляет собой, вероятно, показатель дуратива. Этот показатель употребляется в нарративе в контекстах типа:

- (ii) *Na c̄ury-mmy-nty-Ø, na c̄ury-mmy-nty-Ø,*
и плакать-DUR-LATENT-S3 и плакать-DUR-LATENT-S3
n̄ny m̄ta-n ̄q-qyt qontal-elc-a-Ø
потом дверь-GEN рот-LOC уснуть-INTENS-AOR-S3

‘Плакал, плакал <ребенок>, потом в дверях уснул’ [ОчСЯ 1993: 10, текст 2: 27].

- 2) В дальнейшем этот составной показатель репортатива сохранился только в текстах архаичных жанров, а в дейктическом регистре был заменен показателем латентива *-nt(y)*.

Таким образом, латентивный показатель (пройдя стадию дублирующего маркера) стал выражать также репортативное значение. Важно, что этот этап семантической эволюции латентивного показателя также обусловлен именно тем, что система втягивает новый показатель в уже существующие семантические ниши.

5.2. Латентив в значении миратива

Как показывают примеры (9) и (10), латентив употребляется в миративном значении вне зависимости от темпоральной референции ситуации. При этом в текстах изредка встречаются примеры, когда при сочетании инферентивного и миративного значений употребляется уже упоминавшийся составной показатель *-mmyn̄ty*. Однако в этом случае (в отличие от рассмотренных выше репортативных контекстов) его значение складывается из значения инферентива и значения миратива:

- (19) *Ima ci-m-ty mušyru-mp-a-ty. Ci-m-ty ompā₁ nōty₂ konnä wəc-centy-ty.*
 женщина котел-ACC-3 сварить-DUR-AOR-O3 котел-ACC-3 скоро_{1,2} с.огня снять-FUT-O3
Pō-qyt qum-yt tū-nt5-tyt. Qum-yt pō-qyny mōt-ty šērāly-nt5-tyt.
 снаружи-LOC человек-PL прийти-LATENT-S3PL человек-PL снаружи-EL чум-ILL войти-LATENT-S3PL
t5l' pelāl'₂ kopto-nty illā omtāly-nt5-tyt. Naššak šmt-5-tyt, pisiry-mp-5-tyt,
 дальний_{1,2} место-ILL вниз сестра-LATENT-S3PL столько сидеть-AOR-S3PL смеяться-DUR-AOR-S3PL
koñāly-mp-5-tyt: "Nū-t īja nīl'cyl' ima tatty-mmyn̄ty-ty —
 говорить-DUR-AOR-S3PL бог-GEN ребенок такой женщина привести-INFER-LATENT-O3
qyp ken'y-l' kala-t ol-yp ašša üt-tenty-ty"
 человек суп-ADJ ковш-GEN голова-ACC NEG выпить-FUT-O3

‘Женщина котел варит. Вот-вот уже котел с огня снимет. На улице люди пришли. Люди с улицы в чум позаходили, на дальнее место поусаживались. Столько сидят, посмеиваются, поговаривают: «Божий сын такую жену привел — человек головку супового ковшика не выпьет»’ [ОчСЯ 1993: 8, текст 1: 18—23].

Более широкий контекст примера (19): люди знакомятся с женой божьего сына; это и есть женщина, готовящая еду. Из-за того, что она не собирается их угощать, они делают вывод о том, что Божий сын привел плохую жену. В этой фразе используется форма *tattymyn̄ty* ‘привел’, в которой показатель *-mmyn̄ty* выражает значение инферентива (показатель инферентива *-m̄ty* < *-m̄ru*, употребление инферентивного показателя обусловлено тем, что говорящие не наблюдали приезд женщины) и значение миратива (при помощи латентивной морфемы *-nt(y)*). Такие примеры, как (19), позволяют предполагать, что в селькупском инферентивная форма исходно выражала миративное значение (как минимум с референцией к прошлому). Если это предположение верно, то схема замещения инферентивного показателя латентивным в миративном значении аналогична схеме замещения этих показателей в репортативном значении: произошло замещение старого миративного показателя новым (представленным в (9) и (10)) через стадию дублирующего маркирования.

Итак, было показано, что несколько этапов семантического развития латентивного показателя (а именно занятие им семантических ниш аудитива, репортатива и миратива) представляют собой проявления грамматического дрейфа. Эти этапы семантического развития обусловлены не внутренней логикой семантического развития латентивного показателя, а влиянием системы, которая привлекает новые показатели для обслуживания уже сформировавшихся семантических ниш.

Несколько рассмотренных примеров касались исключительно изменения маркирования внутри семантической зоны эвиденциальности. Однако в тазовском селькупском представлен любопытный пример замещения латентивным показателем совсем иного грамматического механизма.

6. Промежуточный топик и вторичный топик в нарративе

Присущее латентиву значение новой, «неассимилированной» информации было транслировано в нарративную сферу, где у латентива сформировались особые функции — он утрачивает свое прямое эвиденциальное значение и становится дискурсивным маркером **введения топика**.

Во всяком нарративе выделяется топик — некоторый известный объект действительности, о котором идет речь в определенном фрагменте повествования. Обычно в фольклорном нарративе можно выделить основной топик, соответствующий протагонисту, о котором идет речь на протяжении всего повествования. Кроме этого, в процессе повествования могут появляться новые второстепенные персонажи, участвующие только в некотором фрагменте повествования. Латентив употребляется при первом упоминании такого объекта действительности, который в дальнейшем станет промежуточным топиком некоторого фрагмента повествования:

- (20) *Lōs-ira picy-m-ty mišal-ny-ty, pacyn-ny-ty saju-l' oly-l' tūmy-m-ty.*
 черт-старик топор-ACC-3 взять-AOR-O3 рубить-AOR-S3 глаз-ADJ голова-ADJ лиственница-ACC-3
Tū-nty-Ø n'oma: "P'cā, šjnty pelty-lä-k!" *Lōs-ira mi-ny-ty*
 прийти-LATENT-S3 заяц дед PRONACC.2 помочь-OPT-S1 черт-старик дать-AOR-O1
picy-m-ty n'oma-nyj <...> N'oma picy-m-ty mišal-ny-ty,
 топор-ACC-3 заяц-DAT заяц топор-ACC-3 взять-AOR-O3
mācā-qyn-ty sarrē-ny-ty, nūny pakt-a-Ø. <...> Loqa tū-nty-Ø
 хвост-LOC.POSS-3 привязать-AOR-O3 потом убежать-AOR-S3 Лиса прийти-LATENT-S3
 'Черт-старик топор взял, рубит лиственницу с глазами (и) с головой. **Пришел** заяц: «Дед, давай тебе помогу!» Черт-старик дал топор зайцу. <...> Заяц топор взял, к своему хвосту привязал, оттуда убежал. <...> Лиса **пришла**' [ОчСЯ 1993: 19, текст 6: 115, 116, 125, 131].

Еще более интересный сюжет, который самым непосредственным образом относится к теме данной статьи, связан с понятием вторичного топика (secondary topic). Это понятие, используемое в работах И. Николаевой [Nikolaeva 1999b; 2001], позволяет описать мотивировку выбора глагольного спряжения в тех уральских языках, где переходные глаголы различают так называемое субъектное и объектное спряжение. Правила выбора спряжения в интересующей нас части вкратце таковы: прямой объект, релевантный на протяжении некоторого фрагмента повествования, назовем вторичным топиком. При первом упоминании (т. е. при введении в повествование) вторичного топика используется субъектное спряжение, при дальнейших его упоминаниях — объектное²⁰.

Такое прагматически мотивированное употребление показателей субъектного и объектного спряжений представлено во всех северносамодийских языках. Вероятно, оно существовало и в селькупском. Во всяком случае в селькупском и сейчас представлено два типа спряжения, однако их употребление жестко связано с переходностью/непереходностью: переходные глаголы оформляются только показателями объектного спряжения (за исключением случаев с объектом первого лица), непереходные глаголы — только показателями субъектного спряжения.

Однако в тазовском селькупском возник грамматический механизм, компенсирующий утрату прагматического противопоставления субъектного и объектного спряжения при переходных глаголах. А именно: при введении (первом упоминании) объекта, который далее в тексте выполняет функцию вторичного топика, переходный глагол маркируется латентивом. Необходимо отметить две вещи: во-первых, этот механизм более четко прослеживается по текстам 1920-х, нежели по текстам 1970-х гг., где он уже в значительной мере расшатан. Во-вторых, существование этого механизма можно видеть в северном, тазовском

²⁰ Заметим, что это не коррелирует с определенностью/неопределенностью объекта: например, «будущий» топик уже при первом упоминании может оказаться определенным объектом ('взял свой лук').

диалекте; в южной группе селькупских диалектов он совершенно отсутствует. Возможно, это объясняется не только тем, что тазовский селькупский находится «на отшибе», в зоне своеобразной консервации, но и свидетельствует о некотором восстановлении «самодийского грамматического прототипа» в тазовском селькупском. Дело в том, что в результате миграции тазовские селькупы оказались существенно ближе к ареалу северносамодийских языков, чем были за 300 лет до того. И, возможно, ареальное влияние северносамодийских позволило тазовскому селькупскому вторично развить некоторые грамматические механизмы для передачи грамматических противопоставлений, существующих в северносамодийских языках.

Итак, если сопоставить механизм чередования типов спряжения, утраченный в селькупском, с механизмом чередования латентива и индикатива, взявшим на себя функцию маркирования вторичного топика при переходных глаголах, получается следующая картина (см. таблицу 6).

Таблица 6

Различные грамматические механизмы маркирования вторичного топика

	Чередование субъектного и объектного типов спряжения при переходном глаголе в северносамодийских языках	Чередование латентива и индикатива при переходном глаголе в тазовском диалекте селькупского языка
Первое упоминание «будущего» вторичного топика	<i>субъектный тип спряжения</i>	<i>латентив</i>
Последующие упоминания вторичного топика	<i>объектный тип спряжения</i>	<i>индикатив</i>

Очевидно, что два рассмотренных механизма функционируют совершенно по-разному; в частности, в них противоположным образом распределены маркированная и нейтральная форма. При чередовании типов спряжения введение будущего топика никак не маркируется и при первом упоминании объекта нельзя сказать, будет ли он иметь функцию вторичного топика. Употребление объектного спряжения в последующем фрагменте текста по сути близко к механизму поддержания референции: пока употребляется объектное спряжение, очевидно, что речь идет об одном и том же объекте. Напротив, при чередовании латентива и индикатива маркируется введение будущего вторичного топика, но в дальнейшем тексте в глагольных формах не используются никакие дополнительные грамматические механизмы для поддержания референции к вторичному топика. Таким образом, в первом механизме основная нагрузка ложится на формы объектного спряжения, отмечающего последующие вхождения вторичного топика, а во втором — на форму латентива, отмечающую первое вхождение будущего вторичного топика. Очевидно, что каждая из этих стратегий по-своему эффективна: первая облегчает ориентацию в дальнейшем повествовании, тогда как вторая раньше сигнализирует о том, что некоторый объект действительности будет релевантен в данном повествовании.

Приведу фрагмент текста, в котором дважды вводится вторичный топик (существительное, обозначающее будущий вторичный топик в первом вхождении, выделено подчеркиванием; оформленный показатель латентива глагол, при котором это существительное является объектом, выделен полужирным шрифтом):

- (21) *Сiтъ karræ бiтiтъ, karræ ponнътъ lōZыт næ|æqъp. Nānъ muşâqъ. Ukkъr çonDōqыt iça tîpъ mēqы|Dытъ; çîmDъ konнæ wэçиtъ, tunDыt çarъ matelнътъ. LōZъ næ|æqыt wэçil laka| тър tîponDъ tokkalDālnътъ, lōZъ-irat wātonDъ çoqъrнътъ. OnDъ тоqъnæ туja, lōZъ-irat pētъm **inDытъ**, oльmDъ tō matъtътъ. LōZъ-irat pētъt kýtъt şyñnonDъ şîmъsæ Zonнътъ. <...> TûmonDъ sьqыlnъ, tûm pârъqыt âmDa. <...> Iça illæ|âqъ pañъñna, lōZъ-irat şîmъ| mъsæ çari qamDeiñъtъ.*
 ‘Котел свой на огонь повесил, в котел сложил чертовых дочек. Долго варились. Между тем Ича шпенъков **понаделал**; котел свой с огня снял, на куски разрезал <чертовых дочек>.’

Чертовых дочек куски на шпеньки понадевал, на дороге черта-старика <т. е. на пути, по которому он будет возвращаться> воткнул. Сам обратно пришел, черта-старика пимы **взял**, головки их отрезал. В голенища пимов черта-старика золы начерпал. <...> На лиственницу залез, лиственницы на вершине сидит. <...> Ича вниз маленько спустился, черта-старика золой в рожу обсыпал’.

Первый вторичный топик в этом фрагменте текста — *tīpʹ* ‘шпеньки’. Как можно видеть из приведенного фрагмента, они фигурируют в дальнейшем повествовании: Ича надел на них куски мяса и воткнул их вдоль дороги, по которой должен вернуться черт-старик. Этот сюжетный ход развивается и дальше — черт-старик, возвращаясь, съел это мясо, но для краткости я не привожу этот фрагмент текста. Во второй раз в качестве будущего вторичного топика вводится существительное *rētʹ* ‘пимы’. (В данном случае, кстати, хорошо видно, что будущий вторичный топик может быть референциально определенным уже при первом вхождении.) В следующих предложениях рассказывается, что именно сделал Ича с пимами: отрезал их нижнюю часть и насыпал в голенища золы. Далее этот топик «всплывает» в самом конце истории, после значительного фрагмента текста, где описываются совершенно другие события. Именно этим пимам с золой суждено сыграть ключевую роль: Ича, спускаясь с лиственницы, запылил золой глаза и рот черту-старика, благодаря чему смог легко с ним справиться, спустившись вниз.

7. Латентив в вопросах и ответах

В [ОчСЯ 1980] обращается внимание на еще одно употребление латентива: он употребляется в вопросах и ответах на вопросы. Как ни удивительно, но и в этом случае можно указать «старую» глагольную форму, «создавшую прецедент» выделения этих грамматических контекстов. Речь идет о форме так называемого прошедшего времени. В ненецком и лесном энецком уральское *s*-овое прошедшее время превратилось в маркер интеррогатива прошедшего времени. В аффирмативной парадигме употребляется новая форма прошедшего времени с постфиксальным показателем; один из устойчивых контекстов употребления этой формы — ответы на вопросы (см. [Урманчиева, в печати, б]). Таким образом, в этих языках парадигма прошедшего времени оказывается супплетивной, разделяясь по линии утвердительных и вопросительных предложений. В селькупском *s*-овое прошедшее сохранилось и в утвердительных, и в вопросительных предложениях; судя по примерам из текстов, оно также имеет тенденцию употребляться в вопросах и ответах. Ср. диалоги (22) и (23), в которых в вопросе и ответе употребляется форма прошедшего времени²¹:

(22) — *Apa-nty-lʹ my-t kuššat qas-sʹ-tytʹ?*
отец-2-ADJ COLL-PL когда уйти-ПРАЕТ-S3PL

— *Apa-lʹ my-t talʹcēly qas-sʹ-tytʹ*
отец-ADJ COLL-PL вчера уйти-ПРАЕТ-S3PL

‘— Твои родители когда уехали?’

— Родители вчера уехали’ [ОчСЯ 1996: 13—14, текст 4: 7—17].

(23) *Nätä-t əsy qaryt tü-lä nīk kəty-ny-ty: «Kuty tü-r-sy-Ø?»*
девушка-GEN отец утром прийти-CVB так сказать-AOR-O3 Кто прийти-ITER-ПРАЕТ-S3

Nälʹa-ty kəty-ny-ty: «Tälʹcēly tü-sy-Ø ukkyr qup»
Девушка-3 сказать-AOR-O3 Вчера прийти-ПРАЕТ-S3 один человек

‘Отец девушки утром, приехав, так сказал: «Кто приезжал?» Девушка сказала: «Вчера приезжал один человек»’ [ОчСЯ 1996: 14, текст 4: 26—27].

²¹ Это не единственная функция *s*-ового прошедшего времени в селькупском; так, в примере (13) выше оно используется для описания второстепенных ситуаций, сообщение о которых является только пояснением, но не собственно коммуникативной целью реплики — такое употребление прошедшего времени характерно и для других самодийских языков, о чем см. [Урманчиева, в печати, б].

Диалоги в следующих двух примерах демонстрируют употребление латентива в вопросах и ответах:

- (24) *Konnä tant-a-Ø, nił' kätu-ny-ty: «Kuty šip qāqyly-mmy-nty-Ø*
на.сушу выйти-AOR-S3 так сказать-AOR-O3 кто PRONACC.1 передразнить-DUR-LATENT-S3

Lōsy-t tüty-l' palcal laka nił' kätu-ny-ty:
черт-GEN дерьмо-ADJ навозная.лепешка кусок так сказать-AOR-S3

«*Mat šjnty qāqyly-mmy-nta-k.*»
я PRONACC.2 передразнить-DUR-LATENT-S1

‘На берег вышел, так сказал: «Кто меня передразнивает?» Чертова навозная лепешка так сказала: «Я тебя передразниваю»’ [ОчСЯ 1993: 17, текст 6, 16—17].

- (25) — *Куччэ ѓэн-тѳ-лын?*
Куда идти-LATENT-S2PL

— *Ме имал-лә ѓэн-тѳ-мын сельчи паныш ира-ны*
Мы свататься-CVB идти-LATENT-S1PL семь коса старик-DAT.ALL

‘— Куда идете?’

— Мы идем свататься к старику с семьей косами’ [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 15].

В отличие от рассмотренных выше случаев, когда латентив замещал старые грамматические формы, в данном случае латентив не вытесняет прошедшее время из латентивных контекстов. На новую грамматическую форму распространяется уже существующий в языке прагматический механизм, что позволяет распространить маркирование вопросов и ответов на контексты, семантически недоступные для формы прошедшего времени (например, на контексты настоящего времени, как в (24) и (25), хотя, как показывают примеры (26) и (27), латентив может употребляться в вопросах и с референцией к прошлому). Два примера ниже демонстрируют, что латентив и прошедшее время могут употребляться в рамках одного и того же вопросительного высказывания; факторы, регулирующие выбор формы, требуют специального исследования:

- (26) *Šmtyl' qōn₂ mōt šēr-na-Ø, mōt-an šq-qyt nylle-ja-Ø.*
царь_{1,2}.GEN чум войти-AOR-S3 чум-GEN дверь-LOC встать-AOR-S3

šmtyl' qoŋ nurkumōn-na-Ø: «Qaj lōsy tü-nta-Ø? Il'sa, qā tü-sa-nty?»
царь_{1,2} испугаться-AOR-S3 что черт прийти-LATENT-S3 старик зачем прийти-PRAE-T-S2

‘В дом царя вошел, в дверях встал. Царь испугался: «Что за черт пришел? Дед, зачем пришел?»’ [ОчСЯ 1993: 23, текст 9, 12—14].

- (27) *Има-ты нильчик кэты-ңы-т: «Ира ай қаі-ль но-п қо-льчі-нта-л*
женщина-3 так сказать-AOR-O3 старик опять что-ADJ бог-ACC найти-INTENS-LATENT-O2

тан ацца тымтә қора-м-тә оннә-нты аммын-қонтоқы
ты NEG здесь моксун-ACC-2SG сам-2 съест-VAINF.2

мотта-м-ты мѳт-ты сәппе-и-са-л?»
дверь-ACC-2 чум-ILL привязать-INTENS-PRAE-T-O2

‘Жена его так сказала: «Старик, какого бога нашел ты (= о каком боге ты говоришь), не ты ли, для того, чтобы самому съест моксуна, здесь раньше дверь к чуму привязал?»’ [Прокофьев рук., фонд 6, опись 1, ед. хр. 18].

Таким образом, использование латентива в вопросах и ответах является примером распространения существующего в языке грамматического механизма на новую грамматическую форму (причем в данном случае речь идет не о замещении формы прошедшего времени формой латентива, а только о распространении выработавшегося в языке прагматического механизма на новую грамматическую форму).

Заключение

Итак, история экспансии латентивного показателя в селькупском является ярким примером того, насколько значительным может быть влияние грамматической системы на семантическую эволюцию показателя. Этот новый эвиденциальный показатель (о его

относительной «грамматической» молодости по сравнению с инферентивным показателем говорит, в частности, тот факт, что он мог оформлять уже существующие в языке формы с инферентивным показателем) только на самых ранних этапах развивался более или менее предсказуемо, в соответствии с внутренней логикой семантических преобразований. Но основную часть употреблений этот показатель приобрел за счет того, что он занимал уже существующие в глагольной системе семантические ниши. Влияние грамматической системы на семантическую эволюцию показателя, как мы видели, может проявляться несколько различным образом:

- 1) система может втягивать показатель в уже существующие семантические ниши, замещая им старые грамматические показатели (приобретение латентивным показателем значений сенсорного, эндофорического, репортативного доступа);
- 2) система может использовать семантический потенциал нового показателя для восстановления утрачиваемых прагматических механизмов (функция маркирования вторичного топика переходит от чередования типов спряжения к чередованию индикатива и латентива);
- 3) на новую грамматическую форму распространяется существующий в системе грамматический механизм (маркирование вопросов и ответов).

Кажется, до сих пор такое влияние грамматической системы языка на процесс семантической эволюции показателя оказывалось недооцененным. Исходя из этого, необходимо уточнить предлагавшееся ранее понятие «грамматического дрейфа», или семантической эволюции показателя, интегрированного в грамматическую систему. Напомню, что раньше предлагалась следующая модель этого процесса: «новый» грамматический показатель, входя в грамматическую систему со своим, новым для нее значением, запускает процесс реструктуризации системы, в ходе которого старые показатели под давлением нового начинают менять свои значения, будучи потесненными в части своих употреблений. Таким образом, в этой модели взаимодействия «новичка» с существующей грамматической системой «старые» показатели могут менять свое значение не столько следуя внутренней логике семантического развития, сколько под давлением «новых» грамматических показателей, «освобождающих» в ряду грамматических оппозиций место для выражаемого ими значения. Однако эту модель взаимодействия нового показателя с грамматической системой следует дополнить еще одним компонентом: «новый» показатель может испытывать притяжение со стороны уже существующих в системе семантических ниш.

Итак, грамматический дрейф в действительности представлен не одним, а двумя механизмами: в результате действия первого из них (система деформируется для того, чтобы адаптировать новое грамматическое значение) происходит реструктуризация грамматической системы, в результате действия второго (система «втягивает» прагматически более привлекательные показатели в уже существующие семантические ниши) происходит прагматическое обновление системы. Случаи второго рода при этом представляют не менее важный класс. Возможно, они даже более частотны: грамматические системы реже подвергаются кардинальной перестройке, чем обновлению. Новые показатели не так часто привносят в грамматическую систему абсолютно новое значение; их семантическая эволюция нередко может быть обусловлена необходимостью поддержать сформировавшиеся в грамматике семантические оппозиции.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- 1, 2, 3 — 1-е, 2-е, 3-е лицо
 ACC — аккузатив
 ADJ — суффикс образования прилагательных
 AOR — аорист
 AUD, Aud — аудитив

COLL	— собирательность
COMP	— компаратив ('подобный чему-либо')
CONN	— коннегатив
CVB	— деепричастие
DAT	— датив
DATALL	— датив-аллатив
DIM	— диминутив
DU	— двойственное число
DUR	— дуратив
EL	— элатив
EMPH	— показатель со значением эмфазы
EXCL	— междометие
FUT	— будущее время
GEN	— генитив
ILL	— иллатив
IMV	— императив
INDEF	— неопределенность
INFER	— инферентив
INSTR	— инструменталис
INTENS	— интенсивно-перфектная совершаемость
IPFV	— имперфективное причастие
ITER	— итератив
LAT	— латив
LATENT	— латентив
LIM	— лимитатив ('только')
LOC	— локатив
LOC.POSS	— показатель локативных падежей в посессивном склонении
NEG	— отрицание (частица в селькупском, отрицательный глагол в ненецком)
NMLZ	— номинализация
O	— объектное спряжение
OPT	— оптатив
PFV	— перфективное причастие
PL	— множественное число
PN	— имя собственное
PR	— предикативные формы имени
PRAET	— прошедшее время
PRES	— презумптив
PROB	— пробабилитив
PROL	— пролатив
PRON.ACC	— аккузатив личных местоимений
PROSP	— проспектив
PTPRAES	— причастие настоящего времени
R	— рефлексивное спряжение
S	— субъектное спряжение
TRANSL	— транслатив
VACOND	— условное деепричастие
VAINF	— инфинитивное деепричастие

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Буркова 2010 — Буркова С. И. Краткий очерк грамматики тундрового диалекта ненецкого языка // Буркова С. И., Кошкарева Н. Б., Лаптандер Р. И., Янгасова Н. М. Диалектологический словарь ненецкого языка. Екатеринбург: Баско, 2010. С. 180—349. [Burkova S. I. An outline of grammar of the Tundra dialect of Nenets. *Dialektologicheskii slovar' nenetskogoazyka*. Burkova S. I., Koshkareva N. B., Laptander R. I., Yangasova N. M. (comp.) Ekaterinburg: Basko, 2010. Pp. 180—349.]
- Гусев 2006 — Гусев В. Ю. О сохранении архаичных форм в неассертивных контекстах: материал самодийских языков // Проблемы типологии и общей лингвистики: международная конференция,

- посвященная 100-летию со дня рождения проф. А. А. Холодовича. Материалы. Санкт-Петербург, 4—6 сентября 2006 г. СПб.: Нестор — История, 2006. С. 41—45. [Gusev V. Yu. Concerning the retention of archaic forms in non-assertive contexts: material of Samoyedic languages. *Problemy tipologii i obshchei lingvistiki: mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyashchennaya 100-letiyu so dnya rozhdeniya prof. A. A. Kholodovicha. Materialy*. St. Petersburg, September 4—6, 2006. St. Petersburg: Nestor — Istoriya, 2006. Pp. 41—45.]
- Гусев 2007 — Гусев В. Ю. Эвиденциальность в нганасанском языке // Храковский В. С. (ред.). Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сборник статей памяти Натальи Андреевны Козинцевой. СПб.: Наука, 2007. С. 415—444. [Gusev V. Yu. Evidentiality in Nganasan. *Evidentsial'nost' v yazykakh Evropy i Azii. Sbornik statei pamyati Natalii Andreevny Kozintsevoi*. Xrakovskij V. S. (ed.). St. Petersburg: Nauka, 2007. Pp. 415—444.]
- Гусев 2013 — Гусев В. Ю. Селькупско-нганасанские параллели в области глагольной морфологии // Кибрик А. Е. (ред.). Лингвистический беспредел-2. Сборник научных трудов к юбилею А. И. Кузнецовой. М.: Изд-во Московского ун-та, 2013. С. 69—75. [Gusev V. Yu. Selkup-Nganasan parallels in the area of verb morphology. *Lingvisticheskii bespredel-2. Sbornik nauchnykh trudov k yubileyu A. I. Kuznetsovoi*. Kibrik A. E. (ed.). Moscow: Moscow State Univ. Publ., 2013. Pp. 69—75.]
- Лабанаускас 2001 — Лабанаускас К. И. (сост.). Ямидхы" лаханаку" — Сказы седой старины. Ненецкая фольклорная хрестоматия. М.: Русская литература, 2001. [Labanauskas K. I. (comp.). *Yamidkhy" lakhanaku" — Skazy sedoi stariny. Nenetskaya fol'klornaya khrestomatiya* [Tales of hoary antiquity. Nenets folklore reader]. Moscow: Russkaya Literatura, 2001.]
- ОчСЯ 1980 — Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку. М.: Изд-во Московского ун-та, 1980. [Kuznetsova A. I., Khelinskii E. A., Grushkina E. V. *Ocherki po sel'kupskomu yazyku* [Studies of the Selkup language]. Moscow: Moscow State Univ. Publ., 1980.]
- ОчСЯ 1993 — Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А. Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. 2. М.: Изд-во Московского ун-та, 1993. [Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Ioffe L. Yu., Khelinskii E. A. *Ocherki po sel'kupskomu yazyku. Tazovskii dialekt*. [Studies of the Selkup language. The Tas dialect]. Vol. 2. Moscow: Moscow State Univ. Publ., 1993.]
- Плунгян 2011 — Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. [Plungian V. A. *Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: Grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira* [Introduction to grammatical semantics: grammatical meanings and grammatical systems of the world's languages]. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 2011.]
- Прокофьев 1935 — Прокофьев Г. Н. Селькупская (остяко-самоедская) грамматика. Л.: Издательство института народов Севера ЦИК СССР, 1935. [Prokof'ev G. N. *Sel'kupskaya (ostyako-samoedskaya) grammatika* [Selkup (Ostyak Samoyed) grammar]. Leningrad: The Institute of the Peoples of the North, Central Executive Committee of the USSR, 1935.]
- Прокофьев рук. — подготавливаемые к печати О. А. Казакевич тексты, записанные Г. Н. Прокофьевым, которые хранятся в Архиве МАЭ. [texts recorded by G. N. Prokof'ev stored in the archival depository of the Museum of Anthropology and Ethnography, edited by O. A. Kazakevich.]
- Терещенко 1990 — Терещенко Н. М. Ненецкий эпос. Материалы и исследования по самодийским языкам. Л.: Наука, 1990. [Tereshchenko N. M. *Nenetskii epos. Materialy i issledovaniya po samodiiskim yazykam* [The Nenets epic. Materials and studies in Samoyedic languages]. Leningrad: Nauka, 1990.]
- Урманчиева 2008 — Урманчиева А. Ю. «Сад расходящихся тропок»: дискурсивные и пропозициональные значения на семантической карте // Гусев В. Ю., Плунгян В. А., Урманчиева А. Ю. (ред.). Исследования по теории грамматики. Вып. 4: Грамматические категории в дискурсе. М.: Гнозис, 2008. С. 87—130. [Urmanchieva A. Ju. «The garden of divergent paths»: discursive and propositional meanings on the semantic map. *Issledovaniya po teorii grammatiki*. No. 4: *Grammaticheskie kategorii v diskurse*. Gusev V. Yu., Plungian V. A., Urmanchieva A. Ju. (eds). Moscow: Gnozis, 2008. Pp. 87—130.]
- Урманчиева 2013 — Урманчиева А. Ю. Образование форм аориста в самодийских языках // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. Т. IX. Ч. 2. СПб.: Наука, 2013. С. 734—767. [Urmanchieva A. Ju. Aorist formation in Samoyedic languages. *Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy*. Vol. IX. Part 2. St. Petersburg: Nauka, 2013. Pp. 734—767.]
- Урманчиева 2014 — Урманчиева А. Ю. Эвиденциальные показатели селькупского языка: соотношение семантики и прагматики в описании глагольных граммем // Вопросы языкознания. 2014. № 4. С. 66—86. [Urmanchieva A. Ju. Evidential markers in Selkup: Semantic and pragmatic factors in the description of verbal categories]. *Voprosy Jazykoznanija*. 2014. No. 4. Pp. 66—86.]

- Урманчиева 2015 — Урманчиева А. Ю. От имперфективности к эвиденциальности (на материале тазовского диалекта селькупского языка) // Воейкова М. Д., Сосоновцева Е. Г. (ред.). Категории имени и глагола в системе функциональной грамматики. *Acta Linguistica Petropolitana*. Т. XI. Ч. 1. СПб.: Наука. 2015. С. 195—216. [Urmanchieva A. Ju. From imperfectivity to evidentiality (a case study of the Tas dialect of Selkup). *Kategorii imeni i glagola v sisteme funkcional'noi grammatiki*. Voeikova M. D., Sosonovtseva E. G. (eds). *Acta Linguistica Petropolitana*. Vol. XI. Part 1. St. Petersburg: Nauka. 2015. Pp. 195—216.]
- Урманчиева, в печати, а — Урманчиева А. Ю. Дискурсивные употребления инферентива и репортатива в самодийских языках // Проблемы функциональной грамматики. Предикативные категории в высказывании и в тексте (в печати). [Urmanchieva A. Ju. Discursive usage of inferentive and reportative in Samoyedic languages. *Problemy funkcional'noi grammatiki. Predikativnye kategorii v vyskazyvanii i v tekste* (in print).]
- Урманчиева, в печати, б — Урманчиева А. Ю. «Антиподы» перфекта в самодийских языках: ненецкое прошедшее время // Майсак Т. А., Плунгян В. А., Семенова К. П. Исследования по теории грамматики. Вып. 7: Типология перфекта. *Acta Linguistica Petropolitana*. Т. XII. Ч. 1. СПб.: Наука, в печати. [Urmanchieva A. Ju. Antipodes of the perfect tense in Samoyedic languages: the Nenets past tense. Maisak T. A., Plungian V. A., Semenova K. P. *Issledovaniya po teorii grammatiki*. No. 7: *Tipologiya perfekta*. *Acta Linguistica Petropolitana*. Vol. XII. Part 1. St. Petersburg: Nauka, in print.]
- ЭПН — Куприянова З. Н. (сост.). Эпические песни ненцев. М.: Наука, 1965. [Kupriyanova Z. N. (comp.). *Epicheskie pesni nentsev* [Epic songs of the Nenets people]. Moscow: Nauka, 1965.]
- Aikhenvald 2004 — Aikhenvald A. Y. *Evidentiality*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2004.
- Bybee et al. 1994 — Bybee J., Perkins R., Pagliuca W. *Evolution of grammar*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1994.
- DeLancey 2012 — DeLancey S. Still mirative after all these years. *Linguistic Typology*. 2012. Vol. 16. Pp. 529—564.
- Erdélyi 1969 — Erdélyi I. *Selkupisches Wörterverzeichnis*. (Tas-Dialekt). Budapest: Akadémiai kiadó, 1969.
- Nikolaeva 1999a — Nikolaeva I. The semantics of Northern Khanty evidentials. *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. 1999. No. 88. Pp. 131—159.
- Nikolaeva 1999b — Nikolaeva I. Object agreement, grammatical relations, and information structure. *Studies in Language*. 1999. No. 2. Pp. 341—386.
- Nikolaeva 2001 — Nikolaeva I. Secondary topic as a relation in information structure. *Linguistics*. 2001. No. 39. Pp. 1—49.

Статья поступила в редакцию 07.04.2015.

ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ*

© 2015 г. Вадим Викторович Дементьев

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, 410012, Россия
dementevvv@yandex.ru

Развивается идея, что для представления речевой картины современности может быть эффективно использована теория речевых жанров, благодаря таким потенциям данной теории, заложенным Бахтиным, как связь речевых жанров и языка, принципиальная диалогичность «темы», «стиля» и «композиции» речевого жанра, противопоставление первичных и вторичных речевых жанров, способность некоторых речевых жанров к творческому варьированию. В центре внимания оказывается современная (рубеж XX—XXI вв.) речежанровая картина с ее тенденциями к глобализации и интернетизации, хотя предлагаемая методика исследования имеет, по замыслу автора, более универсальный характер. Рассматриваются лексический и этимологический аспекты речевых жанров, составляющих своеобразие данного периода, иллокутивно-целевой параметр, тенденция к заимствованию жанров.

Ключевые слова: теория речевых жанров, современность, заимствование речевых жанров, вторичные речевые жанры, интернет-жанры, этимология

«SPEECH GENRE» THEORY AND ACTUAL PROCESSES IN CONTEMPORARY SPEAKING

Vadim V. Dementyev

Saratov State University, Saratov, 410012, Russia
dementevvv@yandex.ru

The idea is developed that the theory of speech genres can be effectively used for representing the speech picture of modernity. This is made possible due to such potentialities of this theory, advanced by Bakhtin, as the connection between speech genres and language, the dialogic nature of «theme», «style», and «composition» of speech genre, the existence of primary and secondary speech genres, the ability of some speech genres for creative variation. In the article, the current modernity (at the turn of the 21st century) is analyzed, with its trends towards globalization and the Internet, although the proposed model has, according to the author, a more universal potential, thanks to the inclusion of such parameters as etymological and lexical aspects of speech genres, illocutionary target-setting, and the tendency to borrow genres.

Keywords: theory of speech genres, speech picture of modernity, borrowing speech genres, secondary speech genres, internet genres, etymology

* Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию № 2014/203, код проекта 1549.

Введение

Как пересекается представление лингвистической картины современности с проблематикой теории речевых жанров?

Теория речевых жанров (далее — ТРЖ) является одним из наиболее активно развивающихся направлений исследований речи (о развитии и современном состоянии ТРЖ в России и за ее пределами см., например, в монографиях и коллективных монографиях [Swales 1990; Adamzik 1995; Gatunki mowy 2000—2007; Witosz 2005; Антология речевых жанров 2007; Fix 2008; Дементьев 2010; Покровская и др. 2011; Шерстяных 2013], журнале «Жанры речи»¹). Вместе с тем сегодня вряд ли можно с уверенностью говорить о том, что ТРЖ стала полноценной частью лингвистики, — видимо, правильнее говорить об отношениях ТРЖ и лингвистики, и отношения эти не вполне гармоничные. Вопреки радужным надеждам исследователей, которые стояли у истоков ТРЖ в 1990-е гг., на то, что эта максимально приближенная к «живой жизни языка» внешелингвистическая дисциплина наконец-то поможет проникнуть во многие давние «тайники» языка и речи (такие соображения часто высказывались в работах 1990-х гг., в том числе в «Вопросах языкознания», например [Арутюнова 1992; Федосюк 1997; Дементьев 1997; 1999]), реальные результаты оказались скромнее, чем ожидалось, а их лингвистический статус неоднозначен. До сих пор не даны ответы на наиболее принципиальные вопросы (например, какие механизмы позволяют носителю языка идентифицировать речевые жанры в тех случаях, когда ни конкретная языковая форма реплик, ни их последовательность не имеют ничего общего с теми, с которыми он уже сталкивался в своей речевой практике, — часто высказываемая исследователями идея «ключевых» слов, опорных реплик или типических интенций не может быть эффективно применена во многих случаях, поскольку известные заранее «ключевые» конструкции и речевые фигуры могут вообще не встретиться во вполне гладко протекающем речевом общении); методика речезанровых исследований по степени формализации несопоставима с традиционными лингвистическими моделями. В результате сегодня среди лингвистов, особенно традиционных, ориентированных на индуктивные исследования, распространено скептическое отношение к ТРЖ. К сожалению, у них есть для этого некоторые основания. Нельзя сказать, что ТРЖ ничего не может дать для изучения традиционных лингвистических объектов: синтаксиса, лексики, морфологии, фонетики, — может (просто для того чтобы прямо использовать результаты и положения ТРЖ для данных целей, очень многое еще предстоит сделать), и все же пока что базовые положения ТРЖ даны лингвистике как бы «на вырост»: положения, что жанры речи управляют порождением и интерпретацией текста; что есть какие-то конкретные жанры (условные *X*, *Y*, *Z*...), а также их типы, принимаются скорее *дедуктивно*, между ними и настоящим лингвистическим анализом языкового материала зияет лакуна, заполнить которую лингвистическим инструментарием и методикой еще только предстоит. «Происходит сдвиг от излишней формализации к выдвигению нестрогих и непроверяемых положений. Многим современным функциональным исследованиям свойственны стремление сразу дойти до решения всех проблем без прохождения неустраиваемых промежуточных этапов и отсутствия необходимого разграничения понятий», — пишет В. М. Алпатов о современных коммуникативных исследованиях в целом [Алпатов 2014: 9].

Это не значит, конечно, что пытаться заполнять лакуны не надо уже сейчас: надо, пусть настоящие результаты — скорее в будущем.

¹ В 1997—2012 гг. — серийный сборник, с 2013 г. — международный журнал. Онлайн-версию журнала см.: <http://zhanry-rechi.sgu.ru/>, сборника — <http://www.sgu.ru/structure/philological/linghist/sbornik-zhanry-rechi>.

Но, по нашему убеждению, ТРЖ уже в сегодняшнем своем виде может быть весьма полезна лингвистике (очевидно, что дедуктивные модели могут быть полезны не менее, чем индуктивные, надо только разобраться, для каких целей какие модели следует применять). Думается, что сейчас это именно задачи более общего плана, которые в дальнейшем могут служить ориентирами для будущих более конкретных, индуктивных лингвистических исследований.

К таким, несомненно, относится и проблема, которой посвящена настоящая статья, — **представление речевой картины современности**. По нашему мнению, с одной стороны, данная задача является актуальной для современной лингвистики (ср. коллективные монографии [Русский язык 1996] и [Современный русский язык 2008]), с другой — ТРЖ уже располагает достаточно эффективным инструментарием для ее начального решения. В целом активное участие в лингвистическом изучении актуальных процессов современной речи, несомненно, является одной из главных тенденций ТРЖ. Начальный импульс такому изучению был дан еще М. М. Бахтиным, определившим РЖ как «приводные ремни от истории общества к истории языка» [Бахтин 1996: 165].

В современной ТРЖ данный аспект разрабатывается в нескольких группах исследований:

- изучение современности: культуры, коммуникации, общества через призму РЖ («Речевые жанры, выделенные данным языком, являются <...> одним из лучших ключей к культуре данного общества» [Вежбицкая 1997: 111]). К сожалению, специальных работ, в которых данная проблема решалась бы систематически, пока очень мало — можно назвать лишь единичные, хотя и интересные попытки: [Аверинцев 1986; Карасик 2013; Mustajoki 2013];
- изучение самих РЖ через призму современности: собственно говоря, почти каждое исследование, претендуя на адекватность, использует комплексный подход, при этом связывает изучаемый РЖ с более или менее широким культурно-историческим контекстом. Назовем лишь несколько работ, с нашей точки зрения, наиболее показательных: [Hanks 2000; Салимовский 2002; Седов 2006; Lakoff 2006; Покровская и др. 2011].

В этом направлении чаще всего изучаются два аспекта: появление новых РЖ и новые особенности, трансформации некоторых традиционных РЖ.

Первый аспект наиболее очевиден тогда, когда целые сферы коммуникации, в которых формируются соответствующие РЖ, тоже являются новыми — в глобальном масштабе (например, Интернет) или региональном (ср. формирование или возрождение в посткоммунистических России и бывших странах соцлагеря ряда новых и «хорошо забытых старых» сфер и жанров, присущих капиталистическому обществу, таких как *биржевые новости*, большинство *рекламных жанров*, *жанры корпоративной коммуникации*, *интервью топ-менеджеров* [Ратмайр 2013]).

Второй аспект составляют иногда довольно тонкие особенности структуры и функционирования РЖ, видоизменяющихся под действием внешних факторов, — ср., например, исследования «вербальных дуэлей» у афроамериканской городской молодежи, которые проводил еще в 1970-е гг. Р. Абрахамс [Abrahams 1974], исследования по коммуникативной компетенции современной городской российской молодежи, которые осуществляются в Саратове [Сиротинина 2013]. Такие видоизменения традиционных РЖ могут затрагивать в них собственно лингвистические аспекты, например синтаксис, лексическую семантику (ср. новое значение *интервью* ‘собеседование при приеме на работу’ из *job interview*); стилистический аспект (*научный стиль* становится более свободным, по крайней мере, в немалой части гуманитарных наук); иллокутивный аспект (см. ниже о прагматике современного *интернет-флирта*).

Для обсуждаемой проблемы значимы осуществленные в последние годы основательные исследования по РЖ в научном дискурсе [Салимовский 2002; Dönninghaus 2005], публицистическом [Дускаева 2012; Шмелева Т. 2012], религиозном [Бобырева 2007; Wojtak 2011], политическом [Lakoff 2001; Шейгал 2004], педагогическом [Олешков 2012],

медицинском [Пономаренко 2011], судебном [Дубровская 2010; Палашевская 2012], разговорном [Борисова 2001; Tannen 2010], интернет-дискурсе [Herring 2007; Щипицина 2009]. Во всех этих работах много внимания уделяется трансформациям, новым явлениям, хотя далеко не везде для их исследования предлагаются и новые методы.

Логично ожидать, что именно на основе данных работ может быть создана «речежанровая теория актуальных процессов современности». В идеале такая теория должна строиться на материале различных языков / речевых культур и временных срезов, хотя на практике, по понятным причинам, мы сосредоточиваемся в основном на начале XXI в., на материале русскоязычном и англоязычном (отчасти — других языков).

1. Методика

Для решения поставленной задачи, т. е. изучения коммуникативно-речевой современности через призму ТРЖ, как внутри какой-либо одной языковой ситуации (например, российской), так и за ее пределами (региональной, этноязыковой, глобальной: здесь на первый план выходит сравнительный аспект, взаимовлияние культур, заимствование их элементов, включая РЖ), предлагается использовать методику, которая разрабатывалась в конце XX — начале XXI в. в рамках отечественной, отчасти — зарубежной теории речевых жанров для изучения различных аспектов РЖ. То, что все эти исследования развивают положения одной концепции РЖ, восходящей к идеям М. М. Бахтина, позволяет использовать их в качестве отдельных параметров единой модели.

Перечислим положения, разработанные в рамках различных направлений современной ТРЖ (по некоторым из проблем осуществлены специальные исследования, включая монографии, диссертации, специальные выпуски сборника «Жанры речи»²), на которые, с нашей точки зрения, должно опираться речежанровое представление картины современности, даже если в данных исследованиях не ставилась непосредственная цель представить общую картину.

- Набор (система) жанров, существующих в данной культуре в данный период времени, является важнейшей частью своеобразия данной культуры, данного коммуникативного пространства, речи и языка (и их отдельных сфер, таких как повседневное, научное, деловое общение, сфера политики, рекламы и т. п.).
- Данный набор обусловлен общим состоянием культуры и ее составляющих, где важнейшими являются социальные факторы (структура общества, социальные институты, коммуникативные ценности и представления о допустимом и недопустимом, «хорошем» и «плохом» в общественном поведении, официальных и межличностных отношениях), а также, так сказать, социальное преломление всех остальных факторов (таких как экономический, технологический и др.)
- Трансформации РЖ, вызванные появлением новых сфер, условий и средств коммуникации, происходят по законам **речежанровой вторичности**, впервые описанным М. М. Бахтиным [Бахтин 1996: 161—170]. Напомним концепцию Бахтина, изложенную в ставшей классической статье «Проблема речевых жанров», а также в других его работах:

Вторичные (сложные) речевые жанры — романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры и т. п. — возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного общения (преимущественно письменного): художественного, научного, общественно-политического и т. п. В процессе своего формирования они вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, сложившиеся в условиях непосредственного общения. Эти первичные жанры, входящие

² Например, четвертый выпуск сборника (2005) был посвящен проблеме «Жанр и концепт», пятый (2007) — «Жанр и культура», шестой (2009) — «Жанр и язык», седьмой (2011) — «Жанр и языковая личность», восьмой (2012) — «Жанр и творчество».

в состав сложных, трансформируются в них и приобретают особый характер: утрачивают непосредственное отношение к реальной действительности и к реальным чужим высказываниям; например, реплики бытового диалога или письма в романе, сохраняя свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания романа, входят в реальную действительность лишь через роман в его целом, то есть как событие литературно-художественной, а не бытовой жизни. Роман в его целом является высказыванием, как и реплика бытового диалога или частное письмо (он имеет с ними общую природу), но в отличие от них это высказывание вторичное (сложное) [Там же: 161—162].

Бахтин подчеркивает, что деление речевых жанров на первичные и вторичные «существенно» и в то же время «не функционально» [Там же: 161]. «Бихевиористическая» (дескриптивистская) лингвистика, по мнению исследователя, есть крайний случай «ориентации на первичные жанры» [Там же: 162]. Таким образом, вторичные РЖ, с одной стороны, являются новыми жанрами, с другой — сохраняют отношения производности с соответствующими первичными. На этом основании, в частности, строится большинство современных классификаций вторичных РЖ (см. обзор в [Дементьев 2010: 164—184]), например, выделяется **диахроническая речежанровая вторичность**, предполагающая отношения последовательности во времени между первичными и вторичными жанрами (противопоставление речевых и риторических, прямых и косвенных, выучиваемых и невыучиваемых жанров), и **синхроническая** (противопоставление речевых единиц разных уровней абстракции, например: речевой акт, субжанр, жанр, гипержанр). Такой подход позволяет точнее понять целый ряд речежанровых явлений начала XXI в. (например, интернет-жанры, появление которых, казалось бы, никак не мог предвидеть Бахтин [Рогачева 2011; Щурина 2012]).

- Не менее принципиальной для представления речежанровой картины современности является другая типология РЖ, также предложенная Бахтиным, — разграничение стандартизированных жанров типа *приветствия* и *поздравления*, где говорящий очень мало что может привнести от себя, и более свободных жанров [Бахтин 1996: 187]. Именно свободные, не жесткие жанры, способные к творческому использованию, варьированию, следуют за изменениями жизни и коммуникации — жесткие жанры на это неспособны и в изменившихся условиях либо порождают вторичные РЖ, либо утрачиваются, заменяясь на совсем новые, иногда заимствованные (ср. этикетные жанры в дореволюционной России, СССР и постсоветской России). Существуют РЖ, которым, для того чтобы они были успешны, необходим творческий момент: *тост*, *розыгрыш*, *буриме*, новые *имиджборды*, «*тирожки*» и «*порошки*».
- Набор новых РЖ, составляющих своеобразие новых периодов, может пополняться за счет **заимствований** из других культур [Аверинцев 1986; Лотман 1994; Старобинский 2002; Шеффер 2010]. Значимыми являются взаимные отношения между культурами, тенденции к одностороннему или двустороннему влиянию; для настоящего периода, несомненно, одной из наиболее существенных особенностей является глобализация.
- **Прагмалингвистическое** осмысление РЖ из «набора» картины современности предполагает, прежде всего, выявление жанрово типизируемых интенций (в прагматической генрике к важнейшим относят фатику, информатику, воздействие [Борисова 2001; Дементьев 2010; Китайгородская, Розанова 2010]); в этой части ТРЖ сближается с хорошо разработанной методикой и терминологией теории речевых актов [Вежбицкая 1997; Кожина 1999; Dönninghaus 2001]. Важно также учитывать отношения между буквальным значением высказывания (пропозиции) и актуальным коммуникативным смыслом (прямые и косвенные высказывания), например, косвенность является типологической характеристикой группы фатических речевых жанров [Дементьев 1999; 2010: 209—235].
- Одним из наиболее значимых является **социальный фактор**, с которым часто связан фактор **аксиологический**: владение / невладение определенными жанрами, как и само использование того или иного жанра, может выступать в качестве оценочной

характеристики как в национально-культурном, так и более частном внутрикультурном или групповом плане, «есть жанры, существование которых в рамках одного языкового сознания взаимоисключает друг друга» [Седов 2011: 31]. В качестве примера можно привести русский *разговор по душам* (гармоничное общение, принадлежащее неофициальной сфере непосредственной устной спонтанной коммуникации, основная коммуникативная цель которого состоит в установлении или укреплении межличностной близости, моральной поддержке, обмене важной личностной информацией), невладение которым, неспособность «открыть душу» в традиционной русской культуре является отрицательной и в а с т в е н н о й характеристикой (ср. чеховских *обывателей*), или польский *kawał* («Жанр *kawał*, представляющий собой тип “конспиративной шутки”», ценят не за искусство или утонченность, а за чувство корпоративного единения, которое он дает, подразумевается: я могу рассказать это тебе, но есть люди, которым я не могу это рассказать» [Вежбицкая, Годдард 2002: 150]). См. седьмой выпуск сборника «Жанры речи», в котором рассматриваются два основных аспекта проблемы «жанр и языковая личность» — речевой жанр через призму языковой личности и языковая личность через призму речевого жанра [Жанры речи 2011].

- Наконец, для **лингвистического** осмысления и систематизации РЖ особенно важно учитывать лексику, синтаксис (пропозиции), а также отношения этимологического типа, например, существующие между новыми вторичными жанрами и традиционными первичными; между заимствованными из других культур и их аналогами там (это касается и этимологии названий жанров и их компонентов: ср. случаи, когда для именованя новых, вторичных жанров используется то же слово, что для старых, например, русск. *интернет-дневник*, *Живой Журнал*, англ. *web log*, *Live Journal*, *chat* (первонач. ‘болтать’ или ‘болтовня’)).

Методика системно-структурного и функционального лингвистического анализа основывается на реконструкции системы базовых единиц, которые могут быть выделены в тексте и затем исчислены, относится это и к новым прагмалингвистическому и лингвокогнитивному методам. Решить эту задачу в полном объеме — создать модель, сопоставимую с формальными моделями, используемыми в структурной лингвистике, конечно, непросто (с трудностями такого рода хорошо знакомы лингвисты, изучающие речь, оперирующие текстовыми, дискурсивными и т. п. единицами высоких уровней). В то же время показательно, что РЖ исследуют прежде всего лингвисты. Разумеется, это не случайно. Вспомним, что Бахтин подчеркивал связь РЖ и языка, а тем самым — важность лингвистического аспекта речевых жанров: «Речевые жанры даны нам почти так же, как нам дан родной язык, <чей> словарный состав и грамматический строй мы узнаем не из словарей и грамматик, а из конкретных высказываний, которые мы слышим и которые мы сами воспроизводим в живом речевом общении с окружающими нас людьми» [Бахтин 1996: 181]. В числе наиболее значительных лингвистических моделей, которые успешно используются для изучения РЖ, безусловно, следует назвать широко известную «анкету речевого жанра» Т. В. Шмелевой, представляющую собой разновидность компонентного анализа [Шмелева Т. 1997]; отметим, что при использовании данной анкеты лингвистами применительно к жанрам особых или новых сфер в нее часто включаются дополнительные параметры — см., например, изучение «естественной письменной речи» [Лебедева 2007].

Перечисленные положения позволяют составить предварительный список **параметров модели**, по которой могут быть описаны наиболее критические события речежанровой современности. Лингвистический статус выделяемых параметров может быть определен следующим образом: их речежанровое содержание несомненно (все они являются жанрообразующими с точки зрения речевой структуры), хотя принимается дедуктивно; их языковое содержание обуславливается данным речежанровым содержанием иногда непосредственно (лексемы — наименования жанров, ключевые слова и фразы в речи, композиционное оформление высказываний), иногда опосредованно и может быть выявлено в результате корректного использования предлагаемой методики:

- **предмет речи**, в том числе прагматические диалогизированные аспекты его: что именно, с какой целью, в каком контексте, с какой оценкой сообщают друг другу собеседники в рамках того или иного речевого жанра («тема РЖ» по Бахтину);
- **стиль** (шире — коммуникативная тональность, где особенно важна степень серьезности), куда входит тоже не только экспрессия как таковая, но и ее, так сказать, прагматика («стиль РЖ» по Бахтину);
- **лексика**: наименования жанров и их компонентов, семантическая структура данных номинаций (включая их этимологию, а также метафоры, которые особенно значимы в случае вторичных РЖ); это то «имя жанра», которое «первым приходит в голову» при опознании типа диалогического взаимодействия, а также ключевые слова и фразы в речи, по которым тоже осуществляется идентификация;
- особенности **синтаксической структуры**, которые еще важнее, чем конкретное лексическое наполнение, для опознания и интерпретации РЖ (так считал и М. М. Бахтин — ср. его понятие «композиции РЖ»);
- **целеполагание**: идентификация и характеристика РЖ, социально-ролевой структуры и контекста на иллюкутивно-целевой основе;
- наконец (параметр, отсутствующий в модели Т. В. Шмелевой, но очень важный в концепции Бахтина), — отношения речеганровой **первичности-вторичности**, включая отношения традиционных и новых, «техногенно обусловленных» жанров;
- **социальный фактор** и связанный с ним **аксиологический**;
- общая **внешнекультурная** и **внутрикультурная парадигма** (включая языковую политику, моменты глобализации или, наоборот, изоляции);
- для данной цели также должны быть выделены основные **коммуникативные сферы**, где роль речевых жанров для данного периода является особенно критической или где происходят их значимые трансформации, — сферы устной непосредственной речи, публицистики / СМИ (а в настоящее время очень важен Интернет), политической коммуникации, рекламы и т. д.;
- отдельные **источники материала**: так, текстовая часть материала может быть отобрана и обработана при помощи новейших технологических возможностей — корпусных баз данных и методов корпусной лингвистики.

Для представления разных периодов и разных культур данные параметры могут быть в разной степени актуальны: например, для настоящего времени особенно актуальны глобализация, интернет-сфера общения, а с методологической точки зрения — появление корпусов.

Ниже представлен лишь начальный опыт такого исследования. Взята пока одна современная речевая картина — рубеж XX—XXI вв., — которая рассматривается не по всем названным параметрам, а только по некоторым, как представляется, наиболее показательным, в результате выделяются характерные особенности, отличающие ее от предшествующих периодов.

2. Внешнекультурная парадигма: РЖ и глобализация

Глобализация обуславливает целый ряд особенностей речевых жанров. Так, с одной стороны, процессы, выявленные для новых РЖ в одной культуре (например, русской), часто имеют более универсальный характер, чем это было (и могло быть) несколько десятилетий назад. С другой стороны, на первый план вновь (как и в другие динамичные эпохи, такие как Петровская и послереволюционная эпохи в России / СССР или «постсамурайская» в Японии XIX в.) закономерно выходят проблемы **заимствования** жанров, перенесения их из одной национальной речевой культуры в другую (в большинстве случаев это приводит к тому, что на новой национальной почве развиваются новые жанры), соответственно — проблемы речеганровой лакунарности, безэквивалентности и т. д.,

которые пока и для глобальной картины, и для отдельных культур получили в лучшем случае лишь начальное осмысление (например, в [Аверинцев 1986; Hanks 2000; Фенина 2005; Алпатов 2007]).

И для первого, и для второго аспектов глобализации в современной коммуникации очевидно большую роль играет развившийся за последние десятилетие-полтора Интернет: его «речежанровой картине» будет посвящен следующий раздел, пока же подчеркнем, что все основные интернет-жанры (*блог, форум, чат, интернет-энциклопедия*) являются универсальными и несомненно имеют гораздо больше общего в разных культурах / языках с точки зрения своей речежанровой структуры, чем различий. При этом все они изначально осуществлялись на английском языке, отсюда большое количество англицизмов (или универсализмов на базе английского языка) в общении в рамках данных жанров на других языках.

Конечно, стремление к унификации, жанровые заимствования, особенно активизировавшиеся в мире примерно в это же время, характерны и для традиционной коммуникации. Подобный опыт очень богат у Европы: несомненно, языковые структуры широко известных лингва франка, пиджинов складывались на основе отработанных речевых практик, т. е. РЖ (прежде всего в сфере торговли, но не только), однако информации о тех средневековых жанрах, как и коммуникации людей в целом сохранилось очень мало. Значительно благоприятнее для жанроведа современная ситуация. Так, в странах Евросоюза в непосредственное устное общение ежедневно вступают миллионы носителей разных языков / «речежанровых компетенций». В результате происходит не только взаимообмен жанрами, но и формирование новых РЖ, которые еще только начинают изучаться. Ср. исследование А. Мустайоки, посвященное новому, с его точки зрения, жанру в странах Евросоюза — *международной конференции на английском лингва франка*: конференция проводится обычно в другой стране, большинство участников говорят не на родном языке, при этом использование лингва франка добавляет парадоксальную особенность общению: люди понимают друг друга лучше, чем в естественных условиях [Mustajoki 2013]. Добавим, что подобный жанр, конечно, можно представить и в России, но все же труднее, чем в Хельсинки, где, в свою очередь, он практически невозможен на финском языке (тогда как международная конференция в Москве и даже вне России на русском лингва франка — распространенное явление, хотя сейчас и меньше, чем лет 30 назад).

Заимствования РЖ, обусловленные глобализацией или ее аналогами в предшествующие эпохи, — далеко не новое явление, и в лингвистике (шире — филологии) такие жанры неоднократно рассматривались. Ср. такой жанр неофициального публичного фатического общения представителей привилегированного класса, как *светская беседа* (далее — СБ) (используем для простоты это название русского варианта данного жанра, хотя оно и не вполне корректно по отношению к другим культурам), — думается, о данном жанре, имеющем отчетливое социальное и аксиологическое содержание, актуальном и для прошлых периодов, и для настоящего, следует сказать подробнее. Исследователями были показаны универсальные черты такого общения в разных европейских культурах, развивавшихся в сторону цивилизованности: западноевропейских (сначала романских, потом германских) [Старобинский 2002] и в русской культуре (собственно *светская беседа*) [Лотман 1994; Фенина 2005].

СБ, согласно И. А. Стернину, — «взаимно приятный, ни к чему формально не обязывающий разговор на общие темы, основная цель которого — провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте, в роли официальных гостей либо в роли только что представленных друг другу и еще мало знакомых друг с другом людей» [Стернин 1996: 3]. Согласно К. Ф. Седову, СБ представляет собой одну из разновидностей базового гипержанра фатического общения *разговор*, доминанту СБ исследователь определяет как *вежливость* (другие разновидности гипержанра *разговор* — *разговор по душам* (доминанта *искренность*), *болтовня* (доминанта *несерьезность*), *дружеский разговор*, он же — *разговор в компании* (доминанта *дружелюбие*)) [Седов 2011: 33—36].

В русской культуре представления о коммуникативных нормах и образцах СБ восходят к Петровской эпохе, когда складывались нормы поведения представителей власти, которые должны вести себя не как все, говорить на языке, непонятном простолюдинам (при Петре скорее по-немецки, потом — по-французски), — и иначе общаться фатически. В это время на существующее представление о коммуникативных образцах, опирающееся на традиции народной культуры, накладываются нормы заимствованного жанра СБ, которые во многом остаются актуальны: элитарность (СБ владеют не все, за собеседником признается достаточно высокий социальный статус), праздничность (собеседники будут говорить скорее всего о том, что, с их точки зрения, может представлять интерес), и з о щ р е н н о с т ь (по-французски). Как показывают исследования, к концу XX в., несмотря на то что не было «света», т. е. дворянства, основные содержательные доминанты понятия *светский* остались прежними: с одной стороны, высокий социальный статус, элитарность, с другой — некоторая фальшь, пустота [Антология речевых жанров 2007: 149—161]. Интересно, что первые существенные изменения как в общекультурном, так и в лингвистическом содержании *света / светского* произошли на протяжении последних десяти-пятнадцати лет. Мы имеем в виду появление в это время у *светский* частичного синонима — заимствованной лексики *гламур / гламурный*. Данная лексема называет новое и уже ставшее очень заметным, хотя во многом еще не сформировавшееся до конца явление. Анализ контекстов, в которых в русской речи новейшего периода встречаются *светскость* (коммуникативная составляющая — *светская беседа*) и «*гламурность*» (коммуникативная составляющая которой пока не ясна: *гламурная беседа*), будет представлен в разделе 5.

Несмотря на то, что СБ в русской культуре — заимствованный жанр, его аналоги в других европейских культурах могут быть полностью или частично лишены перечисленных качеств. Это было показано экспериментальным способом в кандидатской диссертации В. В. Фениной [Фенина 2005], в которой сравнивались русская *светская беседа* и *small talk* в англосаксонской культуре.

Информантам (около 200) — преподавателям и студентам саратовских и волгоградских вузов — была предложена анкета, содержащая вопросы: *Какого человека можно назвать светским? Какой должна / не должна быть настоящая светская беседа? Какие из перечисленных тем наиболее подходят для светских бесед? Кому необходимо владеть светской беседой?* и т. д. Результаты анкетирования показали, что в представлении современных носителей русского языка светский человек — это тот, кто всегда ведет себя согласно правилам этикета, воспитанный, с хорошими манерами (76%), образованный, интеллигентный, эрудированный (56%). К таким людям большинство опрошенных отнесло режиссера Никиту Михалкова (52%), Президента РФ Владимира Путина (34%), телеведущего Владимира Познера (32%). Светская беседа должна быть прежде всего интересной — 64% (причем информанты, отмечавшие «интересная», как правило, отмечали также «красивая») и не должна быть агрессивной, пошлой и пустой. Во время светской беседы говорят о литературе, театре, кино (80%), о новостях из общественной жизни (57%) и, как правило, не говорят о погоде, спорте, религии, семье, работе. Светской беседой должен владеть прежде всего человек культурный, известный, успешный, представитель элиты, «изысканных» профессий: дипломат (51%), журналист (47%), артист (47%), политик (38%), бизнесмен (33%), реже назывались ученые (19%) и крайне редко — военные (3%).

Позже было проведено анкетирование около ста американских преподавателей и студентов Вайомингского университета. Были предложены сходные вопросы: *Which words would you immediately associate with small talk? Why do we need to use small talk? Which would be the most appropriate topics during small talk? What kind of person should be able to use small talk? How would you define a small talker?* и т. д. Ответы лишь отчасти совпали с данными первого эксперимента: в сознании носителей английского языка *small talk* есть доброжелательное (86,1%), повседневное (64,5%), неоткровенное (51,1%) и поверхностное (51,1%) общение, имеющее целью создание доброжелательной психологической атмосферы (69%) и заполнение пауз (52%). Наиболее распространенными темами *small talk* являются спорт

(82%) и погода (78,4%), а также проведение выходных (68,4%). Подавляющее большинство опрошенных американцев (78,7%) считает, что данным речевым жанром должен владеть каждый человек (*everyone*) независимо от профессии и социального статуса (в том числе *businessman/woman, show-biz celebrity, politician, diplomat, scientist, PR, military person*).

Для изучения подобных жанров необходимо тщательно разграничивать универсальные и национальные особенности. В противном случае велика вероятность этноцентризма (как справедливо отмечает А. Вежбицкая, в современной лингвистике это прежде всего англоцентризм [Wierzbicka 2006]). Это может иметь место, например, когда исследователи ставят знак равенства между тем РЖ *small talk*, которому Генри Хиггинс учит Элизу Дулиттл в «Пигмалионе», и той *светской беседе*, которой не может овладеть Пьер Безухов (ибо не является носителем картины мира *светского человека*), или когда в коллективной монографии [Coupland 2000] рассматриваются *британский, новозеландский, польский, израильский* и т. д. *small talk* без выявления каких-либо национальных различий.

Глобализация может вызывать изменения, причем в одном и том же направлении, т. е. по сути нивелирование, традиционных жанров. В качестве примера можно назвать РЖ *флирт*, который, с одной стороны, является одним из древнейших и естественнейших жанров, присущих человеческому обществу [Антология речевых жанров 2007: 269—283], с другой — имеет отчетливое национально-культурное, социальное и аксиологическое содержание: «Культура формирует эротический код, ритуал ухаживания и сексуальную технику» [Кон 1988: 121]. Следует подчеркнуть, что флирт изначально существовал как любовная речевая игра, главной отличительной особенностью которой был ко с е н н ы й характер коммуникации, проистекающий, по Э. Берну, из «скрытого содержания транзакций», ср.: *КОВБОЙ: Не хотите ли посмотреть конюшню? — ДЕВУШКА: Ах, я с детства обожаю конюшни!* [Берн 1988: 25].

В этом отношении является показательной одна инновация наднационального масштаба (это доказывают примеры из и русскоязычного, и англоязычного Интернета): современный флирт (особенно в речи молодежи и в Интернете, но не только) в значительной степени утрачивает игровой характер и даже косвенность.

С одной стороны, наблюдения показывают, что флирт в Интернете распространился так сильно, что присутствует в огромном объеме интернет-пространства, далеко выходя за пределы «подходящих» для этого жанров (таких как чаты и часть тематических форумов и блогов). С другой стороны, флирт в значительной степени утрачивает свою е п р я м о у природу. Это касается, например, трансформации семантики лексемы *флирт* (а также *флиртовать, flirt, flirting, flirtation*) в современной интернет-речи: практически все подборки, форумы, чаты, предлагаемые в Интернете на стимулы *flump, flirt*, включают огромное количество абсолютно п р я м ы х, полностью лишенных игрового начала смыслов, интенций и призывов (*Флирт и общение без ограничений!*; *Знакомства, флирт, любовь онлайн. Бесплатно и анонимно; Найди свою любовь на сайте Флирт.рф; Эротическое общение для тебя; Flirting, kissing, and of course sex; Send me your naked pictures*). Напротив, найти что-либо в традиционном значении (флирт-игра, флирт-намек, словесный поединок в любовной игре) в современных интернет-ресурсах не так-то просто. Складывается впечатление, что *флиртом* теперь называется все то в гендерно маркированном поведении мужчины и женщины, что просто выходит за рамки близости, или же слово *флирт* превращается в эвфемизм прямого наименования близости. Данные трансформации, как уже было сказано, не ограничиваются интернет-общением — так, в романе Хелен Филдинг «Дневники Бриджит Джонс» героиня называет *флиртом* поведение своего возлюбленного Дэниела (*How dare you be so fraudulently flirtatious?*) в ситуации, когда он совершенно прямо выражает свои эротические желания.

Следует сделать важную оговорку: приведенные примеры подтверждают изменения лексической семантики слова *флирт*, но необязательно доказывают изменения собственно жанра, его коммуникативно-речевой структуры — данный вопрос еще предстоит решить. Сложность в данном случае создается еще и асимметрией обиходного и терминологического

значений слов: от обиходного значения ни к чему не обязывающей и не имеющей непосредственных последствий легкой беседы с определенным подтекстом производно терминологическое значение одного из речевых жанров, при этом связь между номинацией, лежащей в основе термина, и самим термином может теряться. В то же время, несомненно, семантика имени жанра не может не быть значима для именуемого явления, т. е. жанра. В качестве примера можно привести несобственные употребления (в некоторых контекстах метафорические) идиомы *по душам* (где ситуация с соотношением обиходного и терминологического значений слов такая же, как в случае РЖ *флирт*), посредством которых именуется или варианты жанра *разговор по душам*, или прямо развитие вторичного жанра на его базе — данные явления рассматриваются в разделе 5.

Глобализация обуславливает появление новых речежанровых явлений и в таких бытовых и, казалось бы, консервативных сферах, как **сфера потребления** (но в данной сфере часто происходят изменения, влияющие и на язык, причем это особенно заметно в современной цивилизации, которую нередко определяют как «потребительскую», но в той или иной мере, думается, было всегда). Интересные примеры жанров «гастрономического общения» в США: *меню* в ресторане (включая его обсуждение клиентом и официантом) и *поваренных книг* — приводит Робин Лакофф [Lakoff 2006]. Исследовательница показывает, что за последние 150 лет знания и умения в гастрономической сфере для среднестатистических *white, middle-class residents of California* (но приводимые ею данные во многом приложимы к другим культурам, например, современной российской) подверглись значительным изменениям. Так, «активный гастрономический лексикон» современного американца включает множество названий блюд, продуктов, ингредиентов, деталей приготовления и т. д. на пяти или шести языках: французском, итальянском, испанском, китайском, японском и, возможно, хинди или тайском, — которых раньше не было, например: *pain de mie* ‘французский хлеб’; *pappadums* ‘соус карри паппадум’; *garde manger* (работник ресторана, чьи обязанности заключаются в наблюдении за приправами, специями и другими деталями доведения блюд до полной готовности); *food Nazi* (человек, который квалифицирует людей по их диете: невротик, который жаждет принадлежать к «элите», обычно вегетарианской, причем пытается исключить как можно больше людей из этой группы, оскорбляя их кличками) [Ibid.: 142—144].

3. Сферы коммуникации: Интернет

Как уже говорилось, Интернет имеет особое значение для речежанровой картины современного периода.

С одной стороны, жанрами интернет-общения сегодня пользуются миллионы людей разных возрастов, социальных и профессиональных групп. Почти каждое уважающее себя СМИ сегодня имеет не только интернет-версию, но и специальные разделы *блогов* и (иногда) *форумов*; *форумами* обзаводятся и крупные, особенно транснациональные компании (например, по производству оргтехники и системного оборудования). Компьютеризация, развитие интернет-коммуникации с присущими ей скоростью и интенсивностью общения резко увеличивают скорость и интенсивность инноваций, включая жанровые. Имеется в виду не только распространение собственно интернет-жанров (*блоги* и т. д.), но и то, что они влияют на традиционную коммуникацию, ср. широкое использование за пределами интернет-коммуникации специфических «интернет-лексем» (*смайлик, лайк, троллинг, спам, игнор, баян, бот, коменты* (и *Аменты*), *френд* (и *френдЫ*)), перенесение «в реал» правил интернет-игр (например, *флешмоб*). Все это иногда приводит к появлению полноценных синтетических жанров (таких, например, как роман Б. Акунина «Квест», где повествование постоянно прерывается тестовыми вопросами с последующими отсылками к разным страницам; произведение читается с начала и с конца («книга-перевертыш») и имеет несколько вариантов и сюжета, и финала; иллюстрации к роману названы «*скриншотами*» и т. д.), а также к возрастанию в коммуникации роли гипертекстовости в самом широком смысле (см. об этом [Kitzmann 2006]).

С другой стороны, данная коммуникативная сфера и, соответственно, данные жанры складываются и формируются буквально на наших глазах, при этом многие из них развиваются на основе уже существующих, известных, неинтернет-жанров. Все это делает возможным хотя бы начальное диахроническое исследование, где теоретической основой для осмысления и систематизации таких новых явлений, как уже было сказано, может выступать понятие вторичного РЖ, а методической — сравнение исследуемого РЖ с тем, который, предположительно, является по отношению к нему первичным.

Интересен в этом отношении один из наиболее очевидных вторичных РЖ — пародия, которая в Интернете приобретает некоторые новые черты. Имеем в виду *пародийные интернет-энциклопедии*, широко распространившиеся в последние несколько лет во многих странах на базе *Википедии* (*Noobtype Wiki, Uncyclopedia, Абсурдопедия, Короча-Википедия, Lurkmore / Луркоморье*). Так, русскоязычное *Луркоморье*³ существенно отличается от традиционного жанра пародии, имеющего тысячелетнюю историю, не только тем, что это интернет-жанр, которых раньше просто не было, но и тем, что представляет собой энциклопедию, вполне пригодную для получения систематизированной информации, а также оригинальным сочетанием черт энциклопедии (это прежде всего обезличенность и анонимность), которые в случае Луркоморья выступают не как пародийная стилизация, а как сущностные черты текста, и черт пародии (несомненная забота о форме текста, рассчитанного на эстетическое восприятие, эмоциональность, оценочность и идеологичность, которую, видимо, можно определить как общий «постмодернистский» юмористический и карнавальный взгляд на вещи, стирание границ между «верхом и низом», а в конечном счете — между истинным и ложным, важным и неважным, добродетелью и пороком и т. п.). Пародийность *Луркоморья* проявляется в подчеркнутом отрицании «мифической энциклопедичности» Википедии: формальности, объективности, толерантности и безоценочности. Все это обуславливает весьма интересный язык Луркоморья: неофициальный и часто оригинальный, включающий, с одной стороны, языковую игру, окказионализмы и неологизмы (обычно обыгрывается русский язык, но нередко и английский), с другой — жаргонизмы и мат. К важным отличительным особенностям языка Луркоморья следует отнести также то, что на темы и язык общения большое влияние оказывают сюжеты японских мультфильмов аниме, отсюда многочисленные японские, а не английские заимствования, например: *кавай, кавайный* ‘милый’; *моз, мозный* (то же самое, но с уклоном на сторону фетиша); *тян, -тян* ‘уменьшительно-ласкательный суффикс, указывающий на женский род (позже суффикс превратился в самостоятельное слово и стал обозначать просто ‘девушка’); *кун, -кун* ‘дружеское, неофициальное обращение (чаще между мужчинами, но не всегда)’; *лоли* ‘несовершеннолетняя девочка’; *хикки* ‘человек, отказывающийся от социальной жизни’; *яой, яойщица* ‘гей, лесбиянка’⁴.

Конечно, при изучении вторичных РЖ наиболее принципиальными оказываются такие вопросы, как методика исследования вторичных РЖ, способы выявления речежанровой вторичности, определения, где мы имеем новый жанр, где — вариант, инновацию старого. Следует отметить, что данные вопросы отчасти рассматривались уже Бахтиным, но, как

³ <http://lurkmore.ru/>.

⁴ Конечно, они содержат ошибки, простительные для неспециалистов. Например, заведомо интернет-блогов-форумов-имиджбордов воспринимаются как японизмы слова с «л», которого, как известно, в японском нет: поскольку стали японизмами, в сущности, вернувшиеся из Японии английские слова и выражения: *костлей* (яп. コスプレ косупурэ, сокр. от англ. *costume play*), *лоли* (яп. ロリコン рори ‘комплекс лолиты’). Логично было ожидать, что эти слова предстанут как японские огласовки, но этого не происходит: как видим, в результате появились гибридные образования, в произношении которых, возможно, участвуют даже три языка, включая английский: ни один японец, кроме очень хорошо владеющих английским, так не скажет. Что касается *-тян*, первично и литературно здесь именование маленьких детей (любого пола), а в качестве именованной девушки это звучит ласкательно и несколько жаргонно. Пользуясь случаем, автор выражает благодарность В. М. Алпатову за лингвистический комментарий этих японизмов.

многие его речевые и лингвистические идеи, не получили настоящей формализации в виде рабочей модели. Заслуживает, однако, самого серьезного внимания вводимое Бахтиным понятие переакцентуации, наряду с понятием вторичного РЖ: «...речевые жанры вообще довольно легко поддаются переакцентуации, печальное можно сделать шутливо-веселым, но в результате получается нечто новое (например, жанр шутливой эпитафии)», а также идея о выстраивании цепочки «первичный жанр — переакцентуация — вторичный РЖ» [Бахтин 1996: 192].

Интересные соображения о соотношении первичных и вторичных РЖ как совпадающих по параметру интенции и различающихся по параметру стиля высказывает Н. В. Орлова:

Объективным критерием общности интенций говорящих в разных ситуациях общения является возможность описать их высказывания одним и тем же речевым словом. Так, одинаковое обозначение получает *признание в суде* и *признание в любви*; *исповедь в церкви*, *исповедь*, адресованная близкому человеку, и *исповедь* как популярный ныне жанр публицистики. <...> В то же время нередко разные речевые слова описывают одни и те же речевые действия. Ср. бытовую *угрозу* и *ультиматум*, *просьбу* и *ходатайство*, речевые действия, выражаемые глаголами «*порицать*» и «*ругать*». Очевидно, что слова в парах различаются лишь стилистической маркированностью одного из них, а описываемые ими высказывания (тексты) соответствуют понятиям первичного и вторичного жанров М. М. Бахтина [Орлова 1997: 51—52].

Думается, что проблема соотношения первичных и вторичных РЖ может успешно решаться на основе модели, где пары «первичный РЖ ~ вторичный РЖ» сопоставляются по ряду значимых для них параметров. Это вновь возвращает нас к интернет-жанрам, где отношения речевых жанров вторичности гораздо более очевидны уже в силу кратковременности данного явления.

Многие широко распространенные модели анализа РЖ компонентного типа (см. выше) при обращении к интернет-жанрам подвергаются более или менее существенным трансформациям. Так, по мнению С. Херринг [Herring 2007], «виртуальному жанроведению» при анализе материала необходимую гибкость может обеспечить не собственно речевые жанры, а более детальный «аспектный подход» (основы которого были разработаны в библиотековедении и информатике). Общее число параметров, которые Херринг включает в свою модель, превышает 40: это как технологические, так и собственно коммуникативные параметры, в том числе очень важные отношения производности, существующие между различными интернет- и неинтернет-жанрами [Ibid.]. Последователи Херринг успешно изучают отношения производности в интернет-жанрах [Горошко 2011; Рогачева 2011; Щипицина 2009; Щурина 2012]. В этих исследованиях значимые моменты структурной организации интернет-жанров как вторичных РЖ сопоставляются с неинтернет-жанрами (в том числе количественно): *чат* — с общими характеристиками разговорной речи (где организующим центром является жанр *бытового разговора*); *форум* — с *дискуссией*. Несколько более сложным явлением в этом отношении выступает *блог*, который, с одной стороны, не имеет какого-то одного непосредственного предшественника среди неинтернет-жанров («для блога в истории человечества жанрового аналога нет» [Кронгауз 2009: 164]), с другой — обнаруживает явную близость сразу с несколькими жанрами (публицистическая статья, традиционный «бумажный» дневник, личное письмо). Например, в кандидатской диссертации Н. Б. Рогачевой *блог* сравнивается с *обычным дневником* и *частным письмом* по следующим параметрам: 1) наличие элементов диалогичности (в традиционном дневнике есть элементы лишь псевдиалогичности: обращения к детям, обращения типа «дорогой дневник» и т. п.), в письмах и блогах — многочисленные обращения, апеллятивные маркеры); 2) репертуар используемых жанров/субжанров; 3) использование сокращенного или развернутого кода; 4) тематическое разнообразие и характер связей между темами (особенно показательны «Я-тема» и «Мы-тема» и их соотношение); 5) степень креативности (проявляется, например, в языковой игре, иронии, аллюзиях на прецедентные феномены и т. п.) или стереотипности текста:

Таблица 1

Блог, обычный дневник и частное письмо в сопоставительном аспекте

	Обычный дневник	Частное письмо	Блог (пост)
Элементы диалогичности	Нет (лишь элементы псевдиалогичности)	Есть (адресат — конкретное лицо)	Есть (адресат — массовый; в редких случаях — конкретное лицо; есть случаи псевдоадресации)
Используемые жанры (субжанры)	Жанровая монотонность	Разнообразие жанров; значительное число жанров, ориентированных на адресата	Разнообразие жанров; жанров, ориентированных на адресата, много, но меньше, чем в письме (отсутствует жанр выражения сочувствия)
Соотношение Я-, ТЫ- и МЫ-тем	Я-тема преобладает, ТЫ-тема отсутствует, МЫ (ТЫ + Я)-тема отсутствует	Есть тенденция к уравниванию Я- и ТЫ-тем; «МЫ»-инклюзивное затрагивается при сбоях в коммуникации («МЫ»-эксклюзивное широко распространено)	Преобладает Я-тема, однако представлена и МЫ-тема
Использование сокращенного или развернутого кода; наличие смысловых лагун	Высокая степень лакуарности, значимые факты могут просто констатироваться	Степень лакуарности гораздо меньше; значимые факты сопровождаются авторской оценкой	Есть стремление к снижению лакуарности (непонятные места сопровождаются авторским комментарием); возможны записи «для своих», содержащие парольные фразы
Характер связи между темами, наличие маркеров смены тем	Связь ассоциативная, специальных маркеров практически нет	Темы располагаются в достаточно строгом порядке; есть специальные маркеры	Ассоциативная связь, но есть маркеры смены тем
Степень креативности / стереотипности	Низкая степень креативности	Преобладает стереотипность, но с элементами креативности	Высокая степень креативности

Для жанра *чата* первичными являются, по всей видимости, не дневник и частное письмо, как в случае блога, а жанры неофициального непосредственного общения (гипержанр *разговор*).

В этой связи уместно вспомнить, что А. А. Зализняк [2010] уделяет большое внимание соотношению *сетевого* и *обычного дневника*, в том числе со стороны формальной и (особенно) содержательной структуры, при этом определяет место *дневника* в ряду вторичных речевых жанров: *дарственная надпись, адрес на конверте, эпитафия, девичий альбом, лирика, поздравительный адрес, псалом* (уникальность жанра *дневника* обуславливается сосуществованием двух адресатов — прямого и косвенного: «дневник пишется как будто

исключительно для себя и поэтому без рисовки, но одновременно именно это и оказывается интересно другим — тем, кем он, возможно, будет прочитан» [Там же: 165]). Однако А. А. Зализняк не использует бахтинского понятия вторичного РЖ для сопоставления названных типов дневников, *собственно дневника и блога*.

По мнению некоторых исследователей, например Е. И. Горошко [2011], в последнее время механизм формирования жанров интернет-общения претерпел определенные изменения, а именно: перешел от трансформации классических «бумажных» жанров (письмо → электронная почта → блог / чат) к конвергентному принципу формирования «новых интернет-жанров 2.0».

Думается, можно считать доказанным, что новая сфера общения всегда порождает вторичные РЖ. В то же время нам представляется, что меняется скорее общий культурный фон коммуникации. По-видимому, исторически изменение какого-то из компонентов фона (межличностные отношения (близость, статус), канал связи) всегда приводит к изменениям жанра; но правила нового жанра непременно охватывают и другие аспекты речи (как, например, произошло со *светской беседой*, если сравнить ее с *болтовней* или *сплетнями*, или с жанрами виртуального общения (*блог, форум, чат*), если сравнить их с *перепиской, дневником, обменом записочками, наконец, дружеским разговором*). Важно, что любое изменение всегда не только что-то добавляет, но одновременно что-то ограничивает, порождает запрет или целую серию запретов. Меняться могут и более абстрактные вещи, например, само представление о межличностной близости, автономии и других правах и потребностях личности, уважении к собеседнику, допустимом и недопустимом в речи. Важным показателем является слово: наличие новой лексемы для именованного РЖ чаще свидетельствует о том, что возник новый жанр, чем наоборот. Старое слово может использоваться для именованного нового жанра как метафора (см. в разделе 5 о контекстах с прямым и переносным значением *по душам*). Много информации в этом плане предоставляют нам историко-культурные и этимологические данные.

4. Этимология

Для представления и осмысления речезанровой картины современности очень много могут дать словари новой лексики (как литературного языка, так и нелитературных стратов — арго, сленга, жаргонов), содержащие, в том числе, и названия РЖ. Нередко это именно новые жанры; и толкования, предлагаемые соответствующими словарями, тематические, лексико-семантические и другие группы, которые иногда выделяются в специализированных словарях (например, [Скляревская 2001; Васильев 2005]), как правило, содержат достаточно много информации о различных особенностях семантики и структуры новых жанров.

Данная информация может быть извлечена из словарей при помощи методики лексико-семантического анализа РЖ. В частности, изучается семантика лексем, прежде всего существительных и глаголов (в том числе перформативных), именующих или непосредственно речевые жанры, или речевые действия, соотносимые с данными жанрами (часто разница между такими существительными и глаголами почти исключительно категориально-грамматическая, например: *просьба* — *просить / попросить, вопрос* — *спрашивать / спросить, ссора* — *ссориться / поссориться, флирт* — *флиртовать*). Главным объектом исследования становятся существующие в лексике и фразеологии языка / языков названия различных жанров релевантных компонентов речи — соответствующих единиц, правил и норм, моментов системности и типизации [Федосюк 1997; Балашова 2009]. Часто жанры, которые именуется такая новая лексика, еще не были изучены другими способами; кроме того, зачастую это именно новые жанры, еще не сформировавшиеся до конца, и, например, сравнение толкований их названий в соответствующих словарях за промежутки в 10—15 лет дает возможность понять что-то и в их развитии.

Данный аспект вписывается в общее **метаязыковое** изучение речевой коммуникации в лингвистике [Рождественский 1978; Язык о языке 2000]. Следует назвать также

несколько исследований, посвященных новым лексическим и идиоматическим явлениям в русском и некоторых других языках (большинство их, именнов силу новизны, пока не имеет «постоянной лингвистической прописки» и квалифицируется в данных работах как разговорные неологизмы или жаргонизмы), семантика которых могла развиваться только в новой реальности — постиндустриальной, глобализованной, интернетизированной [Карасик 2013; Сиротинина 2013].

Для лексики и идиоматики русского языка (и для литературного языка, и нелитературных стратов) масштабное исследование метаязыкового аспекта РЖ и их компонентов осуществляет Л. В. Балашова [2009]. Проанализировав названия-метафоры, исследовательница приходит к выводу, что в концептуализации русской системы РЖ новейшего времени сохраняется достаточно давняя тенденция — противопоставление официальной и неофициальной сфер коммуникации, причем официальная оценивается отрицательно. Прежде всего, как и следовало ожидать, это касается нелитературных стратов, особенно арго, в «картине мира» которого изначально содержится вызов всем традиционным социальным институтам. Так, в сознании носителей сленга обычно вызывают негативную реакцию те **книжные жанры**, которые связаны с активным воздействием на сознание слушателей, читателей, поскольку содержат такие семы, как 'меркантильность', 'личная выгода', 'неискренность' и т. п. — ср. обобщенные наименования официальных бумаг, документов (*тряпка*, *шпаргалка*); законодательных актов (*молитвенник* 'Уголовный кодекс', *золотая рыбка* 'указ об амнистии'); юридических бумаг (*моток* 'уголовное дело', *бодяга*, *телега*, *фугас* 'жалоба прокурору', *шпаргалка* 'документ об освобождении', *шкурка мента* 'заявление в милицию'); административных документов (*картина своей жизни*, *самооговор* 'автобиография', *помои*, *портрет* 'характеристика с места работы'). Еще шире представлено устное (или нерасчлененное по признаку формы представления) **официально-деловое** общение, при этом наиболее разнообразной (около 100 метафорических единиц) в воровском арго оказывается номинация РЖ *донос*. Характерной особенностью «внелитературной речевой культуры» является восприятие публичного и отчасти научного общения в той же системе координат, что и общения официально-делового. Наиболее разнообразно именуется *лекция*, причем не столько сам жанр (*молитва* 'лекция'; *язык жевать* 'выступать с лекцией'), сколько субъект речи (*брехун*, *водолей*, *попугай*, *пустолай*, *гипнотизер*) [Там же].

Конечно, эти и многие подобные языковые процессы — появление новых названий, развитие новых коннотаций и новых значений — идут очень динамично, и их часто просто не успевают фиксировать словари. Много информации в этом плане могут дать современные источники актуальной лингвистической информации — корпуса, которым будет посвящен отдельный раздел. Забегая несколько вперед, отметим, что корпуса иногда дают уникальную возможность фиксировать тонкие различия в семантике лексем, именующих жанры, прежде всего — метафоры; некоторые результаты таких исследований, в свою очередь, могут быть использованы для совершенствования словарей.

5. Источники материала: текстовые корпуса (количественный анализ РЖ по ключевым лексемам)

Складывается впечатление, что с появлением корпусной лингвистики (о целях и методах корпусной лингвистики см., например, [Integrum 2006; Копотев, Мустайоки 2008]) сбылась давняя мечта жанроведа: анализировать РЖ количественно — для решения этой задачи не доставало именно того, что и дают сегодня корпуса: появляется надежда получить достаточно материала для всестороннего освещения каждого жанра со всеми значимыми вариациями, а до сих пор практически все «полевые» исследователи соглашались, что на уровне РЖ это невозможно [Федосюк 1997].

В целом в исследованиях речевых жанров: в диссертациях, монографиях, статьях, посвященных различным аспектам и проблемам теории речевых жанров, — нередко

используются те или иные возможности корпусной лингвистики, при этом, как представляется, цели и способы обращения к данным возможностям могут быть сведены к нескольким основным типам.

Так, при изучении речевых жанров корпуса и пользовательские подкорпусы могут выступать как база / фонд материала исследования. Используя корпуса текстов различных жанров, можно изучать соответствующие РЖ (*рассказ, роман, очерк, интервью, фельетон* и др.). Кроме того, используя этот же материал можно изучать «жанрово-ролевые сценки», т. е. изображенные в художественных произведениях диалоги персонажей различных жанров (*беседа, болтовня, разговор по душам, комплимент, признание в любви, флирт, ссора, угроза, оскорбление* и др.).

С нашей точки зрения, о методах корпусной лингвистики как таковых можно говорить только в тех случаях, когда лингвистические задачи решаются количественно и с использованием возможностей информационно-поисковых систем. При этом на первый план выходит проблема «ключевых фраз», о важности которых для РЖ писали некоторые исследователи еще до появления корпусов [Шмелева Т. 1997; Шмелева, Шмелев 2002: 18].

Действительно, при работе с корпусами проблема таких «ключевых фраз», или формальных показателей, по которым одним только и можно осуществлять поиск в корпусах, становится не просто важной, но критической, а главное — исследователю приходится решать данную проблему фактически с нуля, поскольку раньше поиском «ключевых фраз» для конкретных РЖ по-настоящему почти никто не занимался.

Покажем это на примере системы *Integrum*, богатые, но специфические возможности которой попытаемся использовать для уточнения характеристик двух речевых жанров русской культуры — *разговора по душам* (РпД) и *светской беседы* (СБ), которые уже обсуждались нами в связи с аксиологией и глобализацией. До сих пор исследователи данных жанров (см. [Фенина 2005; Седов 2006; Антология речевых жанров 2007]) обычно исходили из того, что выявить четкие формальные показатели данных жанров (как и других подобных «нежестких» жанров), а также систематизировать семантические характеристики данных явлений (например, в терминах универсальных семантических метаязыков) практически невозможно.

Материалом исследования послужили публикации в современной (после 1991 г.) русской прессе (российские и русскоязычные зарубежные издания), собранные и обработанные при помощи системы *Integrum* (6328 источников за период с 1992 по 2009 г.).

5.1. Светская беседа, светскость (*Integrum*)

Количественный анализ подтвердил: в современной русской речи слово *светский* является чрезвычайно распространенным. Система *Integrum* выдала для лексемы *светский* в общей сложности 339 572 контекста (1992—2009).

Эти контексты делятся на две отчетливо противопоставленные группы; традиционные: *беседа, вечер, дама, круг, лев, лоск, львица, манеры, общение, общество, прием, разговор, раут, салон, сплетни, человек, этикет* и др. и современные: *тусовка, тусовщик, тусовщица, звезда, дива, треп, болтовня, презентация, вечеринка* и др.

В современных контекстах реализуются все те же коммуникативные характеристики концепта *светский* (то есть характеристики СБ), что были выявлены для прошлых эпох (см. раздел 1):

- высокий социальный статус собеседников, их принадлежность к «светскому обществу» людей избранных — известных, публичных, «тусовочных»:

Мария Арбатова быстро нашла общий язык с Валентином Юдашкиным — завела с ним светскую беседу (У «Премьеры» нет плохой погоды. Московский комсомолец; 04.09.2007);

- расширенная по сравнению с обычной коммуникативная компетенция, риторические умения, которыми владеют не все:

Я, например, научилась непринужденно разговаривать ни о чем и часами поддерживать светские беседы (Жених по интернету. Дочки-матери / приложение к АиФ; 29.12.2004);

- светская беседа имеет неповседневный характер, должна быть яркой, праздничной, искусной, изощренной:

Вассерман, надо заметить, в светской толпе ничуть не смущался. Напротив — с удовольствием обнимал длинноногих моделей, угощался черной икрой и вел светские беседы с гостями (Московский комсомолец; 05.07.2008).

Контексты с лексемой *светский* были рассмотрены в сравнении с контекстами с *гламурный*. Поиск в Integrum дал в общей сложности **91 585** контекстов для *гламур/ гламурный*, из них по годам: 1992 — 1; 1993 — 0; 1994 — 0; 1995 — 1; 1996 — 11; 1997 — 88; 1998 — 120; 1999 — 138; 2000 — 207; 2001 — 677; 2002 — 998; 2003 — 2 444; 2004 — 4 607; 2005 — 8 431; 2006 — 16 787; 2007 — 25 099; 2008 — 25 165; 2009 — 6 886.

Нередко *светский* и *гламурный* абсолютные синонимы, как в следующих примерах:

Ксения отправится по светским вечеринкам, фитнес-центрам, выставкам и концертам — местам, где можно встретить претендента на руку и сердце (Комсомольская правда; 14.02.2008);

Пользуясь журналистскими связями, доставала ей пригласительные на гламурные вечеринки, где подруга заводила новые знакомства (Комсомольская правда; 20.12.2008).

В то же время во многих своих значениях данные концепты расходятся. Выявить различия поможет более детальный анализ сопоставимых и несопоставимых контекстов, в которых встречаются *свет* и *гламур* в современной прессе.

Для анализа в системе Integrum были выявлены все сочетания с прилагательным *светский*, включенные в тексты (газетные статьи), содержащие одновременно лексемы *гламур/ гламурный*. Общее количество контекстов (1992—2009), где *светский* и *гламур (гламурный)* встречаются в одном контексте, — 11 413 (10 787), количественное распределение контекстов по конкретным лексемам см. в таблице 2. Последняя колонка — процентный показатель.

Таблица 2

«Светский» + «гламур» в одном контексте

		кол-во контекстов для <i>светский</i> всего	контекстов вместе с «гламур»	
			количественный показатель (в скобках — для <i>гламурный</i>)	процентный показатель (для <i>гламур</i>)
КОММУНИКАТИВНЫЕ	<i>беседа</i>	5 152	179 (161)	3,47
	<i>болтовня</i>	423	22 (22)	5,20
	<i>вечер</i>	828	31 (27)	3,74
	<i>вечеринка</i>	5 544	467 (450)	8,42
	<i>диалог</i>	64	4 (4)	6,25
	<i>мероприятие</i>	15 262	796 (770)	5,21
	<i>общение</i>	860	18 (17)	2,09
	<i>па(р)ти</i>	41	2 (2)	4,87
	<i>презентация</i>	56	9 (30)	17,85

Продолжение таблицы на стр. 96

Таблица 2 (продолжение)

		кол-во контекстов для <i>светский</i> всего	контекстов вместе с «гламур»	
			количественный показатель (в скобках — для <i>гламурный</i>)	процентный показатель (для <i>гламур</i>)
коммуникативные	<i>прием</i>	3 371	100 (98)	2,96
	<i>разговор</i>	1 225	27 (25)	2,20
	<i>раут</i>	11 170	622 (602)	5,56
	<i>слетни</i>	1 504	120 (115)	7,97
	<i>треп</i>	144	18 (17)	12,5
	<i>этикет</i>	546	0 (0)	0
	<i>тусовка</i>	10 228	965 (946)	9,43
некоммуникативные	<i>артист</i>	15	0 (0)	0
	<i>богема</i>	34	2 (2)	5,88
	<i>девица</i>	40	1 (30)	2,50
	<i>девушка</i>	712	86 (87)	12,07
	<i>дива</i>	460	39 (39)	8,47
	<i>жизнь</i>	35 473	1 527 (1 497)	4,30
	<i>заведение</i>	197	12 (12)	6,09
	<i>звезда</i>	142	26 (28)	18,30
	<i>знаменитость</i>	146	9 (9)	6,16
	<i>издание</i>	722	27 (28)	3,87
	<i>лев</i>	4 320	328 (304)	7,59
	<i>личность</i>	90	5 (4)	4,44
	<i>лоск</i>	537	42 (39)	7,82
	<i>львица</i>	18 763	2 151 (2 113)	11,46
	<i>мир</i>	958	83 (84)	8,76
	<i>мода</i>	116	9 (8)	7,75
	<i>модель</i>	257	0 (0)	0
	<i>модник</i>	19	3 (3)	15,78
	<i>модница</i>	130	19 (19)	14,61
	<i>мужчина</i>	84	8 (8)	9,52
	<i>общество</i>	6 917	213 (189)	3,07
	<i>па(р)ти + party</i>	41 + 33	2 + 1 (2)	4,05
	<i>певец</i>	29	0 (0)	0
	<i>платье</i>	137	5 (4)	3,64

Таблица 2 (окончание)

		кол-во контекстов для светский всего	контекстов вместе с «гламур»	
			количественный показатель (в скобках — для гламурный)	процентный показатель (для гламур)
некоммуникативные	салон	1 527	38 (38)	2,48
	тусовщик	497	99 (97)	19,92
	тусовщица	550	54 (53)	9,81
	формат	46	0 (0)	0
	ценность	336	0 (0)	0
	человек	5 490	123 (119)	2,24
	штучка	50	3 (3)	6,00
	юноша	31	0 (0)	0

Обращает на себя внимание большое количество коммуникативных контекстов с лексемой *светский* — данная лексема активно сочетается с названиями речевых / коммуникативных жанров (*разговор, беседа, болтовня, сплетни, флирт*); отдельных коммуникативных действий (*улыбка*); коммуникативно-знаковых систем (*этикет*); отдельных (оценочных) измерений коммуникации. Многие из этих сочетаний относятся к традиционным и устойчивым и активно использовались еще в XIX в. (*беседа, разговор, сплетни, общение, этикет, манеры, прием, вечер, раут, отношения, тон, суэта, улыбка, диалог, флирт, поведение*). Для *гламура*, как видим, коммуникативные контексты в целом малочисленны.

Коммуникативные различия, видимо, производны от социальных характеристик: и «светские люди», и «гламурные люди» — «утонченные прожигатели жизни», но при этом *светский человек* — это изначально аристократ, представитель власти, *гламурный же человек* изначально представитель буржуазного общества, «потребитель». Если наиболее типичные представители *света* (см. количественные данные выше) — *львица* (больше) и *лев*, то *гламура* — *звезда, знаменитость; свет* населяют *дама, леди, гламур* — *девушка* и особенно *девчонка, девица, дива, кошечка...* здесь также гораздо больше места для таких «несветских» персонажей, как *мужик, мачо, нимфетка...* *Свет* — *общество, гламур* — *тусовка; свет* — *элита, манеры, гламур* — *попса, кич, трэш; свет* — *отношения, гламур* — *шоу, шик, блеск...*

5.2. «По душам» (Integrum)

Система Integrum выдала 29965 контекстов с *по душам* и в целом позволила осуществить исследование жанра *разговор по душам* по параметрам: общие ценностные характеристики; парадигматика и синтагматика *по душам*; участник *разговора по душам*. Так, во многих контекстах подчеркивается, что РпД является важной частью русского национального характера:

Впрочем, есть одно качество, которое между нами, русскими, можно считать действительно общенациональным, — это культура общения, в частности, способность разговариваться по душам со всяким встречным-поперечным, почувствовать кровную близость с человеком, во все тебе незнакомым (Тайна народного. Версты, Москва; 25.02.1999).

Абсолютное большинство оценочных характеристик РпД, фиксируемых в примерах, положительные и ярко-положительные:

Никакие технические новинки, виртуальное общение, умные игрушки не заменят старой доброй прекрасной привычки встречаться и говорить по душам (Давай поговорим. Семейный доктор; 15.09.2002).

В то же время есть и отрицательные характеристики: так, следствием РпД может быть нежелательное сближение; такое общение может быть неэстетично (*сопливый* РпД); РпД отрицают за бесполезность, указывая, что он противоречит неким новым жизненным ориентирам, присущим людям «современным», «прагматичным», «индивидуалистичным»:

*Кстати, есть целая категория мачо-мэнов, которым просто не хватает общения по душам и они готовы на все ради того, чтобы ты выслушивала их **сопливо-алкогольные откровения** и расспрашивала о нелегкой жизни* (Консумация. Хулиган; 15.03.2002);

***Жутковатое действие под названием «разговор по душам».** ... А уж разговор-то незнамо какой незнамо о чем вести — самое привычное для нас дело. Это зарубежных наших партнеров от таких разговоров трясти начинает, нам же — хоть бы что. Для нас даже особое наслаждение, если беседа к тому же пришла, с чего началась, — вот уж отрада русскому сердцу, никаких обязательств! И не надо, вот только не надо нас к ответственности призывать: душа — штука непредсказуемая: сейчас «лежит», через час — «не лежит»... имейте, стало быть, уважение* (Евгений Клюев. Русскость русских. Дружба Народов. 2009. № 2).

Парадигматика по душам. РпД противопоставлен коммуникативному поведению, включающему понимание, прежде всего агрессивному:

*Я стараюсь с такими **поговорить по душам, и агрессия уходит**, человек перестает замыкаться на боли, и ему становится чуточку легче* (Дмитровский вестник (Дмитров); 16.06.2007).

- Хороши для РпД характеристики, которые пониманию способствуют: искренний, открытый, откровенный, честный, вдумчивый, доброжелательный (часто эти определения идут вместе):

*Но в редкие минуты отдохновения удается поговорить по душам, **искренно и откровенно*** (Московская правда / Спорт; 08.05.2001);

*А ждет читатель **честного и открытого** разговора по душам, рассказов о том светлом, по-хорошему интересном, что, как ни странно, еще встречается в нашей жизни* (Российская газета; 15.11.1996).

- По этой причине РпД обычно противопоставлен *спору*, но не всегда:

*Были, как водится, **«фронтовые сто грамм», разговоры по душам, споры**. Прощание с другом* (Независимая газета — НВО; 29.02.2008).

- Судя по всему, в еще большей степени РпД должен быть противопоставлен *ссоре* — как поведению, исключаяющему понимание, — но, как показывает материал, РпД нередко и естественно сочетается и с *ссорами*:

*Постараюсь не навязывать ей свое мнение — как жить, что делать. Мне в этом плане с мамой было сложно найти общий язык. Бывало, как только я чем-то делилась, у нее начиналась паника: «Ты еще слишком мала для этого!» И **разговор по душам превращался в ссору** (По материнской линии. Натали (Украина, Киев); 15.05.2007).*

Все это обусловило **противоречивое** отношение к конфликтности, в частности критике собеседника в РпД. Контексты из прессы хорошо иллюстрируют эту противоречивость:

***Легкий разговор по душам** получается не сразу. Надо сделать так, чтобы чужая жизнь стала твоей* (Оксана Пушкина: «Я у себя одна». Новые известия (Москва); 29.06.2004);

*По ее словам, у тех, кто решается на **самый трудный вариант — разговор по душам** — семьи, как правило, сохраняются* (Вечерний Ростов (Ростов-на-Дону); 17.07.2007).

- Противоречивость РпД проявляется также в том, что к его частотным характеристикам относятся, с одной стороны, **простота**, с другой — **ум, мудрость**:

*Я понимал, что ничего не могу, да и не хочу, наверное, уже изменить, но так хотелось **просто** встретиться, поговорить по душам* (Комсомольская правда; 16.08.2000);

*Мне тогда не с кем было посоветоваться или даже **просто-напросто** поговорить по душам* (Все мужчины Елены Кориковой. Вечерняя Москва; 13.03.2008);

*Чем более жесткой, сложной и наполненной стрессами становится наша жизнь, тем больше мы начинаем ценить совершенно особую атмосферу разговора по душам: **умного, честного, заставляющего под другим углом взглянуть на окружающий мир и самих себя*** (Парламентская газета; 27.02.2004).

- Нередко подчеркивается: «настоящий» РпД возможен только «**со своими**»; в то же время полноценный РпД может быть и с **незнакомцем**:

*Можно расслабиться, почитать художественную литературу, посмотреть фильм, **поговорить по душам с родными и близкими людьми**, послушать любимые мелодии* (Газета (Москва); 14.12.2006);

*Хотя в дорожных неудобствах есть своя неповторимая романтика: новые люди, случайные встречи старых друзей, **разговоры по душам с совсем незнакомыми людьми*** (Волжская Заря (Самара); 24.07.2007).

- **Синтагматика по душам.** Согласно данным Integrum, с *по душам* сочетаются: *поговорить* — 13 178 контекстов; *разговор* — 8 766; *говорить* — 1 723; *беседа* — 1 385; *беседовать* — 764; *общение* — 404; *общаться* — 283; *потолковать* — 169 (и *толковать* — 30); *разговориться* — 162; *разговаривать* — 113; *диалог* — 84; (*поболтать* — 48; *переговорить* — 36 (иногда это ирония); кроме того, зафиксированы единичные употребления: *трепаться* (скорее ирония); *покалякать* (ирония); *бухтеть*; *договориться* и др.

Можно выделить ряд типов **трансформации** семантики *по душам*, обусловленных как собственно лексической семантикой выражения *по душам* и лексемы *душа*, так и иллокутивно-интенциональной семантикой речевого жанра *разговор по душам*. Степень трансформации в том или ином контексте обусловлена удаленностью значения от исходного (см. определение РпД выше).

Как показывает материал Integrum, *по душам* выступает в переносном значении, когда речь идет о различных формах и видах дисгармоничного общения: агрессивного, конфликтного, а также официального (прежде всего дисгармонично-официального, типа *допроса*) и манипулятивного.

В результате анализа контекстов мы можем выделить несколько важнейших смысловых компонентов «по душам», на базе которых данное выражение развивает переносные, метафорические значения.

- РпД — разговор о важном (даже главном): говорящий открыто, в полном объеме и без утаивания делится с собеседником важной для себя информацией (отсюда использование *по душам* для метафорической номинации допросов и пр.):

Пропажу вовремя заметили, прокурор района Николай Боткин побеседовал с девушкой по душам и сумел «расколоть» (Место преступления — прокуратура. Молодой коммунар (Тула); 12.07.2006).

- С другой стороны, РпД — это и возможность донести что-то важное до сведения собеседника, заставить его вникать, услышать себя (ср.: *Давай выйдем?*):

Приставляет нож к горлу и тянет в подъезд: пойдём, мол, дорогуша, поговорим по душам (Караван историй; 06.02.2006).

- РпД приятен — отсюда при помощи *по душам* может быть названо просто что-то доставляющее удовольствие: *еда, кофе, сигарета, стирное*:

*Никита Михалков решил **победать по душам*** (Коммерсантъ; 10.10.2005).

- РпД — общение фатическое, отсюда метафорическое использование *по душам* применительно к ситуации, когда в рабочее время служащие разговаривают, вместо того чтобы заниматься делом:

Когда я работала с московскими менеджерами, я просто умоляла их не говорить «по душам» с местными сотрудниками, а передавать информацию через меня (Комсомольская правда; 21.02.2006).

- Наконец, посредством *по душам* может быть названа попытка ухаживания или флирта:

Но если честно, «Пропанду» любят не за Санчеса, а за хорошеньких официанток, которые всегда готовы поговорить по душам и легко соглашаются на свидания после работы (Клубы, стриптиз, казино, ген! Афиша; 11.08.2000).

Появление метафор в названиях РЖ вообще является очень значимым, поскольку служит показателем переакцентуации (по Бахтину) либо вторичного РЖ; подробнее см. [Дементьев 2014].

5.3. Количественный анализ РЖ по ключевым речевым единицам (онлайн-форумы)

Продемонстрированная методика может быть успешно использована при анализе не только корпусов, но и, например, онлайн-форумов, тексты которых тоже доступны количественному анализу и обработке.

Как было показано, лексемы названия РЖ (такие как *светский*, *гламурный* и *по душам*) позволяют найти в корпусах довольно обширную рефлексию (в нашем случае — современных российских авторов СМИ) о данных жанрах, анализ которой позволяет уточнить некоторые аспекты в них.

В то же время, конечно, изучением рефлексии над РЖ не может ограничиваться речеведческое исследование, претендующее на адекватность. Если речь идет о количественном анализе с использованием корпусных методов, на первый план выходит поиск не ключевых лексем, а, так сказать, ключевых коммуникативно-речевых единиц для конкретных жанров, по которым можно осуществлять формальный поиск и подсчет.

Так, представляется, что для русского РпД (и мужского, и женского) такой ключевой фразой (не единственной) является вопрос: «**Что же на душе так хреново / погано / паршиво?**». (У нее есть вопросительные и невопросительные варианты: *Что-то на душе хреново; На душе очень хреново — что делать?*)

По форме фраза «**Что же на душе так хреново?**» — вопрос, но вопрос риторический, не предполагающий прямого ответа типа «у тебя на душе хреново, потому что...». Семантика этого «вопроса» включает жалобу, призыв к сочувствию и предполагает скорее не вполне прямой ответ типа «*что случилось?*», «*а почему?*». Но в наибольшей степени это (уже совсем не выраженное семантикой структурных элементов вопроса) **приглашение к общению** с близким по духу или настроению человеком⁵.

Форма вопроса «**Что же на душе так хреново?**» также подразумевает, что его автор сам не знает причины (ср. частотность слова *тоска* в ответах), отсюда большое разнообразие

⁵ В английском языке нет ничего подобного такой фразе ни по лексическому составу, ни по выражаемым коммуникативным смыслам, ни — тем более — по ожидаемой реакции. Реплики с семантикой жалобы, призыва к сочувствию возможны (хотя и значительно менее распространены, чем в русском): ближайшие аналоги (*Oh, God! I am feeling down; Something's getting me down; I'm down in the dumps*) по форме и семантике представляют собой констатацию состояния депрессии, плохого настроения, наиболее распространенной реакцией на которые (при условии гармоничного общения) будет *Sorry* или ободрение типа *You'll be fine* (есть вероятность также совета проконсультироваться у психолога). Естественно, после таких реакций возможность доверительного общения невелика.

возможных реакций. С этой точки зрения «более рациональный» вопрос *На душе хреново — что делать?* как будто бы значительно отличается от первой формы: прямо запрашивается совет, а о причине речь вообще не идет. Но это только формальное отличие, прагматическая семантика в обоих случаях совпадает: это жалоба, призыв к сочувствию и приглашение к доверительному *задушевному* общению, причина же (она может быть известна и иногда называется) несущественна. Показательно, что фактически не отличаются реакции на инициальные реплики обоих типов.

По этим ключевым фразам *Что же на душе так хреново?* *Что же на душе так погано?* и *Что же на душе так паршиво?* нами и был осуществлен поиск и количественный анализ ситуаций онлайн-общения в жанре РпД (поисковая система Яндекс). Было получено более 50 000 ссылок, из которых мы наугад отобрали 365 ответов (7 910 словоупотреблений) на семи тематических форумах «На душе хреново» и «Что делать, когда на душе хреново?»⁶:

Реплики участников форума (среди них были и мужчины, и женщины) — ответы на поставленный в заголовке форума вопрос — тематически разделились на несколько неравных групп. Характерно, что ответов на прямо поставленный вопрос (*у тебя на душе хреново, потому что...*) почти не было, за редким исключением (*Да потому что люди жестокие...; Потому что помидоры красные*). Единичны наводящие вопросы (*что случилось?, а почему?*) и прямые выражения сочувствия (*бедняжка!*). Три наибольшие по частотности группы могут быть охарактеризованы как кооперативные (доброжелательно-участливые), агрессивные и нейтральные.

Первую группу (от 30 до 40 % от общего объема) составили высказывания, где участники форума пытаются подбодрить адресанта, используя стереотипные выражения (*ничего, пройдет, все образуется, все будет хорошо*), дают практический совет (*посмотри хороший фильм, послушай музыку, съешь чего-нибудь вкусенького, выпей, поделись с близкими людьми*), приводят примеры из жизни или литературы / кино (как что-то помогло / не помогло справиться с плохим настроением), рассказывают веселые истории, анекдоты.

Вторую группу (около 10 %), противоположную первой, составили высказывания выраженной конфликтной или провоцирующей тональности, где авторы отводят тему, иногда насмешливо, грубо или с издевкой.

Наконец, третью, наиболее разнообразную и трудно определимую группу (от 40 до 50 %) составили нейтральные по степени кооперативности / конфликтности высказывания, где авторы отвечают симметрично (*а у меня не лучше!*), отшучиваются (*ляг, пости, и все пройдет!*), отводят тему, но не агрессивно, в отличие от второй группы (*да брось!, забей!*), либо рассказывают истории из личного опыта, делают обобщения о «жизни вообще», определить непосредственную коммуникативную цель которых (подбодрить или, наоборот, обидеть) сложно, например:

Почему жизнь складывается так, а не иначе? Почему, когда хочется плакать, мы смеемся? Как будто хотим показать, что мы сильнее, что мы справимся... Однако там внутри что-то треснуло, сломалось, больно ранит... И не хочется ничего, а только свернуться в калачик, замереть и не двигаться... но... за окнами жизнь, там свет... который, стремится проникнуть везде и туда, где темно, чтобы все осветить... этот свет со временем проникнет в тебя и будет пытаться осветить ту пустоту, что внутри, будет цепляться, пытаясь задержаться и не погаснуть... и может быть у него получится... и может быть будет жизнь... но другая... прежнего не вернуть, но все же... жить...

Причины депрессии иногда называются, иногда нет: видно, что это далеко не главное.

Показательны реакции на советы и рассуждения участников форума, откликнувшихся на вопрос: *читаю я вас и на душе как-то хорошо уже становится*)) — как видим, имелось в виду именно общение, причем фатическое.

⁶ <http://ltalk.ru/lady/162-519-mne-ochen-hrenovo-na-dushe-ne-zna-read.shtml>; http://www.pasetoz.ru/Pochemu_na_dushe_tak.htm; http://piroforum.info/fludiliwe/kogda_na_dushe_hrenovo/ и др.

Представляет интерес частотность отдельных лексем в ответах: наибольшую частотность (с большим отрывом) имеют лексемы *душа / душевный* (63 раза) и *хреново* (61 раз) (впрочем, возможно, наибольшая частотность именно данных лексем отчасти объясняется тем, что они содержались в форме вопроса), а также: *жизнь / жить* (34 раза), *вообще* (23), *говорить / поговорить / разговор* (20), *грустный / грустить* (10), *депрессия / депрессивный / депресняк* (10), *погано* (10), *друг* (9), *настроение* (8), *плохо* (7), *сердце* (5), *тоска* (5).

Таким образом, несмотря на новую «техногенную» сферу и новый формат общения (онлайн-форум), РпД проявляет себя в целом традиционно — сохраняет все лексические и прагматические доминанты, названные выше.

Заключение

Плюсом развиваемой концепции, по нашему замыслу, является то, что она позволяет сочетать построение уточненной речевых картин современности с более общим подходом, основанным на методологической модели, параметры которой дают возможность описывать и другие периоды.

Соображения как диахронического, так и кросс-культурного плана в этой статье отчасти высказывались, хотя в центре внимания оказалась именно сегодняшняя речевая современность, в результате, хочется надеяться, и удалось представить данную картину несколько точнее, а главное — создать предпосылки для будущих ее исследований в обозначенных направлениях. При этом, конечно, мы допускаем, что модель может хуже работать для других эпох: так, с трудом можем себе представить, чтобы, например, американские лингвисты рубежа XIX—XX вв. при помощи данной речевых картин модели составляли адекватные речевые картины индейских народов и племен, для изучения которых в указанный период сформировалась школа культурной антропологии.

Перекося другого плана — представление национальной (русской) речевой современности, в ущерб общей, — мы старались преодолеть, хотя отдаем себе отчет в относительности успеха. С одной стороны, привлекаемый речевой материал на русском и других языках несопоставимы в силу наших объективных возможностей. С другой стороны, наши возможности так же объективно ограничивало то, что в зарубежной лингвистике жанроведческий подход гораздо менее распространен и разработан. Упрощает же нашу задачу и дает некоторую дополнительную надежду на то, что эти ограничения могут быть преодолены, обсуждавшаяся выше глобализация современной коммуникации.

Собственно говоря, плюсы теоретического и методологического характера, которые были здесь названы, проистекают из общего типологического подхода: рассмотрение объекта (национальных языков или национальных речевых культур и их единиц) вне зависимости от происхождения, то есть генетического «родства», конкретного исторического периода, по одной схеме, на основе одного и того же символического кода (метаязыка). Конечно, это не случайно: речевых картин подход и есть в своей основе подход типологический; см. [Жанры речи 2007]. Этим же определяется и набор минусов данного подхода: дедуктивность, субъективизм в отборе параметров научной модели (но он отчасти преодолевается корпусным подходом, где выдача контекстов не может быть «подогнана» под исследовательскую гипотезу), а следовательно, нередко возникающие противоречия между моделью и конкретным материалом (как известно, их в типологии вообще тем больше, чем выше уровень изучаемых единиц, — а РЖ представляют очень высокий уровень языка / речи).

У предлагаемой модели обнаруживается еще одно ограничение: по замыслу, выделяемые в ней параметры должны адекватно представить важнейшие речевых картин особенности любой современности (например, в прошлом: современности Пушкина или Шекспира), однако на практике она преимущественно обращена к будущей, или, точнее, новой современности, для осмысления которой используется сравнение с предыдущими (при этом предполагается, что эти предыдущие периоды уже достаточно хорошо осмыслены с речевых картин точки зрения). Именно поэтому, например, описание жанров Интернета предлагается

осуществлять с опорой на понятие вторичного жанра, используя сравнение с первичными, т. е. традиционными, неинтернет-жанрами, которые, конечно, гораздо лучше изучены, а изучение лексики — названий РЖ (в том числе интернет-жанров) — с опорой на этимологию.

Конечно, вниманию читателя были предложены лишь первые шаги, отсюда — неизбежное, по-видимому, ощущение фрагментарности. В будущем необходимо рассмотреть целый ряд очень важных в данном отношении параметров/сфер, не обсуждавшихся здесь, таких как политическая коммуникация (ср. «канцелярит», который закрепляется в языке только после многих тысяч употреблений в речи: яркие примеры таких ситуаций, уже обнаруживающих несомненную жанровую системность, находим в произведениях А. Платонова, М. Зощенко, И. Бабеля 1920—1930-х гг.), художественная масс-культура (эстрадная и авторская песня, монологи сатириков, а также многочисленные жанры интернет-творчества), реклама, а также общий онтогенез языковой личности (формирование речезанровой компетенции у ребенка, появление в ней жанров, актуальных для той или иной картины современности). Это задачи на будущее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Аверинцев 1986 — Аверинцев С. С. Историческая подвижность категорий жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. М.: Наука, 1986. С. 104—116. [Averintsev S. S. Historical mobility of genre categories: an attempt of periodization. *Istoricheskaya poetika. Itogi i perspektivy izucheniya*. Moscow: Nauka, 1986. Pp. 104—116.]
- Алпатов 2007 — Алпатов В. М. Заимствования из английского языка и жанровые особенности в японском языке // Жанры речи. Вып. 5: Жанр и культура. Саратов: ИЦ Наука, 2007. С. 345—351. [Alpatov V. M. Borrowings from English and genre peculiarities in Japanese. *Zhanry rechi*. No. 5: *Zhanr i kul'tura*. Saratov: Nauka Publ. Center, 2007. Pp. 345—351.]
- Алпатов 2014 — Алпатов В. М. О двух «детских болезнях» современной лингвистики (язык, идеология, речевые жанры) // Жанры речи. 2014. № 1—2 (9—10). С. 9—15. [Alpatov V. M. About two «childhood diseases» of modern linguistics (language, ideology, speech genres). *Zhanry rechi*. 2014. No. 1—2 (9—10). Pp. 9—15.]
- Антология речевых жанров 2007 — Антология речевых жанров: повседневная коммуникация / Под ред. К. Ф. Седова. М.: Лабиринт, 2007. [*Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnyaya kommunikatsiya* [Anthology of speech genres: everyday communication]. Sedov K. F. (ed.). Moscow: Labirint, 2007.]
- Арутюнова 1992 — Арутюнова Н. Д. Жанры общения // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. М.: Наука, 1992. С. 52—56. [Arutyunova N. D. Communication genres. *Chelovecheskii faktor v yazyke. Kommunikatsiya, modal'nost', deiksis*. Moscow: Nauka, 1992. Pp. 52—56.]
- Балашова 2009 — Балашова Л. В. Номинации речевых жанров и их компонентов в современном русском языке // Жанры речи. Вып. 6: Жанр и язык. Саратов: ИЦ Наука, 2009. С. 59—79. [Balashova L. V. Names of speech genres and their components in modern Russian. *Zhanry rechi*. No. 6: *Zhanr i yazyk*. Saratov: Nauka Publ. Center, 2009. Pp. 59—79.]
- Бахтин 1996 — Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Работы 1940-х — начала 1960-х годов. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 159—206. [Bakhtin M. M. The problem of speech genres. Bakhtin M. M. *Sobraniye sochinenii: V 5 t. T. 5: Raboty 1940-kh nachala 1960-kh godov*. Moscow: Yazyki Russkoj Kul'tury, 1996. Pp. 159—206.]
- Берн 1988 — Берн Э. Игры, в которые играют люди. М.: Прогресс, 1988. [Berne E. *Igry, v kotorye igraut lyudi* [Games people play]. Moscow: Progress, 1988.]
- Бобырева 2007 — Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале православного вероучения). Волгоград: Перемена, 2007. [Bobyreva E. V. *Religiozniy diskurs: tsennosti, zhanry, strategii (na materiale pravoslavnogo veroucheniya)* [Religious discourse: values, genres, strategies (based on the Orthodox Christianity)]. Volgograd: Peremena, 2007.]
- Борисова 2001 — Борисова И. Н. Русский разговорный диалог: структура и динамика. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. [Borisova I. N. *Russkii razgovornyi dialog: struktura i dinamika* [Russian colloquial dialogue: structure and dynamics]. Ekaterinburg: Ural Univ. Publ., 2001.]
- Васильев 2005 — Васильев Л. М. Системный семантический словарь русского языка. Предикатная лексика. Уфа: Гилем, 2005. [Vasil'ev L. M. *Sistemnyi semanticheskii slovar' russkogo yazyka*.

- Predikatnaya leksika* [A systematic semantic dictionary of the Russian language. Predicate lexicon]. Ufa: Gilem, 2005.]
- Вежбицкая 1997 — Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 99—111. [Wierzbicka A. Speech genres. *Zhanry rechi*. Saratov: Kolledzh, 1997. No. 1. Pp. 99—111.]
- Вежбицкая, Годдард 2002 — Вежбицкая А., Годдард К. Дискурс и культура // Жанры речи. Вып. 3. Саратов: Колледж, 2002. С. 118—156. [Wierzbicka A., Goddard C. Discourse and culture. *Zhanry rechi*. No. 3. Saratov: Kolledzh, 2002. Pp. 118—156.]
- Горошко 2011 — Горошко Е. И. «Чирикающий» жанр 2.0 Твиттер, или Что нового появилось в виртуальном жанроведении // Вестник Тверского гос. ун-та. 2011. № 3. С. 11—21. [Goroshko E. I. «Twittering» genre 2.0 Twitter, or What's the news in genre studies. *Vestnik Tverskogo Gos. Universiteta*. 2011. No. 3. Pp. 11—21.]
- Дементьев 1997 — Дементьев В. В. Изучение речевых жанров. Обзор работ в современной русистике // Вопросы языкознания. 1997. № 1. С. 109—121. [Demyntsev V. V. The study of speech genres. A survey of works in contemporary rusistics. *Voprosy jazykoznanija*. 1997. No. 1. Pp. 109—121.]
- Дементьев 1999 — Дементьев В. В. Фатические речевые жанры // Вопросы языкознания. 1999. № 1. С. 37—55. [Demyntsev V. V. Phatic speech genres. *Voprosy jazykoznanija*. 1999. No. 1. Pp. 37—55.]
- Дементьев 2010 — Дементьев В. В. Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010. (Коммуникативные стратегии культуры). [Demyntsev V. V. *Teoriya rechevykh zhanrov* [A theory of speech genres]. Moscow: Znak, 2010. (Kommunikativnye strategii kul'tury).]
- Дементьев 2014 — Дементьев В. В. Использование методов корпусной лингвистики в изучении речевых жанров // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. «Филология. Социальные коммуникации». 2014. Т. 27 (66). № 1. Ч. 1. С. 214—222. [Demyntsev V. V. The use of corpus-based linguistics in the study of speech genres. *Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Ser. «Filologiya. Sotsial'nye kommunikatsii*». 2014. Vol. 27 (66). No. 1. Part 1. Pp. 214—222.]
- Дубровская 2010 — Дубровская Т. В. Судебный дискурс: речевое поведение судьи: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Саратов: Изд-во СГУ, 2010. [Dubrovskaya T. V. *Sudebnyi diskurs: rechevoe povedenie sud'i: Avtoref. dokt. diss.*]. Saratov: Saratov State Univ. Publ., 2010.]
- Дускаева 2012 — Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. СПб.: СПбГУ, 2012. [Duskaeva L. R. *Dialogicheskaya priroda gazetnykh rechevykh zhanrov* [Dialogical nature of the newspaper speech genres]. St. Petersburg: St. Petersburg State Univ., 2012.]
- Жанры речи 2007 — Жанры речи. Вып. 5: Жанр и культура. Саратов: ИЦ Наука, 2007. [*Zhanry rechi. Vyp. 5: Zhanr i kul'tura* [Speech genres. No. 5: Genre and culture]. Saratov: Nauka Publ. Center, 2007.]
- Жанры речи 2011 — Жанры речи. Вып. 7: Жанр и языковая личность. Саратов: ИЦ Наука, 2011. [*Zhanry rechi. Vyp. 7: Zhanr i yazykovaya lichnost'* [Speech genres. No. 7: Genre and linguistic personality]. Saratov: Nauka Publ. Center, 2011.]
- Зализняк 2010 — Зализняк А. А. Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 162—181. [Zaliznyak A. A. Diary: towards the definition of a genre. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 2010. No. 106. Pp. 162—181.]
- Карасик 2013 — Карасик В. И. Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2013. [Karasik V. I. *Yazykovaya matritsa kul'tury* [Linguistic matrix of culture]. Moscow: Gnozis, 2013.]
- Китайгородская, Розанова 2010 — Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Языковое существование современного горожанина: На материале языка Москвы. М.: Языки славянских культур, 2010. [Kitaigorodskaya M. V., Rozanova N. N. *Yazykovoe sushchestvovanie sovremennogo gorozhanina: Na materiale yazyka Moskvy* [Linguistic existence of the modern citizen: based on the language of Moscow]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2010.]
- Кожина 1999 — Кожина М. Н. Речевой жанр и речевой акт (некоторые аспекты проблемы) // Жанры речи. Вып. 2. Саратов: Колледж, 1999. С. 52—61. [Kozhina M. N. Speech genre and speech act (some aspects of the problem). *Zhanry rechi*. No. 2. Saratov: Kolledzh, 1999. Pp. 52—61.]
- Кон 1988 — Кон И. С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1988. [Kon I. S. *Vvedenie v seksologiyu* [Introduction to sexology]. Moscow: Meditsina, 1988.]
- Копотев, Мустайоки 2008 — Копотев М., Мустайоки А. Современная корпусная русистика // Инструментарий русистики: корпусные подходы. Хельсинки: Helsinki Univ. Press, 2008. С. 7—24. (Slavica Helsingiensia. № 34.) [Kopotev M., Mustajoki A. Contemporary corpus-based Russian linguistics. *Instrumentarii rusistiki: korpusnye podkhody*. Helsinki: Helsinki Univ. Press, 2008. Pp. 7—24. (Slavica Helsingiensia. No. 34.)]

- Кронгауз 2009 — Кронгауз М. Публичная интимность // Знамя. 2009. № 12. С. 162—167. [Krongauz M. Public privacy. *Znamya*. 2009. No. 12. Pp. 162—167.]
- Лебедева 2007 — Лебедева Н. Б. Жанры естественной письменной речи // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. М.: Лабиринт, 2007. С. 116—123. [Lebedeva N. B. Genres of natural written speech. *Antologiya rechevykh zhanrov: povsednevnyaya kommunikatsiya*. Moscow: Labirint, 2007. Pp. 116—123.]
- Лотман 1994 — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: Искусство — СПб., 1994. [Lotman Yu. M. *Besedy o russkoi kul'ture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva (XVIII — nachalo XIX veka)* [Conversations about the Russian culture: life and traditions of the Russian nobility (18th — the beginning of the 19th centuries)]. St. Petersburg: Iskustvo — St. Petersburg, 1994.]
- Олешков 2012 — Олешков М. Ю. Педагогический дискурс: Учеб. пособие для студентов вузов. Нижний Тагил: Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2012. [Oleshkov M. Yu. *Pedagogicheskii diskurs: Ucheb. posobie dlya studentov vuzov* [Pedagogical discourse: A manual for universities and colleges]. Nizhni Tagil: Nizhni Tagil State Social-Pedagogical Academy, 2012.]
- Орлова 1997 — Орлова Н. В. Жанры разговорной речи и их «стилистическая обработка». К вопросу о соотношении стиля и жанра // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 51—56. [Orlova N. V. Genres of colloquial speech and their «stylistic processing». Towards the correlation of style and genre. *Zhanry rechi*. Saratov: Kolledzh, 1997. No. 1. Pp. 51—56.]
- Палашевская 2012 — Палашевская И. В. Судебный дискурс: функции, структура, нарративность: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Волгоград: ВГПУ, 2012. [Palashevskaya I. V. *Sudebnyi diskurs: funktsii, struktura, narrativnost': Avtoref. dokt. diss.* [Legal discourse: functions, structure, narrativity: Author's abstract of the doct. diss.]. Volgograd: Volgograd State Pedagogical Univ., 2012.]
- Покровская и др. 2011 — Покровская Е. А., Дудкина Н. В., Кудинова Е. В. Речевые жанры в диалоге культур. Ростов-на-Дону: Foundation, 2011. [Pokrovskaya E. A., Dudkina N. V., Kudinova E. V. *Rechevye zhanry v dialoge kul'tur* [Speech genres in the dialogue of cultures.]. Rostov-na-Donu: Foundation, 2011.]
- Пономаренко 2011 — Пономаренко Е. А. Речевые жанры в медицинском дискурсе (в произведениях русских писателей-врачей). Симферополь: Дом Писателей им. Домбровского, 2011. [Ponomarenko E. A. *Rechevye zhanry v meditsinskoi diskurse (v proizvedeniyakh russkikh pisatelei-vrachei)* [Speech genres in the medical discourse (in the texts of Russian doctor writers)]. Simferopol': Dombrovsky Writers' House, 2011.]
- Ратмайр 2013 — Ратмайр Р. Русская речь и рынок. Традиции и инновации в деловом и повседневном общении. М.: Языки славянских культур, 2013. [Rathmayr R. *Russkaya rech' i rynek. Traditsii i innovatsii v delovom i povsednevnom obshchenii* [Russian speech and the market. Traditions and innovations in business and everyday communication]. Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2013.]
- Рогачева 2011 — Рогачева Н. Б. Структура и функционирование вторичных речевых жанров интернет-коммуникации (на материале русского и английского языков): Дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Изд-во СГУ, 2011. [Rogacheva N. B. *Struktura i funktsionirovanie vtorichnykh rechevykh zhanrov internet-kommunikatsii (na materiale russkogo i angliiskogo yazykov): Kand. diss.* [Structure and functioning of secondary speech genres of Internet communication (based on the material of Russian and English): Cand. diss.]. Saratov: Saratov State Univ. Publ., 2011.]
- Рождественский 1978 — Рождественский Ю. В. О правилах ведения речи по данным пословиц и поговорок // Паремнологический сборник. М.: Наука, 1978. С. 211—230. [Rozhdestvenskii Yu. V. The rules of conducting speech, according to proverbs and sayings. *Paremiologicheskii sbornik*. Moscow: Nauka, 1978. Pp. 211—230.]
- Русский язык 1996 — Земская Е. А. (ред.). Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М.: Языки русской культуры, 1996. [Russkii yazyk kontsa XX stoletiya (1985—1995) [The Russian language of the end of the 20th century (1985—1995)]. Zemskaya E. A. (ed.). M.: Yazyki Russkoi Kul'tury, 1996.]
- Салимовский 2002 — Салимовский В. А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении (научный академический текст). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. [Salimovskii V. A. *Zhanry rechi v funktsional'no-stilisticheskom osveshchenii (nauchnyi akademicheskii tekst)* [Speech genres in the functional-stylistic light (scientific academic text)]. Perm': Perm Univ. Publ., 2002.]
- Седов 2006 — Седов К. Ф. Жанры коммуникации: болтовня, светская беседа, разговор по душам // Проблемы речевой коммуникации. Вып. 6. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2006. С. 85—97. [Sedov K. F. Genres of «idle speech» communication: idle talk, exchange of courtesies, heart-to-heart conversation. *Problemy rechevoi kommunikatsii*. No. 6. Saratov: Saratov Univ. Publ., 2006. Pp. 85—97.]

- Седов 2011 — Седов К. Ф. Речевая идентичность как компонент коммуникативной компетенции личности // *Жанры речи*. Вып. 7: Жанр и языковая личность. Саратов: ИЦ Наука, 2011. С. 25—47. [Sedov K. F. Speech genre identity as a component of a person's communicative competence. *Zhanry rechi*. No. 7: *Zhanr i yazykovaya lichnost'*. Saratov: Nauka Publ. Center, 2011. Pp. 25—47.]
- Сиротинина 2013 — Сиротинина О. Б. Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. [Sirotnina O. B. *Russkii yazyk: sistema, uzus i sozdavaemye imi riski* [The Russian language: system, usage and the risks created by them]. Saratov: Saratov Univ. Publ., 2013.]
- Скляревская 2001 — Скляревская Г. Н. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия. М.: Изд-во Астрель, 2001. [Sklyarevskaya G. N. *Tolkovyi slovar' sovremennogo russkogo yazyka. Yazykovye izmeneniya kontsa XX stoletiya* [An explanatory dictionary of Modern Russian. Language changes of the end of the 20th century]. Moscow: Astrel' Publ., 2001.]
- Современный русский язык 2008 — Крысин Л. П. (ред.). Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX—XXI веков. М.: Языки славянских культур, 2008. [Sovremenniy russkii yazyk: *Aktivnye protsessy na rubezhe XX—XXI vekov* [Modern Russian: Active processes at the turn of the 21st century]. Krysin L. P. (ed.). Moscow: Yazyki Slavyanskikh Kul'tur, 2008.]
- Старобинский 2002 — Старобинский Ж. Поэзия и знание: История литературы и культуры. Т. 1. М.: Языки славянской культуры, 2002. [Starobinski J. *Poeziya i znanie: Istoriya literatury i kul'tury* [Poetry and knowledge: History of literature and culture]. Vol. 1. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2002.]
- Стернин 1996 — Стернин И. А. Светское общение. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. [Sternin I. A. *Svetskoe obshchenie* [Small talk]. Voronezh: Voronezh State Univ. Publ., 1996.]
- Федосюк 1997 — Федосюк М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // *Вопросы языкознания*. 1997. № 5. С. 102—120. [Fedosjuk M. Ju. Unsolved problems of the theory of speech genres. *Voprosy jazykoznanija*. 1997. No. 5. Pp. 102—120.]
- Фенина 2005 — Фенина В. В. Речевые жанры small talk и светская беседа в англо-американской и русской культурах: Дис. ... канд. филол. наук. Саратов: Изд-во СГАП, 2005. [Fenina V. V. *Rechevye zhanry small talk i svetskaya beseda v anglo-amerikanskoi i russkoi kul'turakh: Kand. diss.* [Small talk and social conversation speech genres in the English-American and Russian cultures. Cand. diss.]. Saratov: Saratov State Academy of Law Publ., 2005.]
- Шейгал 2004 — Шейгал Е. И. Семантика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. [Sheigal E. I. *Semiotika politicheskogo diskursa* [Semiotics of the political discourse]. Moscow: Gnozis, 2004.]
- Шерстяных 2013 — Шерстяных И. В. Теория речевых жанров: Лекционно-практический курс для магистрантов. М.: Флинта: Наука, 2013. [Sherstyanykh I. V. *Teoriya rechevykh zhanrov: Lektsionno-prakticheskii kurs dlya magistrantov* [A theory of speech genres. Lectures and practical course for graduate students]. Moscow: Flinta: Nauka, 2013.]
- Шеффер 2010 — Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр? М.: Едиториал УРСС, 2010. [Sheffer Zh.-M. *Chto takoe literaturnyi zhanr?* [What is literary genre?] Moscow: Editorial URSS, 2010.]
- Шмелева, Шмелев 2002 — Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Русский анекдот: текст и речевой жанр. М.: Языки славянской культуры, 2002. [Shmeleva E. Ya., Shmelev A. D. *Russkii anekdot: tekst i rechevoi zhanr* [Russian anecdote: text and speech genre]. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2002.]
- Шмелева Т. 1997 — Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // *Жанры речи*. Вып. 1. Саратов: Колледж, 1997. С. 88—98. [Shmeleva T. V. A model of speech genre. *Zhanry rechi*. No. 1. Saratov: Kolledzh, 1997. Pp. 88—98.]
- Шмелева Т. 2012 — Шмелева Т. В. Жанр в современной медиасфере // *Жанры речи*. Вып. 8: Жанр и творчество. Саратов; М.: Лабиринт, 2012. С. 26—37. [Shmeleva T. V. Genre in modern mediasphere. *Zhanry rechi*. No. 8: *Zhanr i tvorchestvo*. Saratov; Moscow: Labirint, 2012. Pp. 26—37.]
- Щипицина 2009 — Щипицина Л. Ю. Жанры компьютерно-опосредованной коммуникации. Архангельск: Поморский университет, 2009. [Shchipsitsina L. Yu. *Zhanry komp'yuterno-oposredovannoi kommunikatsii* [Genres of computer-mediated communication]. Arkhangel'sk: Pomor'e Univ., 2009.]
- Щурина 2012 — Щурина Ю. В. Вторичные комические речевые жанры интернет-коммуникации // *Коммуникация. Мышление. Личность: Матер. междунар. науч. конф., посвященной памяти профессоров И. Н. Горелова и К. Ф. Седова*. Саратов: ИЦ Наука, 2012. С. 464—474. [Shchurina Yu. V. Secondary comic speech genres of Internet communication. *Kommunikatsiya. Myshlenie. Lichnost'*: *Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi pamyati professorov I. N. Gorelova i K. F. Sedova*. Saratov: Nauka Publ. Center, 2012. Pp. 464—474.]
- Язык о языке 2000 — Язык о языке / Под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. [Yazyk o yazyke [Language about language]. Arutyunova N. D. (advisor and ed.). Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury, 2000.]

- Abrahams 1974 — Abrahams R. D. Black talking on the streets. *Explorations in the ethnography of speaking*. Chapter IV: Speech acts, events, and situations. New York: Cambridge Univ. Press, 1974. Pp. 240—262.
- Adamzik 1995 — Adamzik K. *Textsorten — Texttypologie. Eine kommentierte Bibliographie*. Münster: Nodus Publ., 1995. (Studium Sprachwissenschaft. 12.)
- Coupland 2000 — Coupland J. (ed.). *Small talk*. Harlow: Longman, 2000.
- Dönninghaus 2001 — Dönninghaus S. Sprechakt und Kommunikationsgenre. (Theoretische Aspekte der sprachlichen Interaktion.) *Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (PolySlav)*. Bd 4. München: Otto Sagner, 2001. S. 69—79.
- Dönninghaus 2005 — Dönninghaus S. *Die Vagheit der Sprache: Begriffsgeschichte und Funktionsbeschreibung anhand der tschechischen Wissenschaftssprache (Slavistische Studienbücher. Neue Folge)*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005.
- Fix 2008 — Fix U. *Texte und Textsorten — sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene*. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2008.
- Gatunki mowy 2000—2007 — *Gatunki mowy i ich ewolucja*. Pod red. D. Ostaszewskiej. T. 1: *Mowy piękno wielorakie*. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000; T. 2: *Tekst a gatunek*. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004; T. 3: *Tekst a odmiany funkcjonalne*. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007.
- Hanks 2000 — Hanks W. F. Dialogic conversions and the field of missionary discourse in Colonial Yucatan. *Les Rituels du Dialogue*. Monod Becquelin A., Erikson P. (eds). Nanterre: Société d'Ethnologie, 2000. Pp. 235—254.
- Herring 2007 — Herring S. C. A faceted classification scheme for computer-mediated discourse. *Language@Internet*. 2007. No 4.
- Integrum 2006 — *Integrum: точные методы и гуманитарные науки*. М.: Летний сад, 2006. [*Integrum: tochnye metody i humanitarnye nauki* [Integrum: precise methods and the humanities]. Moscow: Letniy Sad, 2006.]
- Kitzmann 2006 — Kitzmann A. *Hypertext handbook: The straight story*. New York: Peter Lang, 2006.
- Lakoff 2001 — Lakoff R. *The Language war*. Berkeley: Univ. of California Press, 2001.
- Lakoff 2006 — Lakoff R. Identity à la carte: You are what you eat. *Discourse and identity*. De Fina A., Schiffrin D., Bamberg M. (eds). Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006. Pp. 142—165.
- Mustajoki 2013 — Mustajoki A. Title risks of miscommunication in various speech genres. *Understanding by communication*. Borisova E., Souleimanova O. (eds). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. Pp. 33—53.
- Swales 1990 — Swales J. M. *Genre analysis: English in academic and research settings*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
- Tannen 2010 — Tannen D. Abduction and identity in family interaction: Ventriloquizing as indirectness. *Journal of pragmatics*. 2010. Vol. 42. No. 2. Pp. 307—316.
- Wierzbicka 2006 — Wierzbicka A. Anglo scripts against 'putting pressure' on other people and their linguistic manifestations. *Ethnopragmatics: Understanding discourse in cultural context*. Goddard C. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. Pp. 31—63.
- Witosz 2005 — Witosz B. *Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki*. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.
- Wojtak 2011 — Wojtak M. *Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne*. Tarnów: Biblos, 2011. (Teolingwistyka, t. 9.)

Статья поступила в редакцию 08.11.2014.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY. REVIEWS**ОБЗОРЫ / OVERVIEWS****ТЕОРИЯ ГРАММАТИКИ В СВЕТЕ ФАКТОВ ЯЗЫКА КАЯДИЛТ***

© 2015 г. **Петр Михайлович Аркадьев**

Институт славяноведения РАН, Москва, 119991, Россия; Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 125993, Россия; Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Москва, 109240, Россия
peterarkadiev@yandex.ru

В работе рассматриваются основные особенности грамматики австралийского языка каядилт (Kayardild), характеризующегося типологически уникальной системой множественного маркирования грамматических значений. Особое внимание уделяется разбору монографии Э. Раунда «Морфология и синтаксис языка каядилт» (2013) как примера эмпирически-ориентированного формализованного описания морфосинтаксиса, в значительной степени переосмысляющего более раннюю трактовку фактов этого языка. Показывается значимость данных каядилта, а также методологии его описания для типологии и общей теории языка.

Ключевые слова: австралийские языки, каядилт, типология, теория языка, множественное маркирование, падеж, согласование, формальные методы в лингвистике

**GRAMMATICAL THEORY
IN THE LIGHT OF THE KAYARDILD DATA**

Peter M. Arkadiev

Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119991, Russia; Russian State University for the Humanities, Moscow, 125993, Russia; Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Moscow, 109240, Russia
peterarkadiev@yandex.ru

This review article presents the basic characteristics of the grammar of Kayardild, an Australian language possessing a typologically unique system of multiple marking of morphosyntactic features. The paper focuses on the recent book by E. Round «Kayardild morphology and syntax» (2013), which is an example of empirically oriented formalized description of morphosyntax largely revising the previous analyses of this language. The significance of the data of Kayardild as well as of the methodology of its analysis for linguistic typology and theory is demonstrated.

* Рисунки 1, 2, 4, 5 воспроизводятся с разрешения © Oxford University Press из монографии: Round E. *Kayardild Morphology and Syntax*. Oxford: Oxford University Press, 2013 (fig. 2.2, p. 34; fig. 4.2, p. 81; fig. 5.3, p. 114; fig. 6.2, p. 133), дальнейшее использование возможно только с разрешения Oxford University Press.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14-04-00580. Я благодарю Н. Эванса, Э. Раунда и В. А. Плуныя за помощь на разных этапах работы.

Keywords: Australian aboriginal languages, Kayardild, typology, linguistic theory, multiple marking, case, concord, formal methods in linguistics

Введение

В последние полстолетия языки аборигенов Австралии, большая часть которых находится на грани (или уже за гранью) вымирания, не только привлекали значительный интерес исследователей, но и служили важными стимулами для развития лингвистической теории. Так, работы Р. Диксона о языке д и р б а л [Dixon 1972], несмотря на дискуссионность их выводов (см. критический разбор в статье [Heath 1979]), дали толчок современной типологии эргативности, а материал языка в а л ь б и р и (см. [Nash 1980; Hale 1981; 1983; Simpson 1983; Jelinek 1984] и множество последующих работ) лег в основу концепций неконфигурационности и местоименных аргументов (см. также [Heath 1986; Austin, Bresnan 1996]). Подобные примеры из самых разных областей лингвистики можно умножить.

Одним из австралийских языков, материал которого в значительной степени расширил представления лингвистов о пределах возможного в человеческих языках и сыграл важную роль в развитии теории, несомненно, является описанный выдающимся австралийским типологом Н. Эвансом [Evans 1985; 1995a] язык к а я д и л т (Kayardild¹), входящий, наряду с языками ладил (Lardil), югулда (Yukulta), нгубуринди (Nguburindi) и янгкал (Yangkaal), в небольшую тангкскую (Tangkic) семью, распространенную на материке и прилегающих островах на юге залива Карпентария в северо-восточной Австралии. Наиболее яркая и не имеющая прямых параллелей в других языках (по крайней мере, за пределами Австралии) черта грамматики каядилта — последовательная многоярусная система так называемого *Suffixaufnahme* [Plank (ed.) 1995; Evans 1995b], т. е. выражения на зависимом имени не только падежа, индуцированного его непосредственной синтаксической вершиной, но и падежа объемлющей составляющей.

В каядилте, в отличие от многих языков мира, где *Suffixaufnahme* ограничен именными группами (ИГ) с генитивными определениями, зависимые словоформы несут показатели, фактически отражающие всю «деривационную историю» предложения, в частности глагольные категории вида, времени, модальности и отрицания, а также независимый или подчиненный статус предикации, причем порядок этих показателей, как правило, иконически отражает уровни вложения синтаксических структур. Пример (1) наглядно иллюстрирует, как последовательное «наращение» синтаксической структуры сопровождается столь же последовательной аффиксацией падежных (по крайней мере, согласно грамматике Н. Эванса) показателей:

- (1) a. *dangka-karra mijil-da*
 человек-GEN сеть-NOM
 ‘сеть (этого) мужчины’ (сконструировано на основе [Evans 1995a: 115, 732])
- b. *dangka-karra-nguni mijil-nguni*
 человек-GEN-INSTR сеть-INSTR
 ‘сетью мужчины’ [Ibid.: 115]
- c. *maku yalawu-jarra yakuri-na dangka-karra-nguni-na mijil-nguni-na*
 женщина поймать-PRST рыба-ABL человек-GEN-INSTR-ABL сеть-INSTR-ABL
 ‘Женщина поймала рыбу сетью мужчины’ [Ibid.]

¹ Встречающаяся к русскоязычным работам (в том числе в перечне языков мира в учебнике [Бурлак, Старостин 2005: 364—366]) «буквальная» транслитерация английских названий австралийских языков (например, «каядилд»), записываемых в соответствии с рядом условных конвенций (так, сочетания *g + t, d, n, l* обозначают ретрофлексные согласные (МФА *ʈ, ɖ, ɳ, ʎ*), *a t, d, n + h* — дентальные смычные (МФА *ʈ̪, ɖ̪, ɳ̪*), в отличие от альвеолярных, записываемых с помощью простых *t, d, n*), лишь вводит в заблуждение. Пользуясь случаем, я благодарю Н. Эванса за консультацию о том, как следует корректно передавать на русском языке лингвоним Kayardild.

- (1) d. *maku-ntha yalawu-jarra-ntha yakuri-naa-ntha*
 женщина-OBL поймать-PST-OBL рыба-ABL-OBL
dangka-karra-nguni-naa-ntha mijil-nguni-naa-nth.
 человек-GEN-INSTR-ABL-OBL сеть-INSTR-ABL-OBL
 ‘Женщина, должно быть, поймала рыбу сетью мужчины’ [Ibid.].

Наиболее необычно выглядят примеры (1c) и (1d), в которых показатели, глоссированные как «аблатив» (-*na*) и «обликвус» (-*ntha*), присоединяются поверх суффиксов «классических» падежей и указывают не на функцию той или иной ИГ в составе предложения, как показатель инструменталиса (-*nguni*), а на категории клаузы — время и эпистемическую модальность. При этом если дистрибуция аблатива ограничена составляющими глагольной группы и не включает ни номинативный субъект, ни сказуемое, то показатель обликвуса маркирует вообще все без исключения словоформы предложения. Трактовка Н. Эвансом указанных показателей как падежных обусловлена тем, что эти морфемы или их позиционно обусловленные алломорфы могут выступать и в «нормальных» падежных функциях, ср. примеры (2) и (3):

- (2) *mutha-na dulk-ina jani-ja maku-wala niwan-ju.*
 многой-ABL место-ABL искать-ACT женщина-много(NOM) 3SG-PROP
 ‘Много женщин (пришло) из многих мест искать его’ [Evans 1995a: 143].
- (3) *dathin-a dangka-a mulurr-a niwan-inja maku-nth.*
 этот-NOM человек-NOM ревнивый-NOM 3SG-OBL жена-OBL
 ‘Этот человек ревнует свою жену’ [Ibid.: 149].

Приведенный небольшой фрагмент грамматики каядилта поражает, с одной стороны, сложностью и избыточностью морфологического маркирования, а с другой — несомненной логичностью и прозрачностью связи между этим маркированием и последовательно иерархической синтаксической структурой. Если для многих языков Австралии с их развитыми падежными системами и практически ничем не ограниченной свободой порядка слов предлагался анализ в терминах «плоской» синтаксической структуры (см., например, [Hale 1981; 1983] о языке вальбири), то каядилт, напротив, демонстрирует, причем во многом гораздо нагляднее, чем привычные «конфигурационные» языки вроде английского, существование весьма жесткого многоуровневого синтаксического каркаса.

Фактически основная особенность морфосинтаксиса каядилта описывается двумя простыми правилами [Evans 1995a: 105—106]:

- (4) a. Морфосинтаксический признак, характеризующий определенную составляющую, морфологически выражается (при отсутствии конфликтующих факторов) на всех элементах этой составляющей;
- b. Если показатели X и Y выражают морфосинтаксические признаки, связанные с синтаксическими категориями X' и Y' соответственно, то X следует за Y в цепочке суффиксов в том случае, когда X' синтаксически доминирует над Y'.

Вообще говоря, такого рода правила в том или ином виде представлены во многих языках мира (в частности, во всех, где хотя бы какие-то составляющие ИГ согласуются с ее вершиной по падежу), и необычность каядилта состоит, во-первых, в последовательности проведения этого принципа через всю грамматическую систему и, во-вторых, в том, что в число релевантных морфосинтаксических признаков входят, например, глагольные категории, получающие тем самым «согласовательное» выражение на зависимых элементах предложения (о возможностях трактовки множественного маркирования в каядилте как согласования и связанных с этим проблемах см. работы [Evans 2003; Corbett 2006: 138—140; Kibort 2010]).

В связи с этим не вызывает удивления, что после выхода в свет подробной грамматики [Evans 1995a], содержащей, помимо детального синхронного анализа, также основанные на сопоставлении с родственными языками сравнительно-исторические гипотезы о генезисе морфосинтаксических особенностей каядилта, данные этого языка неоднократно обсуждались в типологических и теоретических работах самых разных направлений, см.,

в частности, [Evans 1995b; 2003; Andrews 1996; Nordlinger 1998; Börjars, Vincent 2000; Evans, Nordlinger 2004; Merchant 2006; Nordlinger, Sadler 2006; Kibort 2010; 2011]. Все указанные публикации опирались на материал, опубликованный Н. Эвансом, и в той или иной степени следовали предложенному в его грамматике анализу.

Значительным шагом вперед в документации и анализе языка каядилт стали основанные на новейших полевых данных работы Э. Раунда — его объемная диссертация [Round 2009] и написанная на ее основе компактная монография [Round 2013], являющаяся основным объектом обсуждения в настоящей работе. Поскольку один из важнейших результатов книги Э. Раунда — уточнение описания Н. Эванса и во многом коренной пересмотр его анализа, разговор о ней невозможен вести без предварительного изложения основных аспектов грамматики каядилта в трактовке Эванса. Толчком же к написанию настоящего обзора послужил не только личный интерес автора к австралийским языкам и языку каядилт в частности, но и убежденность в том, что данные каядилта и предлагаемый в книге Э. Раунда их анализ являются в высшей степени поучительными для всех, кто интересуется лингвистической типологией и общей теорией языка.

Дальнейшая структура обзора такова. В § 1 я изложу разработанную на материале австралийских языков теорию падежных функций, которая имеет первостепенное значение как для дальнейшего обсуждения, так и, по моему мнению, для типологических и теоретических подходов к падежу. В § 2 я остановлюсь на ряде основных особенностей каядилта согласно грамматике Н. Эванса, а § 3 будет целиком посвящен разбору монографии Э. Раунда. Статья завершается обсуждением ряда общетеоретических вопросов, которые ставят рассматриваемый материал и его анализ.

1. Типология падежных функций А. Денча и Н. Эванса и множественное падежное маркирование

Из всех крупных языковых ареалов Австралия, пожалуй, самый богатый падежами. Лишь в одной из нескольких десятков языковых семей континента эта категория вовсе отсутствует, а в большинстве австралийских языков, вне зависимости от того, насколько развито в них вершинное маркирование синтаксических отношений в глагольном комплексе, падежные граммы весьма многочисленны, см. [Blake 1977; Dixon 2004: Ch. 5; Nordlinger 2014]. Тем самым, несмотря на то, что традиционные концепции падежа основываются в первую очередь на, вообще говоря, весьма идиосинкратических системах индоевропейских языков, очевидно, что никакая современная типологически ориентированная теория падежа не может не опираться самым существенным образом на данные языков Австралии².

Одна из ярчайших особенностей австралийских падежных систем, ни в каком другом ареале, по-видимому, не представленная в таком объеме и с такой последовательностью, — множественное падежное маркирование, уже упоминавшееся выше под названием *Suffixaufnahme*. Сущность этого явления, как мы видели выше на примере каядилта, состоит в том, что онтологически различные (в частности, соответствующие разным уровням синтаксической структуры) функции падежей выражаются не взаимоисключающим либо кумулятивным образом, как в значительной части языков мира, но с помощью синтагматического сочетания различных падежных показателей. Именно множественному падежному маркированию посвящена ставшая классической статья [Dench, Evans 1988], в которой на материале австралийских языков была предложена оригинальная, хотя до сих пор и не получившая заслуженного распространения за пределами австралийской традиции типология падежных функций (см. также [Austin 1995; Dench 2006; 2009]).

А. Денч и Н. Эванс выделяют следующие типы падежных функций (предложенная ими таксономия приводится в порядке, соответствующем расширению синтаксической области,

² В этой связи представляется совершенно не случайным, что первый в лингвистике учебник, посвященный падежу [Blake 1994], был написан именно специалистом по австралийским языкам.

в рамках которой реализуются падежные функции): **применная** (adnominal), маркирующая ИГ как входящую в состав другой ИГ; **реляционная** (relational), выражающая семантико-синтаксическую роль ИГ в предложении; **референциальная** (referential), маркирующая ИГ как семантически относящуюся к другой ИГ, непосредственно с нею не связанной синтаксически (типичным контекстом для референциального падежа являются различные вторичные предикаты), ср. пример (5); **модальная** (modal), выражающая на зависимых грамматические признаки уровня клаузы, такие как вид, время, модальность и т. п., ср. пример (6); **ассоциирующая** (associating), которая маркирует ИГ-аргументы номинализованного или вообще нефинитного сказуемого, ср. пример (7); и, наконец, **подчинительная** (complementizing), маркирующая клаузу целиком как зависимую, ср. пример (8)³.

вальбири < пама-ньонга [Hale 1982: 268]: референциальный падеж

- (5) a. *ngarrka-ngku=ka yankirri luwa-rni ngapa-ngka-rlu.*
 человек-ERG=PRS эму стрелять-NPST вода-LOC-ERG
 ‘Человек стреляет в эму, <находясь> у воды’.
- b. *ngarrka-ngku=ka=rla=jinta yankirri-ki luwa-rni ngapa-ngka-ku.*
 человек-ERG=PRS=3SG.DAT=3SG.DAT эму-DAT стрелять-NPST вода-LOC-DAT
 ‘Человек стреляет в эму, <находящегося> у воды’.

каядилт: модальный падеж

- (6) a. *ngada warra-ja ngarn-kir.*
 я:НОМ идти-АСТ берег-ALL
 ‘Я иду на берег’ [Evans 1995a: 107].
- b. *ngada warra-ja ngarn-kiring-ku.*
 я:НОМ идти-ПОТ берег-ALL-MPROP
 ‘Я пойду на берег’ [Ibid.: 108].
- c. *ngada warra-jarra ngarn-kiring-kina.*
 я:НОМ идти-РСТ берег-ALL-MABL
 ‘Я пошел на берег’ [Ibid.].
- d. *ngada warra-da ngarn-kiring-inj.*
 я:НОМ идти-ДЕС берег-ALL-MOBL
 ‘Я бы хотел пойти на берег’ [Ibid.].

дивали < пама-ньонга [Austin 1998: 13]: ассоциирующий падеж

- (7) *kanya-ma-rni pulangkiti [ngapa-ru yurlu juma-rla]!*
 нести-IMP-PTCL одеяло укрыть-PURP.SS ЭТОТ:АALL ребенок-АALL
 ‘Принеси одеяло, чтобы укрыть этого ребенка!’

паньтима < пама-ньонга [Dench, Evans 1988: 35]: подчинительный падеж

- (8) *ngatha pilanyajayi-nha [nyinku mirta-yu paka-rnu-ku*
 я:НОМ испуганный-РСТ ты:СНАР нет-САСС прийти-REL-САСС
ngalimpa-tharntu-karta-ku yurlu-karta-ku].
 мы.с.тобой-GEN-ALL-САСС лагерь-ALL-САСС
 ‘Я боялся, что ты не придешь в наш лагерь’.

Несмотря на то что выделенные А. Денчем и Н. Эвансом на австралийском материале падежные функции, за исключением применной и реляционной, могут показаться читателю, привыкшему к языкам Евразии, «экзотическими», я полагаю, что рассматриваемая таксономия является универсальной и может быть использована при анализе самых разных языков, в том числе индоевропейских (см. об этом, например, [Arkadiev 2013; 2014; Аркадьев 2014]). Действительно, примером референциального падежа может служить согласование вторичных предикатов и плавающих определителей с контролером в примерах

³ Здесь и далее, в соответствии со сложившейся после работы [Dench, Evans 1988] традицией, в глоссах к сокращенным обозначениям падежей добавляются префиксы м «модальный», а «ассоциирующий» и с «подчинительный».

вроде (9), см. [Matushansky 2008; 2010; 2012]. В качестве проявлений модального падежа можно рассматривать объектный родительный падеж при отрицании, особенно в языках вроде польского или литовского, где, в отличие от русского, замена аккузатива на генитив обязательна, или распространенные во многих языках альтернативы падежного оформления актантов в зависимости от видо-временной формы сказуемого, как, например, в мегрельском языке (10). Как ассоциирующий можно рассматривать творительный агенса при номинализациях (11а) или датив субъекта инфинитива (11б) в русском языке. Наконец, представленные в ранних индоевропейских языках «абсолютные» причастные обороты вроде древнерусского примера «дательного самостоятельного» в (12), как кажется, являются не чем иным, как проявлением подчинительного падежа.

- русский: референциальный падеж
- (9) а. *Дети вернулись домой **веселые**.*
 б. *Я никогда не встречал **Машу** на улице **одну**.*
- мегрельский < картвельские [Harris 1991: 365—366]: модальный падеж
- (10) а. ***тита** arzen-s cxen-s skua-s.*
 отец(НОМ) дать-3SG.SBJ.PRS лошадь-DAT ребенок-DAT
 ‘Отец дает лошадь сыну’.
- б. ***тита-к** cxen-i ki-me-č-u skua-s.*
 отец-NAR лошадь-НОМ PVB-PVB-дать-3SG.SBJ.AOR ребенок-DAT
 ‘Отец дал лошадь сыну’.
- русский: ассоциирующий падеж
- (11) а. *исполнение арии **Шаляпиным***
 б. *Ты ведь привез слишком много новостей, [чтобы **нам** выслушивать их в спешке]...* [НКРЯ].
- древнерусский: подчинительный падеж
- (12) *и поиде на бра[та] на своего на Кондрата к городу ко Ъздову, **Кондратови** же не **бывишу** тогда в городѣ*
 [Волынская летопись 883: 10, цит. по НКРЯ].

Основное различие между падежными системами австралийских языков с множественным падежным маркированием и более привычными нам системами индоевропейских языков состоит в том, что в последних каждая словоформа, вообще способная выражать падеж, может принимать лишь единственный падежный показатель за раз, что приводит к весьма ограниченной возможности реализации различных падежных функций: фактически выражение падежной функции, связанной с более узкой синтаксической областью (например, реляционного падежа), делает невозможным выражение падежной функции, возникающей на более высоком уровне синтаксической деривации (например, подчинительного падежа). Таким образом, функционально гетерогенный и отражающий синтаксическую иерархию характер падежа, по крайней мере в некоторых австралийских языках проявляющийся в поверхностной морфологии, в большинстве языков мира является латентным и реализуется лишь в альтернативах падежного маркирования, почти всегда весьма ограниченных (ср. [Erschler 2009]).

Весьма наглядно это иллюстрирует сопоставление русского языка с языком ладил, приведенное в статье [Richards 2013]. Как уже было сказано, генитив отрицания в русском и ряде других языков можно трактовать как частный случай модального падежа; важное свойство этого явления состоит в том, что замена на генитив допускается лишь для структурных падежей — аккузатива и (ограниченно) номинатива, — но не для так называемых «ингерентных» косвенных падежей (о противопоставлении структурных и ингерентных падежей в порождающей грамматике существует значительная литература; применительно к русскому языку см., например, [Бэбби 1994]), ср. (13):

- русский (модифицированные примеры из [Richards 2013: 43])
- (13) а. *Анна пишет письма **ручкой**.*
 б. *Анна не пишет **писем** ручкой / *ручки.*

В языке ладил имеется модальный падеж, который можно назвать «футуральным», поскольку он используется при формах будущего времени сказуемого (собственно, показатели будущего времени и «футурального» падежа совпадают; этот факт будет иметь большое значение при дальнейшем обсуждении материала каядилта). При этом «футуральный» падеж по-разному взаимодействует с разными типами реляционных падежей ладила: при номинативном субъекте он не выражается, как и модальные падежи в каядилте, при прямом объекте футуральный суффикс вытесняет показатель структурного аккумулятива, а при ИГ, маркированных ингерентными падежами, например инструменталисом, футуральный суффикс присоединяется справа от показателя реляционного падежа, ср. пример (14):

ладил [Richards 2013: 48]

- (14) a. *ngada nguthungu warnawu dulnhuka-n beerr-u nyith-u.*
 я:НОМ медленно готовить вид.рыбы-АСС вид.дерева-INS костер-INS
 ‘Я медленно приготовил рыбу на костре’.
- b. *ngada nguthungu-thur warnawu-thur dulnhuka-r beerr-uru-r nyith-uru-r.*
 я:НОМ медленно-FUT готовить-FUT вид.рыбы-FUT вид.дерева-INS-FUT костер-INS-FUT
 ‘Я медленно приготовлю рыбу на костре’.

Тем самым в обоих языках мы видим, что модальный падеж вытесняет структурный, но не может вытеснить ингерентный; при этом если в русском языке это является непреодолимым препятствием для выражения модального падежа, то в ладиле «конфликт» разрешается аффиксацией показателя модального падежа к показателю реляционного. Логичный вывод, который можно сделать из этих фактов, состоит в том, что структурный падеж и модальный падеж — лишь разные имена одного и того же явления: маркирования, связанного с более высоким уровнем синтаксической деривации, чем ингерентный реляционный падеж (ср. отчасти сходные формулировки в совсем других терминах в диссертации [Preminger 2011: 151—154] или в работе [Pesetsky, Torrego 2004]).

2. Множественное маркирование в каядилте в описании Н. Эванса

В данном разделе я более подробно остановлюсь на основных особенностях множественного маркирования в каядилте, следуя описанию, представленному в грамматике [Evans 1995a]. В первую очередь речь пойдет о «модальном» падеже — явлении, в чистом виде не встречающемся за пределами тангской семьи, — и его взаимодействии с другими падежными функциями.

Сначала следует по необходимости кратко остановиться на сугубо формальных аспектах. В каядилте, как и во многих других австралийских языках, широко представлены разного рода морфонологические процессы, результатом которых является богатая алломорфия показателей. Основные факторы, определяющие выбор того или иного алломорфа, — это, во-первых, конечный сегмент предшествующей части словоформы (который может принадлежать как лексической основе, так и падежному показателю «внутреннего уровня») и, во-вторых, позиция показателя внутри слова или в абсолютном его конце [Evans 1995a: 123—128]. Кроме того, конечное /a/ усекается перед паузой, в частности в конце предложения [Ibid.: 63], ср. формы обликвуса в примере (1d). Помимо алломорфии имеется ряд ограничений на комбинации аффиксов (несмотря на то, что «в общем любой аффикс может следовать за любым другим при условии их семантической и синтаксической совместности»⁴ [Ibid.: 129]): никакой аффикс не может следовать за показателем обликвуса; за показателем локатива может следовать только обликвус, причем последовательность -ЛОС-ОВЛ выражается нерегулярной морфемой-портманто *-kurrka* [Ibid.], ср. (15). Это касается соответствующих показателей в любой из доступных для них функций, поэтому в тех случаях, когда

⁴ «Generally any inflection may follow any other inflection, provided both are semantically and syntactically appropriate».

морфологические ограничения привели бы к невыразимости того или иного значения, происходит либо замена падежного аффикса на синонимичный (16), либо его устранение.

- (15) *kunawuna bilarri-nyarra nguku-ntha wuruman-kurrk.*
 ребенок<НОМ> разлить-APPR вода-МОВЛ котелок-LOC+МОВЛ
 ‘Как бы ребенок не разлил воду в котелке’ [Evans 1995a: 139].
- (16) a. *dangka-a yubuyubu-y /yubuyubu-nurru.*
 человек-НОМ дорога-LOC / дорога-ASSOC
 ‘Человек (находится) на дороге’ [Ibid.: 130].
- b. *ngada kurri-ju dangka-wu yubuyubu-nurru-wuru/*-ya-wuru.*
 я:НОМ видеть-ПОТ человек-MPROP дорога-ASSOC-MPROP/*-LOC-MPROP
 ‘Я увижу человека на дороге’ [Ibid.].

Теперь остановлюсь кратко на реляционных функциях некоторых падежей. Локатив используется в различных пространственных значениях: статического местоположения (16a) и конечной точки движения (17), а также имеет ряд метафорических употреблений [Ibid.: 138—142]. Аблатив выражает исходную точку движения, ср. пример (2) выше, и агенса при пассиве (18) [Ibid.: 143—145]. Проприетив служит в первую очередь для выражения отношений «актуального обладания», как в именных синтагмах (19a), так и в глагольных (19b); помимо этого, proprietiv маркирует объект при глаголах различных семантических классов, таких как глаголы передачи, речи (20a) и интенциональные глаголы (20b) [Ibid.: 145—148]. Косвенный падеж (обликвус) используется для выражения целевых адъюнктов (21), объектов именных предикатов, как в примере (3) выше, однако в основном выступает в нереляционных функциях [Ibid.: 148—149]. Аллатив, помимо основного значения конечной точки движения (22a), используется в значении пролатива (‘через’) (22b) [Ibid.: 150].

- (17) *dulk-iya barji-ja wangalk.*
 земля-LOC упасть-АСТ бумеранг:НОМ
 ‘Бумеранг упал на землю’ [Evans 1995a: 138].
- (18) *namu wungi-ja thungal-d, balarr-ina dangka-na bala-a-nyarr!*
 NEG красть-ИМП вещь-НОМ белый-ABL человек-ABL стрелять-MID-APPR
 ‘Не кради, а то белый человек тебя застрелит!’ [Ibid.: 144].
- (19) a. *niya karrngi-ja dun-kuru-ya maku-y.*
 3SG.НОМ держать-АСТ муж-PROP-LOC женщина-LOC
 ‘Он живет с замужней женщиной’ [Ibid.: 146].
- b. *dathin-a barrki-ja wandawanda-wuru...*
 этот-НОМ рубить-ИМП каменный.топор-PROP
 ‘Разруби его каменным топором...’ [Ibid.].
- (20) a. *waa-ja wirti-ja ngada bijarra-wuru.*
 петь-АСТ быть-АСТ я:НОМ дюгонь-PROP
 ‘Я пою о дюгоне’ [Ibid.: 148].
- b. *barruntha-ya jani-ja thawal-u.*
 вчера-LOC искать-АСТ ямс-PROP
 ‘Вчера мы искали ямс’ [Ibid.: 328].
- (21) *nyingka wanji-ja kuru-nth!*
 ты:НОМ лезть-ИМП яйцо-ОВЛ
 ‘Ты лезь за яйцами!’ [Ibid.: 149].
- (22) a. *kurrka-tha nga-ku-l-da natha-r nga-ku-lu-wan-jir.*
 взять-ИМП 1-INC-PL-НОМ лагерь-ALL 1-INC-PL-POSS-ALL
 ‘Давай возьмем его в наш лагерь’ [Ibid.: 150].
- b. *kamarr-a ngudi-ja katharr-ir jirrka-an-kir.*
 камень-НОМ бросить-ИМП река-ALL север-ИЗ-ALL
 ‘Брось камень с севера через реку’ [Ibid.].

Имеется также несколько других падежей, примеры употребления которых я не буду приводить по соображениям экономии места, см. [Evans 1995a: 150—162]. Наконец, номинатив (имеющий, как правило, ненулевое выражение) выступает как «падеж по умолчанию» в тех случаях, когда именная словоформа не получает более никакого падежного показателя; это происходит в позиции подлежащего независимого предложения, топика, в некоторых случаях прямого объекта, в частности при императиве (примеры см. выше); модальный, ассоциирующий и подчиняющий падежи неизменно вытесняют суффикс номинатива (ср. описанную выше сходную ситуацию с аккумулятивом в ладиле).

Помимо «обычных» реляционных падежей в каядилте имеется также целый ряд показателей, функционирующих в качестве падежных, однако проявляющих весьма нетривиальные морфосинтаксические свойства. Н. Эванс называет их «глагольными падежами» (*verbal case*; [Evans 1995a: 163—183; Evans, Nordlinger 2004]; при их глоссировании используется префикс *v*). Отличительное свойство этих падежей состоит в том, что содержащие их словоформы морфологически являются глаголами и принимают показатели времени, наклонения и отрицания, «согласуясь» по этим категориям с основным сказуемым, ср. примеры (23a—c):

- (23) a. *ngada warra-jarra dathin-kiiwa-tharra ngilirr-iiwa-tharr.*
 я:НОМ идти-РСТ TOT-VALL-PST пещера-VALL-PST
 ‘Я пошел в ту пещеру’ [Evans 1995a: 163].
- b. *ngada warra-ju dathin-kiiwa-thu ngilirr-iiwa-thu.*
 я:НОМ идти-РСТ TOT-VALL-POT пещера-VALL-POT
 ‘Я пойду в ту пещеру’ [Ibid.].
- c. *ngada warra-nangku dathin-kiiwa-nangku ngilirr-iiwa-nangku.*
 я:НОМ идти-NEG.POT TOT-VALL-NEG.POT пещера-VALL-NEG.POT
 ‘Я не пойду в ту пещеру’ [Ibid.].

Как легко видеть, согласование «глагольного» падежа со сказуемым фактически следует той же модели, что выражение глагольных категорий на именах при помощи модального падежа; к этому параллелизму мы вернемся в следующем разделе при обсуждении анализа Э. Раунда.

В каядилте имеется семь «глагольных» падежей, значения которых дополняют или в ряде случаев пересекаются с функциями «обычных» падежей. Их показатели восходят к глагольным основам, таким как ‘класть’ (датель), ‘снимать’ (аблатив), ‘искать’ (целевой) и т. п. [Ibid.: 165]. Ниже приводятся некоторые примеры употребления «глагольных падежей»: глагольного датива (24), аблатива (25) и целевого падежа (26):

- (24) *wuu-ja ngijin-maru-tha wadu!*
 дать-IMP я-VDAT-IMP дым:НОМ
 ‘Дай мне покурить!’ [Evans 1995a: 169].
- (25) *warrngal-da mibul-ula-tha ngijin-ji rila-th.*
 ветер-НОМ сон-VABL-АКТ 1SG-MLOC будить-АКТ
 ‘Ветер пробудил меня ото сна’ [Ibid.: 172].
- (26) *nija warra-ja rar-ung-ka mala-janii-j.*
 3SG.НОМ идти-АКТ юг-ALL-НОМ пиво-VPURP-АКТ
 ‘Он отправился на юг за пивом’ [Ibid.: 175].

«Глагольные» падежи могут сочетаться с обычными падежными показателями, причем как следуя за ними, ср. пример (27), где «глагольный аллатив» присоединяется к приименному аблативу, так и предшествуя им. В последнем случае между показателем «глагольного» падежа и следующим уровнем маркирования обязательно выступает суффикс номинализации, как у собственно глаголов, ср. пример (28), где к «глагольному» аллативу в зависимой клаузе присоединяется индуцированный матричным предикатом модальный локатив.

- (27) *jatha-naba-yiwa-tha dangka-naba-yiwa-tha mala-yiwa-tha warra-j.*
 другой-ABL-VALL-АКТ человек-ABS-VALL-АКТ море-VALL-АКТ идти-АКТ
 ‘(Дюгонь) ушел на морской участок другого человека’ [Evans, Nordlinger 2004: 4].
- (28) *ngada barruntha-ya kurri-ja niwan-ji balangkali-iwa-n-ki ba-yii-n-ki.*
 я:НОМ вчера-MLOC видеть-АКТ 3SG-MLOC змея-VALL-NML-MLOC кусать-MID-NML-MLOC
 ‘Я вчера видел, как его укусила змея’ [Ibid.: 3].

Остановимся теперь более подробно на нереляционных функциях падежей. Наиболее необычной из них даже в австралийском контексте является модальная. В качестве модальных могут использоваться пять падежей: локатив, проприетив, аблатив, обликвус и аллатив, распределение которых относительно глагольных категорий показано в таблице 1 [Evans 1995a: 402]⁵.

Таблица 1

Глагольные категории и модальные падежи в каядилте

Глагольная граммема	Утвердительная форма	Отрицательная форма	Модальный падеж	Суффикс
imperative	-TH.a	-na	(nominative)	{Ca}
actual	-TH.a	-TH.arri	locative	{kiya}
immediate	-TH.i	—		
potential	-TH.u(ru)	-nang.ku(ru)	propriative	{ku(ru)}
past	-TH.arra	—	ablative	{kina(ba)}
almost	—	-nang.arra		
precondition	-TH.aarba	—		
desiderative	-da	—	oblique	{inja}
hortative	-TH.inja	-nang.inja		
apprehensive	-NHarra	—		
directed	-THiri(ng)	—	allative	{kiri(ng)}

Из приведенной таблицы видно, что показатели модальных падежей формально сходны с одним из индуцирующих их глагольных показателей: имедиатив с локативом, потенциалис с проприетивом, гортатив с обликвусом, директив с аллативом, а императив с номинативом. Это сходство не является поверхностным, но проявляется в том числе в тождестве правил выбора алломорфов соответствующих показателей, см. [Evans 1995a: 399—401], причем настолько, что, например, сочетание глагольного показателя имедиатива с подчинительным обликвусом дает тот же морф-портманто, что и сочетание локатив + обликвус, ср. пример (29).

- (29) *ngada kurri-j, niwaa natha-wurrka dana-thurrk.*
 я:НОМ видеть-АКТ 3SG.SBJ:COBL лагерь-LOC:COBL уйти-IMMED:COBL
 ‘Я видел, как он покидал лагерь’ [Evans 1995a: 495].

Объяснение этого нетривиального совпадения морфологических показателей глаголов и их зависимых, подкрепляемое сравнительно-историческим анализом, состоит в том, что суффиксы глагольных категорий и модальных падежей в каядилте возникли в результате систематического *р а с п о д ч и н е н и я* (insubordination, см. [Evans 2007]) некогда зависимых клауз и сопутствующего переосмысления маркировавших их показателей подчинительных

⁵ Символами TH, NH, C в таблице обозначены так называемые «тематические элементы» (thematics), содержащиеся в значительной части глагольных показателей каядилта и варьирующие в зависимости от определяемого фонологически типа спряжения [Evans 1995a: 253—254]. Пересмотр статуса этих единиц является одним из важных новшеств работы Э. Паунда, см. § 3.

падежей, см. [Evans 1995a: 423—450]. В следующем разделе мы увидим, что Э. Раунд трактует показатели глагольных категорий и модальных падежей как реализацию одной и той же грамматической системы.

Тем не менее модальный падеж не является с синхронной точки зрения чисто избыточным согласовательным механизмом, но обладает определенной степенью функциональной автономности. Во-первых, модальный падеж употребляется в предложениях без выраженного сказуемого, где он служит фактически единственным средством маркирования предикативных категорий, ср. (30a—b). Во-вторых, противопоставление модальных падежей сохраняется в тех случаях, когда глагольная форма нейтрализует значения времени, как в форме отрицательного потенциалиса в примере (31a—b).

- (30) a. *ngada dathin-kiring-ku kamarr-iring-ku.*
я:НОМ ЭТОТ-ALL-MPROП камень-ALL-MPROП
'Я <пойду> к этому камню' [Evans 1995a: 403].
- b. *jina-na darr-ina nying-ka jirrka-an-kina?*
где-МАВЛ время-МАВЛ ты-НОМ север-из-МАВЛ
'Когда ты <вернулся> с севера?' [Ibid.].
- (31) a. *ngada kurri-nangku mala-wu (balmbi-wu).*
я:НОМ видеть-NEG.POT море-MPROП завтра-MPROП
'Я не увижу море (завтра)' [Ibid.: 404].
- b. *ngada kurri-nangku mala-y (barruntha-y).*
я:НОМ видеть-NEG.POT море-MLOC вчера-MLOC
'Я не мог увидеть море (вчера)' [Ibid.].

Областью применения модального падежа в общем случае является глагольная группа, включающая сказуемое и все его зависимые (как актанты, так и обстоятельства), за исключением подлежащего и топика. Тем не менее некоторые типы составляющих глагольной группы не принимают модального падежа (см. [Evans 1995a: 412—423]): это объекты интенциональных глаголов (32) и целый ряд ИГ, семантически связанных с субъектом, как, например, обозначения инструмента (33), объекты глаголов передачи (34) и некоторые другие:

- (32) *niya jani-jarra kunawuna-wuru / *kunawuna-wuru-na.*
3SG.НОМ искать-PST ребенок-PROП / *ребенок-PROП-МАВЛ
'Он искал ребенка' [Ibid.: 412].
- (33) *bi-rr-a yalawu-jarr yakuri-na mijil-nurru.*
3PL-DU-НОМ поймать-PST рыба-МАВЛ сеть-ASSOC
'Они наловили рыбы сетью' [Ibid.: 417].
- (34) *niya marndi-jarra kanthathu-na wirrin-kuru.*
3SG.НОМ лишить-PST отец-МАВЛ деньги-PROП
'Он отобрал у отца деньги' [Ibid.: 420].

Рассмотрим теперь падежное маркирование, связанное с номинализацией и подчинением клауз. В качестве ассоциирующего падежа в номинализованных клаузах [Evans 1995a: Ch. 11] используется обликвус, маркирующий все составляющие такой клаузы, за исключением подлежащего, и присоединяющийся поверх выраженного реляционного падежа. Номинализации с суффиксом *-n* используются как в качестве вершины нефинитной клаузы (35), так и независимо при обозначении делящихся ситуаций (36):

- (35) *kurri-ja dathin-a maku-walad-a [dalwani-n-da thawal-inj]!*
смотреть-IMP ТОТ-НОМ женщина-много-НОМ выкапывать-NML-НОМ ямс-АОВЛ
'Посмотри на тех женщин, выкапывающих ямс!' [Evans 1995a: 472].
- (36) *bi-l-da jani-n-da bartha-wuru-ntha kunawuna-wuru-nth.*
3-PL-НОМ искать-NML-НОМ след-PROП-АОВЛ ребенок-PROП-АОВЛ
'Они ищут следы ребенка' [Ibid.: 112].

Важно отметить, что модальный и ассоциирующий падежи подчиняются разным ограничениям; в частности, ассоциирующий падеж присоединяется к тем неподлежащим ИГ, которые обычно не принимают показателей модального падежа, ср. оформление слова ‘деньги’ в примере (34) и при номинализации в примере (37):

- (37) *niya marndi-n-da kanthathu-ntha wirrin-kuru-nth.*
 3SG.NOM лишить-NML-NOM отец-AOBL деньги-PROP-AOBL
 ‘Он отбирает у отца деньги’ [Ibid.: 420].

В тех случаях, когда матричный предикат требует выраженного модального падежа, последний маркирует все словоформы номинализации, однако парадоксальным образом выражается не после суффиксов ассоциирующего падежа, что ожидалось бы по общему правилу о соответствии порядка аффиксов их сфере действия, а перед ними, ср. примеры (38a—b):

- (38) a. *ngada balmbi-wu kurri-ju [bilwan-ju barrki-n-ku kurda-wuu-nth].*
 я:НОМ завтра-MPROP смотреть-POF они-MPROP рубить-NML-MPROP куламон-MPROP-AOBL
 ‘Завтра я буду смотреть, как они делают куламон (деревянное блюдо)’ [Evans 1995a: 112].
 b. *ngada kurri-jarra niwan-jina [kurdama-n-kina nguku-naa-ntha wuruman-urru-naa-nth].*
 я:НОМ видеть-PST он-MABL пить-NML-MABL вода-MABL-AOBL котелок-ASSOC-MABL-AOBL
 ‘Я видел, как он пил воду из котелка’ [Ibid.: 112—113].

Такой «антииконический» порядок суффиксов, синхронно связанный с уже упоминавшимся выше запретом на присоединение показателей к обликвусу, имеет диахроническое объяснение, см. [Evans 1995b].

Подчинительный падеж появляется на финитных зависимых предикациях [Evans 1995a: Ch. 12], которые могут выступать в качестве сентенциальных актантов, сирконстантов и определений. При этом подчинительный падеж не используется в тех случаях, когда субъекты главного и зависимого предложений совпадают, ср. следующие примеры:

- (39) *jina-a dathin-a dangka-a_i, [∅_i dan-kina yii-jarrma-tharra wangal-kina]?*
 где-НОМ тот-НОМ человек-НОМ здесь-MABL класть-CAUS-PST бумеранг-MABL
 ‘Где человек, который оставил здесь бумеранг?’ [Evans 1995a: 489].

- (40) *dan-da banga-a [kakuju-ntha raa-jarra-ntha walbu-nguni-nj].*
 этот-НОМ черепаха-НОМ дядя-COVL пронзить-PST-COVL плот-INSTR-COVL
 ‘Это черепаха, которую дядя убил с плота’ [Ibid.: 489—490].

Условием употребления подчинительного падежа, помимо несовпадения субъектов матричного и зависимого предикатов, является синтаксический статус конструкции: сентенциальные актанты получают подчинительный падеж даже при совпадении их субъекта с таковым главной клаузы [Ibid.: 490—491], ср. пример (41):

- (41) *ngada_i murnmurdawa-th, [(ngijuwa)_i kada-ntha thaa-thuu-nth].*
 я:НОМ радоваться-АСТ я:СВЛ:COVL опять-COVL вернуться-POF-COVL
 ‘Я рад, что я вернусь сюда опять’ [Ibid.: 490—491].

В качестве подчинительных в каядилте используются обликвус и локатив, выбор между которыми сложным образом обусловлен лицом субъекта зависимой клаузы и прагматическими факторами, см. [Evans 1995a: 492—495]; ср. таблицу 2 и примеры (42a—c).

Таблица 2

Лицо зависимого субъекта и выбор подчинительного падежа

Лицо	Подчинительный падеж
1, 3	OBL
1 + 2 (инклюзив)	LOC
2	LOC / OBL

- (42) a. *jina-a bijarrb, nga-ku-rr-a kurulu-tharra-y?*
 где-НОМ дюгонь:НОМ 1-INC-DU-НОМ убить-PST-CLOC
 ‘Где дюгонь, которого мы с тобой убили?’ [Evans 1995a: 492]
- b. *jina-a bijarrb, nyingka kurulu-tharra-y?*
 где-НОМ дюгонь:НОМ 2SG:НОМ убить-PST-CLOC
- c. *jina-a bijarrb, ngumbaa kurulu-tharra-nth?*
 где-НОМ дюгонь:НОМ 2SG:COBL убить-PST-COBL
 ‘Где дюгонь, которого ты убил?’ (в первом случае говорящий ассоциирует себя со слушающим, во втором — нет) [Ibid.: 493].

Как видно из приведенных выше примеров, в отличие от модального и ассоциирующего падежей, не присоединяющихся к подлежащему, подчинительный падеж маркирует все словоформы зависимой клаузы, в том числе подлежащее; исключением является морфологический запрет на присоединение подчинительного локатива к местоимениям в номинативе, ср. (42a—b), частицам и союзам, словоформам, уже содержащим показатель обликвуса, а также формам дезидератива; не присоединяется подчинительный падеж, как и модальный, к топикализованным составляющим.

Выступать в качестве подчиненных и маркироваться подчинительным падежом могут финитные клаузы с любыми глагольными формами, за исключением императива и «реалиса» (actual), равно как и номинализации, которые, как было сказано выше, способны возглавлять предложения. Некоторые подчиненные клаузы демонстрируют особые свойства [Evans 1995a: 505—511]; так, юссивные предикации при глаголах речи принимают подчинительный падеж факультативно, а предикации с суффиксом *-Tharra*, выражающие таксис предшествования, вообще не сочетаются с ним.

Клаузы, маркированные подчинительным падежом, могут «расподчиняться», т. е. использоваться без выраженного матричного предиката в разного рода косвенных речевых актах или при выражении модальности, ср. примеры (1d) и (43), непосредственного восприятия, пример (44), а также в дискурсе при несовпадении топика с субъектом, пример (45); подробнее см. [Evans 1995a: 522—542].

- (43) *niwa dana-nangkuru-ntha ngijin-juu-ntha wumburung-kuu-nth.*
 3SG:COBL оставить-NEG.POT-COBL мой-MPROB-COBL копьё-MPROB-COBL
 ‘Лучше ему не терять мое копьё’ [Evans 1995a: 523].
- (44) *kajakaja-ntha dali-n-marri-nj.*
 папаша-COBL прийти-NML-PRIV-COBL
 ‘(Я вижу), папаша еще не вернулся’ [Ibid.: 525].
- (45) *mutha-wuu-ntha darr-u-ntha diya-juu-ntha ngaarrk_{TOP}.*
 много-MPROB-COBL время-MPROB-COBL есть-MPROB-COBL орех.пандануса:НОМ
 ‘Их долго можно есть, орехи пандануса’ [Ibid.: 534].

Особый тип зависимых клауз, промежуточный между финитными и нефинитными предикациями, — директивные конструкции, обозначающие цель движения [Evans 1995a: 486—487]. Подобно финитным клаузам, они приписывают собственный модальный падеж — аллатив — и одновременно, подобно номинализации, маркируются модальным падежом матричной предикации; тем самым составляющие директивных клауз несут показатели двух модальных падежей, ср. пример (46):

- (46) *balmb-u ngada warra-ju [bijarrba-ring-ku raa-jiring-ku].*
 завтра-MPROB я:НОМ идти-POT дюгонь-MALL-MPROB пронзить-DIREC-MPROB
 ‘Завтра я пойду бить дюгоня’ [Evans 1995a: 487].

Рассмотрев, по необходимости кратко и фрагментарно, основы морфосинтаксиса кая-дилта в описании Н. Эванса, я перехожу к обсуждению монографии Э. Раунда [Round 2013], где эмпирический материал Н. Эванса уточняется и дополняется, а многие положения его описания пересматриваются.

3. Анализ грамматики каядилта в книге Э. Раунда

Монография Э. Раунда не является описательной грамматикой в строгом смысле этого слова. По формулировке самого автора, «основная задача книги — формализация словоизменительной системы каядилта и тех фрагментов грамматики, с которыми она взаимосвязана»⁶ [Round 2013: xii]. Основной тезис книги, подтверждаемый богатым эмпирическим материалом и его тонким и эксплицитным анализом, состоит в том, что грамматика каядилта содержит «сложную и высокоразвитую синтаксическую структуру, по большей части скрытую поверхностным порядком слов, однако необходимую для описания фактов словоизменения» [Ibid.]⁷. Описанный выше анализ Н. Эванса также апеллирует к синтаксической иерархии, однако в модели Э. Раунда эта структура устроена гораздо сложнее, а ее роль в объяснении морфологического маркирования существенно больше.

Важнейшая особенность работы Раунда состоит в том, что формальный анализ в ней основан на полном массиве документированных данных языка (существенно расширенном в ходе полевой работы автора), в первую очередь представленном спонтанными текстами, а не на специально отобранном корпусе элицитированных примеров. Используемый автором формальный аппарат и метаязык в значительной степени опираются не на хомскианский генеративизм с его стремлением редуцировать все грамматические факты к операциям над универсальной для всех языков и потому крайне абстрактной синтаксической структурой, а на более гибкие модели. Одной из таких моделей является лексико-функциональная грамматика (LFG, [Dalrymple 2001; Bresnan 2001]; на русском языке см. [Казенин 2002; Беляев 2014а: 282—299]), синтаксический формализм которой позволяет построить репрезентацию, отвечающую в большей степени конкретноречевым фактам, нежели априорным постулатам (ср. применение этой теории к базовому синтаксису «неконфигурационных» австралийских языков в статье [Austin, Bresnan 1996]); другой — «реализационные» подходы к морфологии [Anderson 1992; Stump 2001], не сводящие всю сложность морфологического устройства языков мира к показавшему свою ограниченность и неадекватность понятию морфемы как минимальной двусторонней единицы (см. критику «морфемоцентрического» подхода еще в классической монографии [Matthews 1972])⁸. При этом изложение в книге не следует строго никакой из существующих формальных моделей, а все содержательные и технические понятия, в ней используемые, вводятся и эксплицируются по мере того, как демонстрируется их необходимость для описания фактов.

Книга состоит из 11 глав и двух приложений, которые я буду рассматривать по порядку, уделяя основное внимание наиболее важным, с моей точки зрения, элементам анализа множественного маркирования и их сопоставлению с описанием Н. Эванса.

Первая глава («Introduction», с. 1—11) является кратким и одновременно насыщенным информацией введением к книге. Помимо описания социолингвистического состояния языка и источников данных, в этой главе в сжатой форме изложены основные новации описания каядилта и принятая в работе модель грамматики, на которых я остановлюсь подробнее. Э. Раунд полностью перестраивает всю разработанную Н. Эвансом модель множественного маркирования: вместо модальной, ассоциирующей и подчинительной разновидностей падежей вводится выражение на зависимых словоформах таких морфосинтаксических категорий, как ТАМ (вид-время-модальность), отрицание и подчинение; благодаря переосмыслению статуса «тематических элементов» устраняется меняющийся

⁶ «The primary concern of this book is the formalization of the inflectional system of Kayardild and those parts of the grammar with which it interfaces».

⁷ «<...> an intricate and highly articulated syntactic structure which for the most part is not evident in surface word order, yet is indispensable if one wishes to account for the facts of inflection».

⁸ Ср. недавний пример применения лексико-функциональной грамматики и реализационной морфологии к описанию падежного морфосинтаксиса в осетинском языке в статье [Беляев 2014б].

часть речи словоформы «глагольный» падеж. Что же касается формального сходства или даже тождества показателей, выражающих глагольные категории и падежи, послужившего основной мотивацией для постулирования Н. Эвансом механизма множественного падежного маркирования, то проходящая через всю систему языка полифункциональность морфологических показателей описывается с помощью понятия *морфомы* — единицы морфологического уровня, служащей для установления связи между гетерогенным множеством морфосинтаксических функций и единым фонологическим представлением⁹.

Архитектура грамматики, необходимая, согласно Раунду, для адекватного описания фактов каядилта, содержит шесть уровней, из которых три являются фонологическими (см. [Round 2013: 5—9]):

- (i) семантико-синтаксический: структура составляющих, а также семантические и дискурсивные отношения между синтаксическими единицами;
- (ii) морфосинтаксический: каждой синтаксической словоформе соответствует частично упорядоченный набор значений одного из семи морфосинтаксических признаков (категорий), значения которых образуют конечные множества дискретных единиц;
- (iii) морфомный: каждой синтаксической словоформе соответствует упорядоченный набор категорий из конечного множества;
- (iv)—(vi) глубинное и два поверхностных фонологических представления; глубинное представление является цепочкой множеств алломорфов (фонологических цепочек), а поверхностные представления — цепочками фонем.

Морфологическая структура словоформы в каядилте определяется ее местом в синтаксической структуре, семантикой и дискурсивной функцией, но при этом далеко не все противопоставления, релевантные для синтаксиса и семантики, находят эксплицитное выражение в морфологии. Морфосинтаксическое представление и конституирующие его морфосинтаксические признаки (об этом понятии, являющемся уточнением традиционного термина «грамматическая категория», см. [Corbett 2012]) отражают лишь те оппозиции, которые релевантны для морфологии, но верно и обратное: категории, различаемые морфосинтаксическим представлением, противопоставляются и в синтаксисе. Эти логические постулаты с неизбежностью приводят к выводу о наличии в каядилте сложно организованной иерархической синтаксической структуры (существенно более сложной, чем предполагается в грамматике Н. Эванса), предопределяющей нетривиальное распределение морфосинтаксических признаков словоформ.

Морфосинтаксическое представление имеет формат пар вида *признак:значение*, например, *case:instrumental*, причем в некоторых случаях важным оказывается порядок таких пар. Морфосинтаксические значения реализуются не непосредственно фонологическими цепочками (морфами), а морфемами — абстрактными единицами, соответствующими каждая, с одной стороны, определенному набору морфосинтаксических значений (как правило, относящихся к разным морфосинтаксическим признакам) и, с другой — множеству конкретных алломорфов. При глоссировании морфом используются ярлыки морфосинтаксических значений с префиксом *μ*; так, «морфомный обликвус» *μovl* устанавливает соответствие между рядом независимо мотивированных морфосинтаксических значений и фонологической цепочкой /iŋta/, см. рис. 1 [Round 2013: 34].

⁹ Понятие «морфема» (*morpheme*) было введено М. Ароновым в книге [Aronoff 1994] для описания таких явлений, как не мотивированные фонологией или семантикой словоизменительные типы лексем или не соответствующие естественным классам грамматических значений распределения показателей или основ в морфологических парадигмах. Дальнейшее развитие это понятие получило преимущественно в исследованиях по романским языкам, в морфологии которых морфомные единицы играют важнейшую роль, см. [Maiden 2005; 2009; Cruschina et al. (eds) 2013], однако, несомненно, оно имеет универсальную применимость. Примером морфемы в том смысле, в каком это понятие используется в книге Раунда, может служить русский суффикс {-*к-}, демонстрирующий идентичные морфонологические особенности в семантически никак не связанных употреблениях (ср. *нога* — *ножка*, *ножск*; *застегнуть* — *застёжка*, *застёжск*).

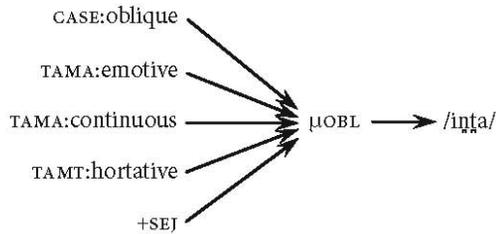


Рис. 1. Морфемная реализация морфосинтаксических признаков
© Oxford University Press

Согласно Раунду [Ibid.: 7—8], попытки обойтись без промежуточного морфемного представления в описании каядилта приводят к потере значительного числа эмпирических обобщений и существенно сокращают множество поддающихся связному описанию фактов. Здесь стоит отметить, что Н. Эванс, используя в своей грамматике понятие «падеж» как общий термин для множества в принципе независимых разновидностей морфосинтаксического кодирования, соответствующих единой системе морфологических форм, фактически во многом следует той же логике.

Вторая («Morphological structures», с. 12—42) и третья («Specific stems and affixes», с. 43—64) главы книги посвящены, соответственно, общей характеристике морфологической структуры словоформ и ряду частных аспектов морфологии. Важное новшество в сравнении с анализом Эванса, предлагаемое Раундом, состоит в отнесении «тематических элементов» (thematics) в состав глагольных основ. Тем самым глаголы морфологически определяются как лексические единицы, основы которых обязательно заканчиваются одним из тематических элементов /ŋ/ или /c/, а глагольные суффиксы в общем случае имеют лишь фонологически распределенные алломорфы, присоединение которых к тематическому элементу иногда вызывает упрощение сочетаний согласных по общим закономерностям языка [Round 2013: 17—18]. Напротив, в описании Эванса [Evans 1995a: 253—256] тематический элемент относится к суффиксу, что приводит, во-первых, к необходимости постулировать два в ряде случаев непредсказуемым образом распределенных спряжения и, во-вторых, затемняет формальную связь многих глагольных суффиксов с падежными показателями. Раунд приводит подробные морфонологические аргументы в пользу своего анализа [Round 2013: 18—21], показывая, что модель с глагольными основами на гласный не может описать целый ряд фактов. Распределение тематических элементов играет первостепенную роль в функционировании морфосинтаксиса каядилта, см. ниже.

Еще один новый аспект описания Раунда связан с показателями, которые Эванс трактует как суффиксы номинатива. Выше уже отмечалось, что номинатив в каядилте является падежом «по умолчанию», появляющимся в тех случаях, когда словоформа не имеет никакого другого падежного показателя; положение, однако, осложняется тем, что даже в тех случаях, когда падежный показатель присутствует, после него может следовать суффикс номинатива, если этот показатель оканчивается на согласный [Evans 1995a: 137]. Раунд предлагает описывать эти показатели, демонстрирующие нетривиальную алломорфию, как особые «терминальные элементы» (termination), обязательно присутствующие в любой словоформе. Важные аргументы в пользу такого описания приводятся в главе 3 (с. 61—64), где показано, что сегменты, которые можно анализировать как алломорфы терминального элемента, появляются и в глагольных формах императива и реалиса (их Раунд предлагает анализировать как не имеющие специализированных показателей и состоящие из основы, тематического и терминального элементов). Тем самым «номинатив» исключается из набора значений морфосинтаксического признака «падеж» в каядилте.

Значительную часть второй главы (с. 33—42) занимает обоснование морфемного представления. Необходимость этого промежуточного звена при соотношении морфосинтаксических признаков с морфемами мотивируется тем, что морфемы позволяют единообразно

описать целый ряд явлений, как то: одинаковые фонологические экспоненты и одинаковые правила выбора алломорфов, в том числе нерегулярных, у различных морфосинтаксических значений (так, мы уже видели выше в примерах (15) и (29), что сочетание показателей локатива *шос* и обликвуса *швл* реализуется с помощью портманто *-Currka* во всех случаях, какие бы значения они ни выражали), одинаковые морфотактические ограничения на выражение различных значений и т. п. Сравнивая свой подход с описанием Эванса, система многофункциональных падежей в грамматике которого фактически приближается к идее морфомы, Раунд показывает, что исключение из той же системы глагольных показателей по ряду формальных и семантических оснований [Evans 1995a: 255] не является убедительным, поскольку аргументы Эванса могут быть направлены и против унификации разновидностей падежа. Таким образом, Раунд заключает, что «у морфомных категорий в каядилте нет единой синхронной семантической или морфосинтаксической основы»¹⁰ [Round 2013: 41].

Четвертая («Correlates of inflection», с. 65—86) и пятая («The clause and VP», с. 87—132) главы книги посвящены центральным аспектам описания грамматики каядилта — морфосинтаксическому и синтаксическому представлениям и отношениям между ними. Четвертая глава начинается с перечисления морфосинтаксических признаков и их значений. Э. Раунд выделяет в каядилте семь морфосинтаксических признаков [Round 2013: 66]: падеж (CASE), число (NUMBER), тематические вид / время / модальность / полярность (TAMT), атематические вид / время / модальность / полярность (ТАМА), отрицание (NEG), подчинение (COMP) и «разъединение» (sejunct, SEL). Перед тем как охарактеризовать каждый из этих признаков подробнее, хотелось бы указать на то, что они не вполне тождественны традиционному понятию грамматической категории (как оно определяется в таких работах, как, например, [Зализняк 1967: 26—27; Мельчук 1997: 247—250; Плунгян 2011: 26, 32—33]): ни один из выделенных Раундом для каядилта морфосинтаксических признаков не является обязательным (словоформы могут быть не охарактеризованы по какому-либо из них), а последние три признака из списка являются унарными, т. е. имеют лишь одно значение. Такая логическая структура системы морфосинтаксических признаков корректнее отражает устройство грамматики каядилта, чем гипотетическая система обязательных грамматических категорий. Так, признак «число» имеет два значения: «множественное» и «двойственное», — но не имеет значения «единственное», поскольку в тех (составляющих большинство) случаях, когда ни одно из положительных значений числа не представлено, словоформа является неохарактеризованной относительно количества обозначаемых ею референтов [Round 2013: 68].

Морфосинтаксический признак «падеж» содержит 24 значения, распадающиеся на два морфологических подтипа, соответствующие стандартным реляционным и «глагольным» падежам Н. Эванса, — атематические падежи и тематические падежи; показатели последних обязательно содержат тематический элемент, накладывающий ограничения на то, с какими другими аффиксами может сочетаться словоформа. Все значения падежа парадигматически противопоставлены друг другу и применяются к одному и тому же типу составляющих — именной группе (DP), о структуре и особенностях морфосинтаксиса которой пойдет речь в шестой и седьмой главах книги.

Морфосинтаксические признаки TAMT и ТАМА выражают различные значения, связанные с пропозицией, — аспект, абсолютную и относительную временную локализацию, различные виды модальности. Несмотря на семантическую гетерогенность входящих в эти признаки значений, они образуют единую и четко структурированную систему, последовательным образом выражающуюся в морфосинтаксисе языка. Важнейшей характеристикой системы ТАМ-значений в каядилте является сопряженность признаков TAMT и ТАМА: с одной стороны, некоторые значения этих признаков, например TAMT:hortative и ТАМА:emotive, должны выступать в клаузе одновременно; с другой стороны, эти два

¹⁰ «...there exists no coherent, synchronic semantic or morphosyntactic basis to morphomic categories in Kayardild».

признака находятся в отношении морфологического антагонизма: формально выражен может быть лишь один из них по следующему простому правилу [Round 2013: 74]: если предшествующая цепочка в морфемном представлении заканчивается тематическим элементом, то выражено должно быть значение признака ТАМТ, в противном случае реализуется признак ТАМА. Собственно, признак ТАМА соответствует модальным и ассоциирующим падежам у Эванса. Аналогичный антагонизм демонстрируют признаки «подчинение» и *sejunct*, являющиеся соответствиями двух типов подчинительного падежа у Эванса.

Центральный и наиболее нетривиальный аспект грамматики каядилта — последовательное согласование (concord) словоформ по всем морфосинтаксическим признакам, описываемое следующей закономерностью [Round 2013: 77], ср. аналогичное правило в грамматике Эванса в (4а) выше:

- (47) Морфосинтаксическое значение F:v, ассоциированное с синтаксическим узлом n, морфологически реализуется на всех способных выразить F:v словоформах, над которыми доминирует n¹¹.

Такое согласование является эмпирическим свидетельством того, что морфосинтаксические значения, приписываемые конкретному узлу синтаксической структуры, распространяются вниз (recolate) вплоть до терминальных узлов дерева (ср. аналогичное утверждение в статье [Evans 1995b: 410]). Действие этого механизма можно проиллюстрировать примером (48), который практически полностью повторяет пример (1d), но приведен в нотации Э. Раунда (с некоторыми упрощениями): первая строка примера — орфографическая запись, совпадающая с записью в грамматике Эванса; вторая строка — фонологическая запись с делением на морфемы; третья строка — морфемное представление; четвертая строка — морфосинтаксическое представление¹²:

- (48) *Ngada mungurru*, [_S *makuntha* [_{VP} *yalawujarrantha*
 ɲaʔ-ta muɲuɲu-a maku-iɲɲa-∅ jalawu-c+ɲara-iɲɲa-∅
 1SG-T знать-T женщина-μOBL-T поймать-I-μCONS-μOBL-T
 я знать женщина-SEJ поймать-PST-SEJ

yakurinaantha [_{DP} [_{DP} *thabujukarranguninaantha* [_{GEN}
 jakuɲi+ki-naa-iɲɲa-∅ ʔarucu-karaɲ-ɲuni+ki-naa-iɲɲa-∅
 рыба-⟨μLOC-μABL⟩-μOBL-T брат-μGEN-μINSTR-⟨μLOC-μABL⟩-μOBL-T
 рыба-⟨PRIOR⟩-SEJ брат-GEN-INSTR-⟨PRIOR⟩-SEJ

mijilnguninaanth [_{INS} [_{PRIOR, PST}] +SEJ].
 micil-ɲuni+ki-naa-iɲɲa-∅
 сеть-μINSTR-⟨μLOC-μABL⟩-μOBL-T
 сеть-INSTR-⟨PRIOR⟩-SEJ
 ‘Я знаю, что женщина поймала рыбу сетью своего брата’ [Round 2013: 77].

В (48) зависимая клауза S'' характеризуется признаком +SEJ, реализующимся на всех ее составляющих морфемой μOBL; входящая в состав этой клаузы глагольная группа VP имеет сопряженные признаки ТАМТ:past и ТАМА:prior, каждый из которых выражается на тех словах, которые могут его выразить: ТАМТ:past выражается морфемой μCONS на содержащем тематический элемент сказуемом, а ТАМА:prior — комбинацией морфом ⟨μLOC-μABL⟩ на лишенных такового именных словоформах; наконец, признак падежа «инструменталис» выражается на обеих словоформах именной группы DP; тем самым наиболее глубоко вложенная словоформа ‘брата’ маркирована по двум значениям падежа (своим собственным генитивом и инструменталисом объемлющей ИГ), значению ТАМА:prior и значению +SEJ.

¹¹ «The morphological realization of a morphosyntactic feature value F:v, associated with a syntactic node n, on all words which (i) are dominated by a syntactic node n and (ii) are morphologically capable of inflecting for F:v.»

¹² В угловые скобки заключены последовательности морфом, выражающие одно морфосинтаксическое значение; граничные знаки «-» и «+» обозначают два разных типа морфонологической границы, противопоставление между которыми не важно для настоящего изложения.

Центральное теоретическое положение четвертой главы и всей книги Э. Раунда состоит в том, что грамматика каядилта содержит многоярусную иерархическую глубинную синтаксическую структуру, которая затемняется свободой поверхностного порядка слов, но проявляется в описанном выше механизме согласования по морфосинтаксическим признакам. Как уже было показано выше при разборе описания Н. Эванса, множества словоформ, реализующих тот или иной морфосинтаксический признак (домен этого признака, схематически $D(x)$), соотносятся подобно иерархически вложенным составляющим, сходным с фразовыми категориями вроде VP, S, DP и т. п., которые во многих других языках выделяются в первую очередь на основании порядка слов. Конкретно, домены морфосинтаксических признаков и их значений образуют следующую систему (знак \supset обозначает асимметричное вложение доменов) [Round 2013: 79]:

- (49) a. $D(+COMP) \supset D(+SEJ) \supset D(TAMA:x) \supset D(TAMA:y) \supset D(TAMA:z)$,
где x, y, z — непересекающие подмножества морфосинтаксических значений;
- b. $D(CASE, NUMBER) \supset D(NUMBER)$

Из (49) и (47) выше следует, что если домены морфосинтаксических значений F и G находятся в отношении асимметричного вложения $D(F) \supset D(G)$, то синтаксический узел n_F , которому приписано значение F , доминирует над синтаксическим узлом n_G , с которым ассоциировано значение G (ср. (4b) выше). Получающаяся в итоге полная глубинная синтаксическая структура каядилта, необходимая для корректного объяснения всех случаев распределения морфосинтаксического маркирования, представлена на рис. 2 [Ibid.: 81]; знак * (звезда Клини) обозначает позиции, в которых могут появляться составляющие-сестры; стрелками сверху от дерева обозначены морфосинтаксические признаки и узлы, в которых эти признаки присоединяются.

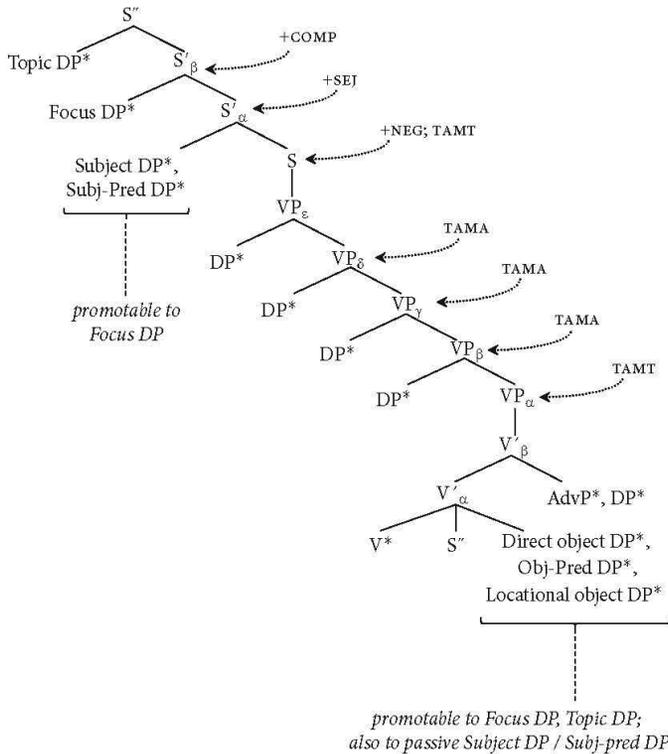


Рис. 2. Глубинная синтаксическая структура каядилта
© Oxford University Press

Как можно видеть, глубинная синтаксическая структура, постулируемая Э. Раундом для каядилта, имеет мало общего с абстрактными синтаксическими структурами последних вариантов порождающей грамматики. В отличие от строго бинарного ветвления, предопределяемого свойствами операции Merge в минимализме [Chomsky 2000: 101], предлагаемая Раундом структура свободно допускает сколь угодно много составляющих одного уровня, не предполагает перемещения вершин или групп вверх по дереву для «проверки признаков», а ее уровни задаются исключительно внутриязыковыми морфосинтаксическими фактами, которые эта структура, собственно, и призвана моделировать. Тем не менее соблазнительно усмотреть в разветвленной системе последовательно вложенных друг в друга глагольных групп, различающихся доступными для них морфосинтаксическими значениями, аналог «хребта» (spine) функциональных вершин Г. Чинкве [Cinque 1999; 2006], а в ассоциированных с топиком, фокусом и подлежащим проекциях уровня S — «развитую левую периферию» Л. Рицци [Rizzi 1997]. В этом контексте уместно упомянуть уже цитировавшиеся выше работы [Matushansky 2008; 2010], в которых функциональные синтаксические вершины приписывают ассоциированные с ними признаки всем элементам, над которыми они доминируют. Тем не менее фундаментальное различие между синтаксической структурой на рис. 2 и минималистскими построениями состоит в том, что последние, даже будучи мотивированы эмпирическими фактами, как «картография» Г. Чинкве и Л. Рицци [Cinque, Rizzi 2008], исходят из априорной идеи универсальности если не самого набора функциональных вершин, то по крайней мере связанных с ними абстрактных признаков, в то время как в основе структуры, предложенной Э. Раундом для каядилта, лежат исключительно соображения адекватного описания одного конкретного языка.

Пятая глава книги посвящена эмпирической мотивации описанной выше глубинной синтаксической структуры с опорой во многом на новые по сравнению с грамматикой Н. Эванса данные. Общая схема аргументации Э. Раунда выглядит так: если имеется синтаксический класс словоформ W , при которых обязательно выражается морфосинтаксическое значение F , но не выражается морфосинтаксическое значение G , значит, F и G ассоциированы с различными узлами синтаксической структуры, соответственно n_F и n_G , причем n_F доминирует над W и n_G , а n_G не доминирует ни над W , ни над n_F , ср. схему на рис. 3.

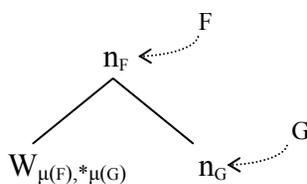


Рис. 3. От морфологического маркирования к синтаксическому вложению

Рассмотрим это на примере признаков *COMP* и *SEL*, соответствующих подчинительному падежу Эванса. Эти признаки ассоциированы с зависимыми клаузами, а также с клаузами, содержащими топикализованные и фокализованные ИГ. Признаки *COMP* и *SEL*, как уже было сказано, находятся в отношении антагонизма, т. е. при их одновременном наличии в морфосинтаксическом представлении выражен может быть лишь один из них. Правила приписывания этих признаков клаузам и их реализации суммированы в таблице 3 (ср. таблицу 2 выше) [Round 2013: 89—90].

Таблица 3

Морфосинтаксические признаки подчиненных клауз и их реализация

Тип клаузы	Условие употребления	Приписываемые признаки	Реализуемые признаки	Морфемная реализация
nonsejunct	подлежащее: 1) инклюзивное 1-е лицо; 2) 2-е лицо и говорящий ассоциирует себя со слушающим	[+COMP, SEJ:∅]	+COMP	μLOC
sejunct	иначе	[+COMP, +SEJ]	+SEJ	μOBL

Основным эмпирическим аргументом за необходимость постулировать два независимых признака (а не один с двумя значениями) являются топикализованные и фокализованные составляющие [Round 2013: 90—94]. Топикализованные ИГ индуцируют подчинительное маркирование соотносящихся с ними клауз, но сами находятся вне доменов обоих признаков COMP и SEJ, ср. пример (50), следовательно, их синтаксическая позиция располагается выше узла, которому эти признаки приписываются. Фокализованные же составляющие маркированы показателями признака COMP, в то время как «остаток» клаузы маркирован по признаку SEJ, ср. пример (51). Из этого следует, что позиция фокализованных групп располагается ниже узла, которому приписывается COMP, но выше узла, ассоциированного с SEJ, что в рамках предлагаемой модели может быть описано единственным образом: с помощью двух различных признаков, связанных с двумя иерархически упорядоченными позициями в глубинной синтаксической структуре.

(50) *Ngjuwa bingkurnda wungjarranth!*
 ŋɪcu+pa-∅ piŋkuŋ-ta wuŋi-c-ŋara-iŋɬa-∅
 1SG-μSEJ-T вид.краба-T красть-1-μCONS-μOBL-T
 1SG-SEJ вид.краба красть-PST-SEJ
 ‘Мангровых крабов я крал!’ [Round 2013: 91]

(51) *Dankiya kunawuna-ya barjijarranth!*
 ɬan+ki-a kuna+kuna+ki-a raɬci-c-ŋara-iŋɬa-∅
 этот-μLOC-T ребенок-ребенок-μLOC-T упасть-1-μCONS-μOBL-T
 этот-CMP ребенок-CMP упасть-PST-SEJ
 ‘Этот ребенок родился!’ [Ibid.: 93]

Аналогичным образом Раунд аргументирует и более низкие уровни глубинной синтаксической структуры, в частности систему узлов VP, необходимую для корректного описания реализации значений морфосинтаксического признака TAM. Отдельного внимания заслуживает противопоставление двух типов зависимых предикаций, примерно соответствующих финитным и нефинитным зависимым клаузам Эванса. Раунд предлагает различать зависимые предложения (S'') и зависимые максимальные глагольные группы (VP_ε). Если последние никогда не имеют выраженного подлежащего (их субъект всегда кореферентен субъекту либо объекту матричного предложения) и всегда наследуют морфосинтаксические признаки от вышестоящих узлов, то первые могут содержать свое собственное подлежащее и не наследуют никаких морфосинтаксических признаков, что приводит Раунда к выводу о том, что узел S'' (граница клаузы) является барьером для распространения морфосинтаксических признаков. Вложенные глагольные группы Раунд анализирует как содержащиеся внутри именных групп с невыраженной вершиной; аргументы в пользу такого анализа приводятся ниже.

Как уже было сказано выше, модальному и ассоциирующему падежам в описании Эванса Раунд ставит в соответствие различные значения признака TAM, организованные в иерархическую структуру на основании их дистрибуции относительно тех или иных типов

актантных и обстоятельственных ИГ [Round 2013: 113—118]. Ассоциирующему падежу Эванса соответствует значение TAMA:continuous, приписываемое в узле VP_δ, а модальному падежу — две группы значений, приписываемых в узлах VP_γ и VP_β, ср. рис. 4 [Ibid.: 114].

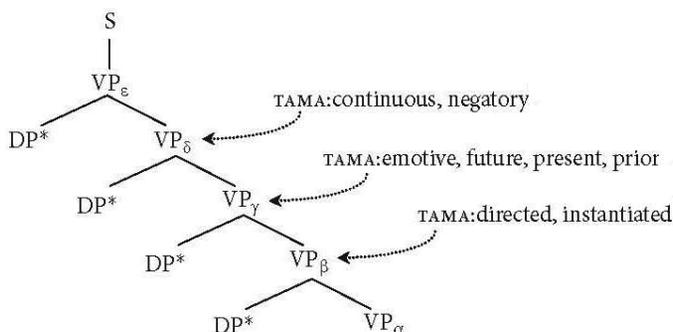


Рис. 4. Уровни глагольной группы и значения признака TAMA
© Oxford University Press

Мотивацией выделения указанных уровней структуры опять-таки является тот факт, что разные типы ИГ способны морфологически выражать разные подмножества значений признака TAMA. Распределение этих типов ИГ довольно сложно [Round 2013: 116—117] и не может обсуждаться здесь (см., в частности, замечания в § 2 о типах ИГ, не принимающих, согласно описанию Н. Эванса, модального падежа; корпус примеров, подтверждающих постулируемое распределение, полностью приводится в обширном приложении В, с. 260—277), однако важно привести аргументы Раунда [Ibid.: 117—118] против альтернативного анализа, который вместо последовательного вложения синтаксических доменов делит ИГ на классы, каждый из которых помечен синтаксическим признаком (diacritic), указывающим на доступные для данной ИГ значения TAMA. Важным следствием синтаксического анализа являются эмпирически подтверждаемые (собственно, лежащие в основе анализа) иерархические отношения между доменами разных значений TAMA: «если класс X сочетается с большим набором значений TAMA, чем класс Y, то он сочетается со всеми значениями, доступными классу Y, и некоторыми добавочными»¹³. Кроме того, в тех случаях, когда глагольная группа оказывается вложенной в матричную клаузу, входящие в ее состав ИГ морфологически выражают TAMA-значения вышестоящей клаузы даже в том случае, когда эти значения не могут быть выражены на ИГ в составе независимой клаузы. Этот случай демонстрируют примеры (52a) и (52b): в (52a) аблативный агенс пассивного глагола, присоединяющийся на уровне VP_δ, не маркирован по признаку TAMA:instantiated, выражаемому морфемой μLOC, поскольку этот признак приписывается в более низком узле VP_β; напротив, в (52b) словоформа пассивного агенса вложенной клаузы (VP) содержит соответствующий суффикс, поскольку матричное значение TAMA:instantiated присоединяется ко всей вложенной предикации (по предположению Раунда, через посредство невыраженного уровня DP). «Диакритический» подход может описать эти факты лишь с помощью специальных правил, фактически переводящих словоформы из одного дистрибутивного класса в другой в зависимости от синтаксической позиции, что ставит под сомнение значимость самого понятия дистрибутивного класса.

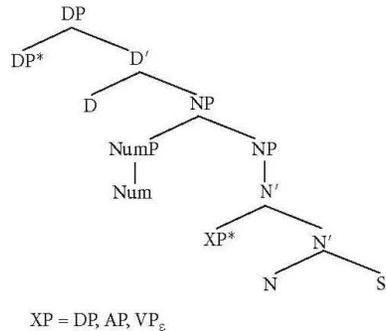
- (52) a. [Bijarrba rayiija dangkana_{INS,ACT}].
 picarra-∅ ɬa:i-c-a ɬaŋka+ki-naa-∅
 дюгонь-т пронзить-⟨MID-⟩-т человек-⟨μLOC-μABL⟩-т
 дюгонь пронзить-⟨MID⟩ человек-⟨ABL⟩
 ‘Дюгонь (был) убит мужчиной’ [Round 2013: 123].

¹³ «...if pattern X involves more TAMA values than pattern Y, then it will involve all the values of pattern Y, plus one or more additional value» [Ibid.: 117].

- b. [Biluwanjiya *barrkij*, [makuwalathinabay_{COMP,PROG}]
 pi-lu+paŋ+ki-a parki-c-a maku+paŋ+ki-nara+ki-a
 3-PL-μPOSS-μLOC-T резать-Ј-Т женщина-μPL-⟨μLOC-μABL⟩-μLOC-T
 3-PL-INS резать женщина-PL-⟨ABL⟩-INS
kurdaya [wakiriŋki_{COMP,PROG}] _{INS,ACT}.
 kuŋa+ki-a wakiŋ-i-c-n+ki-a
 куламон-μLOC-T нести.подмышкой-⟨μID-Ј⟩-μNML-μLOC-T
 куламон-INS нести.подмышкой-⟨MID⟩-PROG-INS
 ‘Они режут куламоны, чтобы они были унесены женщинами’ [Ibid.: 124].

Тем самым развитая глубинная синтаксическая иерархия, постулируемая для каядилта Раундом, вместе с общим механизмом согласования единообразно и корректно предсказывает распределение морфологических показателей морфосинтаксических значений в составе словоформ, занимающих различные синтаксические позиции, и делает излишними как противопоставление модального и ассоциирующего падежей, так и специальные правила, ограничивающие их выражение.

Главы шестая («The DP», с. 133—150) и седьмая («DP juxtaposition», с. 151—168) разрабатывают синтаксис именных составляющих в каядилте. Шестая глава посвящена структуре именных групп (DP) и выражению в них морфосинтаксических признаков числа и падежа. Предлагаемая Раундом структура DP представлена на рис. 5 [Round 2013: 133] и соответствует поверхностному расположению компонентов, которые, в отличие от составляющих клаузы, следуют в жестком порядке, хотя каждый из них, включая вершину N, может быть опущен.



XP = DP, AP, VP_ε

Рис. 5. Структура именной группы
 © Oxford University Press

Аргументом за существование иерархической структуры именной группы в каядилте (а не, например, свободного соположения семантически связанных, но синтаксически независимых элементов, ср. описание языка дивали в работе [Austin 2001]) служит четкая корреляция между позицией словоформы в структуре и ее интерпретацией, ср. таблицу 4 [Round 2013: 135].

Таблица 4

Позиция и интерпретация элементов ИГ

Интерпретация	Детерминатор (D)	Квантификатор (Num)	Модификатор (AP)	Вершина (N)
‘его два старших брата’	<i>niwanda</i> 3SG.POSS	<i>kiyarngka</i> два		<i>thabuju</i> старший брат
‘два из его старших братьев’		<i>kiyarngka</i> два	<i>niwanda</i> 3SG.POSS	<i>thabuju</i> старший брат
‘мое тотемное животное’	<i>ngijinda</i> 1SG.POSS		<i>nida</i> имя	<i>wurand</i> животное
‘мое тотемное имя’	<i>ngijinda</i> 1SG.POSS		<i>wuranda</i> животное	<i>nid</i> имя

Если согласование по падежу затрагивает все без исключения элементы ИГ, что следует из приписывания падежа ИГ извне, то признак числа является «внутренним» для ИГ и может быть ассоциирован как со всей составляющей целиком, ср. пример (53a), так и с более низким узлом NP, ср. пример (53b):

- (53) a. [_{DP} *ngumbanbala* [_{NP} *karndiwala*]]
 ŋuŋ+paŋ+palaa kanji+palaa
 2SG-POSS-MPL.T жена-MPL.T
 2SG-POSS-PL жена-PL
 ‘твои жены’ [Round 2013: 143]
- b. [_{DP} *dathina* [_{NP} *ngambuwala*]]
 ɬaɬina ŋamru+palaa
 TOT.T колодец-MPL.T
 TOT колодец-PL
 ‘те колодцы’ [Ibid.]

В седьмой главе изучается явление соположения именных составляющих с совпадающими синтаксической ролью и морфосинтаксическими признаками, подобных представленным в примере (54):

- (54) [_{DP} *Muthaya wuranki* *bilda dalwanija* [_{DP} *barrngkay*].
 mɬa+ki-a wuɬan+ki-a pi-l-ta ɬalwani-c-a paŋka+ki-a
 много-μLOC-T пища-μLOC-T 3-PL-T выкапывать-J-T лилия-μLOC-T
 много-INS пища-INS 3-PL выкапывать лилия-INS
 ‘Они выкапывают много еды, корней лилий’ [Round 2013: 151].

Соположенные ИГ могут использоваться для перечисления нескольких референтов, выражения отношения часть — целое, а также для различной характеристики одного и того же референта, как в приведенном выше примере. Что касается их синтаксического поведения, то, с одной стороны, соположенные ИГ одновременно подвергаются синтаксическим трансформациям (топикализации, фокализации, пассивизации [Ibid.: 156]), но, с другой стороны, являются отдельными составляющими, что подтверждается независимостью выражения числа, ср. пример (55), и, более того, могут занимать разные позиции в синтаксической структуре, на что указывают примеры, где соположенные ИГ имеют различающиеся значения признака ТАМА, ср. (56):

- (55) *Kurrija* [_{DP} *dangkawalada* _{NUM,PL}] [_{DP} *wirrkanda dangkaa* _{NUM,Ø}]...!
 kuri-c-a ɬaŋka+paɬaɬ-ta wirka-c-n-ta ɬaŋka-a
 видеть-J-T человек-MPL-T танцевать-J-μNML-T человек-T
 видеть человек-PL танцевать-PROG человек
 ‘Посмотри на людей, на танцующих людей...!’ [Round 2013: 155]
- (56) *Ngada* *wirdija danda, nathay.*
 ŋaɬ-ta wiɬi-c-a ɬan-ta ŋaɬa+ki-a
 1SG-T быть-J-T здесь-T лагерь-μLOC-T
 1SG быть здесь лагерь-INS
 ‘Я остаюсь здесь, в лагере’ [Ibid.: 158].

Особо рассматриваются случаи, когда одна из соположенных ИГ не имеет вершины [Round 2013: 158—165]. Раунд показывает, что такие ИГ могут содержать самые разные типы зависимых составляющих: детерминаторы, квантификаторы, определения, зависимые полные ИГ в позициях спецификатора DP и адьюнкта к N' и, наконец, зависимые глагольные группы. Последний факт является важным независимым подтверждением высказанной выше гипотезы о том, что вложенные VP находятся внутри DP с невыраженной вершиной. При этом морфологическое выражение морфосинтаксических значений и, следовательно, механизм распространения этих значений по уровням синтаксической

структуры не чувствительны к наличию незаполненных фонологическим материалом узлов, что позволяет сопоставлять поведение поверхностно весьма различных случаев.

Девятая глава («Discussion», с. 177—201) посвящена обсуждению основных результатов исследования и, в частности, сопоставлению предложенного в книге анализа с описанием в грамматике Эванса. Напомню, что анализ Раунда основывается на трех понятиях [Round 2013: 177]: глубинная синтаксическая структура; отношение антагонизма между некоторыми морфосинтаксическими признаками, ограничивающее их реализацию; согласование по морфосинтаксическим признакам с помощью механизма распространения вниз по глубинной синтаксической структуре морфосинтаксических значений, приписываемых конкретным узлам. Согласно Раунду, такая система, во-первых, является достаточной и естественным образом описывает ряд явлений, которые в грамматике Эванса нуждаются в особых грамматических механизмах (так, согласование вторичных предикатов с семантически связанными с ними ИГ следует общим принципам и обусловлено тем, что они занимают одну и ту же позицию в глубинном синтаксисе, поэтому нет необходимости привлекать понятие «референциального падежа»). Во-вторых, Раунд считает свой анализ более экономным с точки зрения как системы морфосинтаксических признаков, так и условий их реализации. Постулируя находящиеся в отношении антагонизма морфосинтаксические признаки ТАМТ и ТАМА, реализующиеся по единым правилам с помощью последовательностей морфем, либо оканчивающихся на тематический элемент, либо лишенных его, Раунд устраняет выделяемые Эвансом противопоставления, с одной стороны, модального и ассоциирующего падежей и, с другой стороны, «простых» и «глагольных» реляционных падежей и, соответственно, необходимость учитывать «морфологический класс» основы при присоединении к ней дальнейших показателей. Здесь не место подробно излагать аргументацию Раунда, см. [Ibid.: 181—189], отмечу лишь, что она представляется мне вполне убедительной и эмпирически мотивированной. Разумеется, предлагаемое Раундом описание морфосинтаксиса каядилта может показаться излишне апеллирующим к абстрактным сущностям вроде глубинной синтаксической структуры и к специально введенным понятиям вроде антагонизма морфосинтаксических признаков, однако необходимо иметь в виду, что, во-первых, все постулированные Раундом единицы описания могут быть независимым образом мотивированы эмпирическими фактами языка и, во-вторых, использование при описании конкретного языка понятий, определенных лишь в рамках его собственной грамматики, является совершенно законным¹⁴.

Отдельно и довольно подробно [Round 2013: 189—199] Раунд обсуждает вопрос о возможных ограничениях на рекурсию в грамматике каядилта, возражая против высказанного в работе [Evans 1995b: 410] тезиса о том, что морфология каядилта накладывает ограничения на синтаксическую рекурсию¹⁵, и приходя, напротив, к нетривиальному заключению, что в этом языке синтаксическая рекурсия ограничена собственно синтаксическими закономерностями. Действительно, коль скоро последовательное вложение синтаксических составляющих находит непосредственное отражение в морфологии, результатом ничем не ограниченной рекурсии синтаксических структур потенциально должно становиться появление словоформ огромной длины. Приведа целый ряд естественных примеров морфологически чрезвычайно сложных словоформ, в том числе содержащих в своем составе показатели разных значений одного и того же морфосинтаксического признака, приписанных на разных уровнях синтаксической структуры, в которую встроены эти словоформы, Раунд переходит к обсуждению возможных ограничений на сложность синтаксических структур каядилта. Во-первых, как он показывает [Ibid.: 190—195], ни один морфосинтаксический признак не выражается в составе словоформы более двух раз, а признаки +SEL,

¹⁴ Ср. в этой связи недавний призыв М. Хаспельмата [Haspelmath 2010: 668] «описывать языки в их собственных терминах» («to describe languages in their own terms»).

¹⁵ Ср.: «...there are morphologically imposed limits to the syntactic possibilities of recursion: to be grammatical, a construction must allow a correspondence with the morphological structure» [Evans 1995b: 410].

+COMP и NEGATION могут быть выражены лишь однажды, поскольку все они связаны с самым верхним уровнем синтаксической структуры (S''), служащим барьером для распространения признаков. Во-вторых, Раунд замечает, что не отмеченные в имеющемся корпусе сверхсложные словоформы отсутствуют по той причине, что в нем не представлены и соответствующие таким словоформам синтаксические структуры¹⁶. В частности, из обсуждения в главе 5 [Ibid.: 107] следует, что в каядилте не представлено рекурсивное вложение глагольных групп, имеющих статус клаузы, каковой запрет не вытекает из гипотетических ограничений на морфологическую структуру. Аналогичным образом в каядилте не отмечено более чем двукратное вложение полных клауз уровня S'' , в том числе морфосинтаксически неподчиненных, рекурсивному «нанизыванию» которых, казалось бы, нет никаких морфологических препятствий [Ibid.: 198, fn. 15]. В-третьих, анализ Раунда предсказывает потенциальную допустимость не отмеченных в корпусе словоформ с морфологическим выражением пяти морфосинтаксических значений: двух значений падежа (собственного и объемлющей ИГ), двух значений ТАМ (вложенной VP и матричной клаузы) и одного из значений +COMP или +SEL. Тот факт, что такие сверхсложные словоформы не зафиксированы, по мнению Раунда, объясняется чрезвычайной редкостью в естественном дискурсе необходимых для них контекстов, а не какими-либо грамматическими ограничениями.

Тем самым грамматическая рекурсия в каядилте, согласно Раунду, ограничена не особенностями морфологической системы этого языка, а принципами устройства его синтаксиса. Этот вывод представляется весьма знаменательным, поскольку неограниченная синтаксическая рекурсия считается некоторыми теоретиками конституирующим признаком человеческого языка вообще, см. [Hauser et al. 2002], ср. также обсуждение в сборнике [van der Hulst (ed.) 2010]¹⁷.

Десятая глава («Particles», с. 202—214) посвящена особому классу единиц, которым свойственно отсутствие всякого словоизменения. В рамках этого класса Раунд противопоставляет «собственно частицы», анализируемые им как клитики (присоединяющиеся к левому или реже правому краю клауз или именных групп в поверхностной синтаксической структуре), и сходные с частицами имена, встраивающиеся в синтаксическую структуру и ограниченно допускающие словоизменение. Клитики отсутствуют в глубинной синтаксической структуре и, следовательно, находятся вне сферы действия механизмов приписывания и распространения морфосинтаксических признаков, чем объясняется как их неспособность принимать морфологические показатели, так и характерные для них позиционные ограничения.

В восьмой («Feature percolation», с. 169—176) и одиннадцатой («Constraint-based realizational morphology», с. 215—255) главах обсуждаются различные аспекты формализованного представления механизма распространения морфосинтаксических признаков и переходов между постулированными для грамматики каядилта уровнями репрезентации: морфосинтаксическим, морфомным и глубинно-фонологическим. В рамках настоящей работы эти, сами по себе безусловно интересные аспекты монографии Э. Раунда представляются второстепенными, и я не буду на них подробно останавливаться; отмечу лишь, что

¹⁶ Ср.: «It is not the case that after some point syntactic structures continue to increase in complexity while the morphology fails to keep pace; rather syntactic structures whose corresponding morphological structure would be 'too complex' also fail to occur» [Round 2013: 196].

¹⁷ В литературе периодически делались утверждения об отсутствии рекурсии в тех или иных языках; наибольшую известность приобрел в этой связи язык пирахан, см. [Everett 2005] и [Sakel, Stappert 2010]. Тем не менее подобные утверждения относительно как пирахана, так и других языков, ср. [Evans, Levinson 2009; Levinson 2013] последовательно отвергались в работах представителей генеративного направления, см. [Nevins et al. 2009; Legate et al. 2014], которые доказывали, что выводы об отсутствии рекурсии делались на основе некорректного анализа фактов. В свете этого в книге Э. Раунда содержится единственное на сегодняшний день утверждение об ограниченности синтаксической рекурсии в конкретном естественном языке, мотивированное эксплицитным формальным анализом обширного массива эмпирических данных.

содержание этих глав является необходимым компонентом эксплицитного (и потенциально допускающего, например, компьютерную реализацию) описания языка.

Обсуждение и заключение

Подводя итог изложению фактов грамматики языка каядилт и описанию двух подходов к его анализу, представленных в монографиях Н. Эванса и Э. Раунда, мне хотелось бы сделать несколько замечаний более общего свойства.

Во-первых, сколь бы необычными и «экзотическими» ни могли бы показаться неискушенному читателю факты каядилта и других австралийских языков с их множественным маркированием морфосинтаксических признаков (вне зависимости от того, трактовать ли все или лишь некоторые из них как падежные), мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что эти факты могут быть описаны и объяснены в рамках единой и логичной системы понятий, применимой и к более привычным языкам Евразии. Более того, как я упоминал в § 1, на эти явления можно взглянуть и под таким углом зрения, с которого они предстанут наиболее наглядной и прозрачной иллюстрацией глубинных грамматических механизмов, возможно, действующих универсально. Типология падежных функций, разработанная А. Денчем и Н. Эвансом, была продиктована материалом австралийских языков, однако каждой из выделенных ими падежных функций можно найти соответствия в других языках; дальнейшие исследования в этой области должны показать, в какой мере такого рода гипотетические параллели являются правомерными¹⁸, однако само направление теоретизирования о падеже, предложенное в статье [Dench, Evans 1988], кажется мне исключительно перспективным.

Во-вторых, я надеюсь, что разбор монографии Э. Раунда убедительно продемонстрировал, что даже столь исключительно сложная, идиосинкратическая и на первый взгляд запутанная грамматическая система, как та, что представлена в каядилте, при должных проницательности и тщательности исследователя может быть описана с помощью небольшого числа в сущности простых понятий и правил высокой степени обобщенности. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что ни одно из используемых Э. Раундом понятий, за исключением тех, что непосредственно апеллируют к конкретным единицам каядилта, не является лингво-специфичным. В частности, постулированные для единообразного описания весьма тонких фактов каядилта отношения сопряженности и антагонизма морфосинтаксических признаков, вне всякого сомнения, необходимы для анализа самых разных языков, в том числе и русского¹⁹. Так, всякая финитная предикация в русском языке ассоциирована с морфосинтаксическими признаками лица, числа и рода подлежащего, которые, с одной стороны, сопряжены между собою, а с другой — частично антагонистичны, поскольку ни в какой глагольной словоформе признаки лица и рода не могут быть одновременно выражены морфологически.

В-третьих, анализ данных каядилта наглядно демонстрирует сложный (если угодно, диалектический) характер взаимоотношений морфологии и синтаксиса как в системе языка, так и в его описании. С одной стороны, значительная часть богатой морфологической системы каядилта существует для во многом избыточного и в большой степени иконичного поверхностного отображения его синтаксической структуры; недаром самыми многоморфными словоформами этого языка оказываются не сказуемые, а глубоко вложенные существительные, несущие показатели падежей и целого ряда приписанных им вышестоящими синтаксическими вершинами признаков. С другой стороны, несомненно и то, что морфология каядилта является а в т о м н о й в том сильном смысле, что целый ряд ее аспектов не может быть сведен ни к синтаксическим, ни к фонологическим закономерностям. Это касается как системоорганизующего принципа синхронно немотивированной полифункциональности

¹⁸ См. в этой связи статьи [Arkadiev 2013; Аркадьев 2014], в которых я подробно аргументирую применимость понятий подчинительного и ассоциирующего падежа к материалу балтийских языков.

¹⁹ Собственно, понятие сопряженности грамматических значений было впервые введено именно для русского языка в книге [Зализняк 1967: 26].

почти всех аффиксов языка, для моделирования которой неадекватно традиционное понятие морфемы, так и различных идиосинкратических правил взаимодействия аффиксов и выбора алломорфов. При этом совершенно очевидно — и книга Раунда доказывает это с большой убедительностью, — что сложная и богатая морфология каядилта не «узурпирует» функции синтаксиса, который играет в этом языке роль, возможно, еще более значительную, чем в языках, на материале которых были разработаны основные современные синтаксические модели: ведь поверхностная структура словоформы в каядилте определяется не только ее локальным синтаксическим контекстом, но и всей сложно организованной иерархической структурой содержащей эту словоформу клаузы.

Завершить настоящий обзор я хочу следующим общеметодологическим наблюдением. Задача формального описания фактов конкретного языка в большинстве современных работ решается путем приложения к определенным образом отобранному эмпирическому материалу априорных положений той или иной универсальной теории (например, реляционной грамматики в монографии [Davies 1986] о языке чокто, лексико-функциональной грамматики в диссертации [Simpson 1983] о языке вальбири или генеративной теории принципов и параметров в диссертации [Legate 2002] о том же языке), а результатом такой работы является в первую очередь демонстрация применимости избранной автором теоретической концепции к исследуемому им материалу и, возможно, дополнение теории новыми механизмами, необходимыми для адекватного описания данных.

Напротив, в практике создания описательных грамматик в последние десятилетия наметилась отчетливая тенденция избегать каких-либо априорных теоретических рамок, по крайней мере, эксплицитно связанных с конкретными формальными подходами. Ср. пассажи из введения к грамматике Н. Эванса (отчасти вопреки сказанному содержащей как элементы формального анализа, так и эксплицитные теоретические установки): «Грамматика, представленная в этой книге, сознательно избегает связанных с конкретными теориями постулатов и формализмов. Печальный опыт <...> убедил меня, что грамматики малоизвестных языков должны формулироваться как можно более простым языком <...>» [Evans 1995a: IX]²⁰. Будучи оправданной сама по себе тем очевидным соображением, что грамматика должна в первую очередь наиболее полно и непротиворечиво фиксировать факты языка и быть доступной для понимания приверженцев разных подходов, эта установка, тем не менее, содержит в себе ряд эпистемологических и методологических противоречий, связанных в первую очередь с тем, что само по себе выделение дискретных «фактов языка» и формулировка утверждений и тем более обобщений о них логически невозможны без того или иного по необходимости априорного представления о том, «как вообще устроены языки»²¹. В тех же случаях, когда такие «аксиомы» оказываются неэксплицированными (и, к сожалению, нередко неотрелифлексированными), описание фактов практически неизбежно становится неточным, недостаточно общим и нередко противоречивым.

В свете этого мне хотелось бы подчеркнуть, что книга Э. Раунда является сравнительно редким примером исследования, сочетающего достоинства эмпирически-ориентированной описательной работы и эксплицитного формализованного описания языковых фактов и одновременно практически лишенного указанных выше недостатков как «чисто формального», так и «чисто описательного» подходов. По лапидарному высказыванию самого автора, цель книги — «тщательный формальный анализ обоснованных эмпирических обобщений»

²⁰ «The grammar contained in this book deliberately eschews theory-specific assumptions and formalisms. My many frustrating experiences <...> have convinced me that grammars of little-known languages should be presented in as straightforward language as possible <...>».

²¹ В этом смысле пропагандируемые некоторыми видными типологами «атеоретические» («framework-free») подходы к описанию и сопоставлению языков (см., например, [Dryer 2006; Haspelmath 2009; 2010]) на поверку являются не более чем альтернативными теоретическими концепциями, правда, настолько нерестриктивными и технически простыми, что многим лингвистам, возможно, комфортнее работать в их рамках, чем пользоваться методами, предъявляющими более высокие требования к метаязыку описания и формулировкам обобщений.

и «скорее попытка показать, каковы те явления каядилта, на которые должна давать ответ любая теория, чем развитие какой-либо конкретной теории» [Round 2013: xii]²². По моему мнению, Раунд вполне достиг указанной цели, вдобавок убедительно продемонстрировав, что формальный, т. е. исходящий из четко артикулированных предпосылок и строго определенных понятий и последовательно использующий эксплицитные процедуры анализ эмпирического материала позволяет получить более простое, эlegantное и обладающее определенной предсказательной силой описание сколь угодно сложных языковых фактов.

По моему убеждению, такого рода работы совершенно необходимы и было бы весьма желательно, чтобы их публиковалось все больше. При этом важной предпосылкой появления исследований, подобных книге Э. Раунда, является, с одной стороны, отсутствие предубеждений против формальных методов, к сожалению, свойственное многим лингвистам, в том числе занимающимся полевыми исследованиями «экзотических» языков, и, с другой стороны, свобода от «индоктринации» ученого постулатами и методологией какого-либо «единственно верного учения», будь то генеративизм или «атеоретический подход» некоторых типологов.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1 — 1-е лицо; 2 — 2-е лицо; 3 — 3-е лицо; A — ассоциирующий падеж; AVL — аблатив; AVS — абсолютив; ACC — аккузатив; ACT — реалис («актуальная» модальность); ALL — аллатив; AOR — аорист; APPR — аппрехенсив; ASSOC — ассоциатив; C — подчинительный падеж; CAUS — каузатив; CMP, COMP — подчинительность; CONS — консекутив; DAT — датив; DES — дезидератив; DIREC — директив; DU — двойственное число; ERG — эргатив; FUT — будущее время; GEN — генитив; IMMED — иммедиадив; IMP — императив; INC — инклюзив; INS — реалис («instantiated»); INSTR — инструменталис; J — тематический элемент; LOC — локатив; M — модальный падеж; MID — медиальный залог; NAR — «нарративный» падеж; NEG — отрицание; NML — номинализация; NOM — номинатив; NPST — не-прошедшее время; NUM — число; OVL — обликвус; PL — множественное число; POSS — посессив; POT — потенциалис; PRIOR — приоратив; PRIV — приватив; PROG — прогрессив; PROP — проприетив; PRS — настоящее время; PST — прошедшее время; PTCL — частица; PURP — целевая форма; PVB — преверб; REL — релятивизация; SVJ — подлежащее; SG — единственное число; SS — односубъектность; T — терминальный элемент; TOP — топик; V — глагольный падеж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Аркадьев 2014 — Аркадьев П. М. Неканоническое падежное маркирование субъекта литовских причастий: типология и диахрония // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. 2014. № 4. С. 21—46. [Arkad'ev P. M. Non-canonical case marking of the subject of Lithuanian participles: typology and diachrony. *Vestnik MGGU im. M. A. Sholokhova*. 2014. No. 4. Pp. 21—46.]
- Беляев 2014а — Беляев О. И. Коррелятивная конструкция в осетинском языке в типологическом освещении: Дис. ... канд. филол. наук. М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, ОТиПЛ, 2014. [Belyaev O. I. *Korrelyativnaya konstruktsiya v osetinskom yazyke v tipologicheskom osveshchenii*. Kand. diss. [The correlative construction in Ossetic viewed typologically. Cand. diss.]. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2014.]
- Беляев 2014б — Беляев О. И. Осетинский язык как язык с двухпадежной системой: групповая флексия и другие парадоксы падежного маркирования // Вопросы языкознания. 2014. № 6. С. 31—65. [Belyaev O. I. Ossetic as a language with a two-case system: Suspended affixation and other paradoxes of case marking. *Voprosy jazykoznanija*. 2014. No. 6. Pp. 31—65.]
- Бурлак, Старостин 2005 — Бурлак С. А., Старостин С. А. Сравнительно-историческое языкознание. М.: Academia, 2005. [Burlak S. A., Starostin S. A. *Sravnitel'no-istoricheskoe jazykoznanie* [Comparative-historical linguistics]. Moscow: Academia, 2005.]
- Бэбби 1994 — Бэбби Л. Х. Нестандартные стратегии выбора падежа, задаваемого синтаксическим контекстом // Вопросы языкознания. 1994. № 2. С. 43—74. [Babby L. H. Noncanonical configurational case assignment strategies. *Voprosy jazykoznanija*. 1994. No. 2. Pp. 43—74.]

²² «The aim is a sound formal analysis of valid empirical generalizations. <...> rather than developing a specific theory, I attempt to clarify exactly what it is about Kayardild that any theory must respond to».

- Зализняк 1967 — Зализняк А. А. Русское именное словоизменение // Зализняк А. А. «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 1—370. [Zaliznyak A. A. Russian nominal inflection. Zaliznyak A. A. «*Russkoe imennoe slovoizmenenie*» s prilozheniem izbrannykh rabot po sovremennomu russkomu yazyku i obshchemu yazykoznaniiyu. Moscow: Yazyki Slavyanskoi Kul'tury, 2002. Pp. 1—370.]
- Казенин 2002 — Казенин К. И. Современные формальные теории синтаксиса: сопоставление трактовок грамматической анафоры // Кибрик А. А., Кобозева И. М., Секерина И. А. (ред.). Современная американская лингвистика: фундаментальные направления. М.: УРСС, 2002. С. 403—433. [Kazenin K. I. Present-day formal syntactic theories: comparison of interpretations of grammatical anaphora. *Sovremennaya amerikanskaya lingvistika: fundamental'nye napravleniya*. Kibrik A. A., Kobozeva I. M., Sekerina I. A. (eds). Moscow: URSS, 2002. Pp. 403—433.]
- Мельчук 1997 — Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. I. Введение. Часть первая: Слово. М.: Языки русской культуры; Вена: Wiener Slawistischer Almanach, 1997. [Mel'čuk I. A. *Kurs obshchei morfologii. T. I. Vvedenie. Chast' pervaya: Slovo* [A course in general morphology. Vol. I. Introduction. Part I: The word]. Moscow: Yazyki Russkoi Kul'tury; Vienna: Wiener Slawistischer Almanach, 1997.]
- НКРЯ — Национальный корпус русского языка. <http://www.ruscorpora.ru>. [Natsional'nyi korpus russkogo yazyka [Russian National Corpus]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru>.]
- Плунгян 2011 — Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. [Plungian V. A. *Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: Grammaticheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira* [Introduction to grammatical semantics: grammatical meanings and grammatical systems of the world's languages]. Moscow: Russian State University for the Humanities, 2011.]
- Anderson 1992 — Anderson S. R. *A-Morphous Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Andrews 1996 — Andrews A. Semantic case-stacking and inside-out unification. *Australian Journal of Linguistics*. 1996. Vol. 16. No. 1. Pp. 1—55.
- Arkadiev 2013 — Arkadiev P. M. Marking of subjects and objects in Lithuanian non-finite clauses: A typological and diachronic perspective. *Linguistic Typology*. 2013. Vol. 17. No. 3. Pp. 397—437.
- Arkadiev 2014 — Arkadiev P. M. Case and word order in Lithuanian infinitival clauses revisited. *Grammatical Relations and their Non-Canonical Encoding in Baltic*. Holvoet A., Nau N. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2014. Pp. 43—95.
- Aronoff 1994 — Aronoff M. *Morphology by Itself. Stems and Inflectional Classes*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.
- Austin 1995 — Austin P. K. Double case marking in Kanyara and Mantharta languages, Western Australia. *Double Case. Agreement by Suffixaufnahme*. Plank F. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1995. Pp. 363—379.
- Austin 1998 — Austin P. K. *Argument coding and clause linkage in Australian aboriginal languages*. Ms., 1998.
- Austin 2001 — Austin P. K. Word order in a free word order language: the case of Jiwari. *Forty Years on: Ken Hale and Australian Languages*. Simpson J., Nash D., Laughren M., Austin P., Alpher B. (eds). Canberra: Australian National University, 2001. Pp. 305—324.
- Austin, Bresnan 1996 — Austin P. K., Bresnan J. Non-configurationality in Australian aboriginal languages. *Natural Language and Linguistic Theory*. 1996. Vol. 14. No. 2. Pp. 215—268.
- Blake 1977 — Blake B. J. *Case Marking in Australian Languages*. Canberra: Australian Institute for Aboriginal Studies, 1977.
- Blake 1994 — Blake B. J. *Case*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Börjars, Vincent 2000 — Börjars K., Vincent N. Multiple case and the 'wimpiness' of morphology. *Argument Realization*. Butt M., King T. H. (eds). Stanford, CA: CSLI Publications, 2000. Pp. 13—37.
- Bresnan 2001 — Bresnan J. *Lexical-Functional Syntax*. Oxford: Blackwell, 2001.
- Chomsky 2000 — Chomsky N. Minimalist inquiries: The framework. *Step by step: Essays on minimalist syntax in honor of Howard Lasnik*. Martin R., Michaels D., Uriagereka J. (eds). Cambridge, MA: MIT Press, 2000. Pp. 89—115.
- Cinque 1999 — Cinque G. *Adverbs and functional heads. A cross-linguistic perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Cinque 2006 — Cinque G. *Restructuring and functional heads*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Cinque, Rizzi 2008 — Cinque G., Rizzi L. The cartography of syntactic structures. *CISCL Working Papers*. 2008. Vol. 2. Pp. 42—58.
- Corbett 2006 — Corbett G. G. *Agreement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

- Corbett 2012 — Corbett G. G. *Features*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Cruschina et al. (eds) 2013 — *The boundaries of pure morphology. Diachronic and synchronic perspectives*. Cruschina S., Maiden M., Smith J. Ch. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Dalrymple 2001 — Dalrymple M. *Lexical-functional grammar*. New York: Academic press, 2001.
- Davies 1986 — Davies W. D. *Choctaw verb agreement and universal grammar*. Dordrecht: Reidel, 1986.
- Dench 2006 — Dench A. Case marking strategies in subordinate clauses in Pilbara languages — some diachronic speculations. *Australian journal of linguistics*. 2006. V. 26. No. 1. Pp. 81—105.
- Dench 2009 — Dench A. Case in an Australian language: Distribution of case and multiple case marking in Nyamal. *The Oxford handbook of case*. Spencer A., Malchukov A. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2009. Pp. 756—769.
- Dench, Evans 1988 — Dench A., Evans N. Multiple case-marking in Australian languages. *Australian journal of linguistics*. 1988. Vol. 8. No. 1. Pp. 1—47.
- Dixon 1972 — Dixon R. M. W. *The Dyirbal language of North Queensland*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
- Dixon 2004 — Dixon R. M. W. *Australian languages. Their nature and development*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Dryer 2006 — Dryer M. Functionalism and the theory-metalanguage confusion. *Phonology, morphology, and the empirical imperative: Papers in honour of Bruce Derwing*. Wiebe G., Libben G., Priestly T., Smyth R., Wang S. (eds). Taipei: The Crane Publishing Company, 2006. Pp. 27—59.
- Erschler 2009 — Erschler D. On case conflicts in Russian: An optimality-theoretic approach. *Studies in formal Slavic phonology, morphology, syntax, semantics and information structure. Proceedings of FDSL 7, Leipzig 2007*. Zybatow G., Junghanns U., Lenertova D., Biskup P. (eds). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. Pp. 119—131.
- Evans 1985 — Evans N. *A grammar of Kayardild: With historical-comparative notes on Tangkic*. Canberra: Australian National University, 1985.
- Evans 1995a — Evans N. *A grammar of Kayardild. With historical-comparative notes on Tangkic*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.
- Evans 1995b — Evans N. Multiple case in Kayardild: Anti-ionic suffix ordering and the diachronic filter. *Double case. Agreement by Suffixaufnahme*. Plank F. (ed.). New York, Oxford: Oxford University Press, 1995. Pp. 396—428.
- Evans 2003 — Evans N. Typologies of agreement: Some problems of Kayardild. *Special issue on agreement, transactions of the Philological Society*. 2003. Vol. 101. No. 2. Pp. 203—234.
- Evans 2007 — Evans N. Insubordination and its uses. *Finiteness: Theoretical and empirical foundations*. Nikolaeva I. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 366—431.
- Evans, Levinson 2009 — Evans N., Levinson S. C. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science. *Behavioral and brain sciences*. 2009. Vol. 32. Pp. 429—492.
- Evans, Nordlinger 2004 — Evans N., Nordlinger R. Extreme morphological shift: Verbal case in Kayardild. Handout for paper presented at LFG04 conference, Christchurch N. Z., July 2004.
- Everett 2005 — Everett D. L. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design feature of human language. *Current anthropology*. 2005. Vol. 46. No. 4. Pp. 621—646.
- Hale 1981 — Hale K. L. *The position of Walbiri in a typology of the base*. Bloomington, IN: Indiana University Linguistics Club, 1981.
- Hale 1982 — Hale K. L. Some essential features of Warlpiri verbal clauses. *Papers in Warlpiri grammar. In memory of Lothar Jagst*. Swartz S. (ed.). Darwin: SIL, 1982. Pp. 217—315.
- Hale 1983 — Hale K. L. Warlpiri and the grammar of non-configurational languages. *Natural language and linguistic theory*. 1983. Vol. 1. No. 1. Pp. 5—47.
- Haspelmath 2009 — Haspelmath M. Framework-free grammatical theory. *The Oxford handbook of linguistic analysis*. Heine B., Narrog H. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2009. Pp. 375—402.
- Haspelmath 2010 — Haspelmath M. Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic studies. *Language*. 2010. Vol. 86. No. 3. Pp. 663—687.
- Hauser et al. 2002 — Hauser M. D., Chomsky N., Fitch W. T. The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? *Science*. 2002. Vol. 298. Pp. 1569—1579.
- Heath 1979 — Heath J. Is Dyirbal ergative? *Linguistics*. 1979. Vol. 17. No. 5/6. Pp. 401—463.
- Heath 1986 — Heath J. Syntactic and lexical aspects of nonconfigurationality in Nunggubuyu (Australia). *Natural language and linguistic theory*. 1986. Vol. 4. No. 3. Pp. 375—408.
- Jelinek 1984 — Jelinek E. Empty categories, case, and configurationality. *Natural language and linguistic theory*. 1984. Vol. 2. No. 1. Pp. 39—76.

- Kibort 2010 — Kibort A. Toward a typology of grammatical features. *Features. Perspectives on a key notion in linguistics*. Kibort A., Corbett G. G. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2010. Pp. 64—106.
- Kibort 2011 — Kibort A. The feature of tense at the interface of morphology and semantics. *Morphology and its interfaces*. Galani A., Hicks G., Tsoulas G. (eds). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011. Pp. 229—251.
- Legate 2002 — Legate J. A. *Warlpiri: Theoretical Implications*. PhD Diss. MIT, 2002.
- Legate et al. 2014 — Legate J. A., Pesetsky D., Yang Ch. Recursive misinterpretations: A reply to Levinson (2013). *Language*. 2014. Vol. 90. No. 2. Pp. 515—528.
- Levinson 2013 — Levinson S. C. Recursion in pragmatics. *Language*. Vol. 89. 2013. No. 1. Pp. 149—162.
- Maiden 2005 — Maiden M. Morphological autonomy and diachrony. *Yearbook of morphology 2004*. van Marle J., Boiji G. (eds). Dordrecht: Kluwer, 2005. Pp. 137—175.
- Maiden 2009 — Maiden M. From pure phonology to pure morphology: The reshaping of the Romance verb. *Recherches linguistiques de Vincennes*. 2009. Vol. 38. Pp. 45—82.
- Matthews 1972 — Matthews P. H. *Inflectional morphology: A Theoretical study based on aspects of Latin verb conjugation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
- Matushansky 2008 — Matushansky O. A case study of predication. *Studies in formal Slavic linguistics. Contributions from formal description of Slavic languages 6.5*. Marušić F., Žaucer R. (eds). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008. Pp. 213—239.
- Matushansky 2010 — Matushansky O. Russian predicate case, encore. *Formal studies in Slavic linguistics, proceedings of FDSL 7.5*. Zybatow G., Dudchuk P., Minor S., Pshehotskaya E. (eds). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. Pp. 117—135.
- Matushansky 2012 — Matushansky O. On the internal structure of case in Finno-Ugric small clauses. *Finno-Ugric languages and linguistics*. 2012. Vol. 1. №. 1/2. Pp. 3—43.
- Merchant 2006 — Merchant J. Polyvalent case, geometric hierarchies, and split ergativity. *Proceedings of the 42nd Annual meeting of the Chicago linguistic society*. Vol. 2. Bunting J., Desai S., Peachey R., Straughn C., Tomkova Z. (eds). Chicago, Ill., 2006. Pp. 47—67.
- Nash 1980 — Nash D. G. *Topics in Warlpiri grammar*. PhD diss. MIT, 1980.
- Ne vins et al. 2009 — Ne vins I. A., Pesetsky D., Rodrigues C. Pirahã exceptionality: A reassessment. *Language*. 2009. Vol. 85. No. 2. Pp. 355—404.
- Nordlinger 1998 — Nordlinger R. *Constructive Case: Evidence from Australian languages*. Stanford: CSLI, 1998.
- Nordlinger 2014 — Nordlinger R. Constituency and grammatical relations in Australian languages. *The languages and linguistics of Australia: A comprehensive guide*. Koch H., Nordlinger R. (eds). Berlin: Mouton de Gruyter, 2014. Pp. 215—261.
- Nordlinger, Sadler 2006 — Nordlinger R., Sadler L. Case stacking in realizational morphology. *Linguistics*. 2006. Vol. 44. No. 3. Pp. 459—487.
- Pesetsky, Torrego 2004 — Pesetsky D., Torrego E. Tense, case and the nature of syntactic categories. *Syntax of time*. Guéron J., Lecarme J. (eds). Cambridge, MA: MIT Press, 2004. Pp. 495—537.
- Plank (ed.) 1995 — *Double Case. Agreement by Suffixaufnahme*. Plank F. (ed.). Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Preminger 2011 — Preminger O. Agreement as a fallible operation. PhD diss. MIT, 2011.
- Richards 2013 — Richards N. Lardil «case stacking» and the timing of case assignment. *Syntax*. 2013. Vol. 61. No. 1. Pp. 42—76.
- Rizzi 1997 — Rizzi L. The fine structure of the left periphery. *Elements of grammar*. Haegeman L. (ed.). Dordrecht: Kluwer, 1997. Pp. 281—337.
- Round 2009 — Round E. *Kayardild morphology, phonology and morphosyntax*. PhD diss. Yale University, 2009.
- Round 2013 — Round E. *Kayardild morphology and syntax*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Sakel, Stapert 2010 — Sakel J., Stapert E. Pirahã — in need of recursive syntax? *Recursion and human language*. van der Hulst H. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2010. Pp. 3—16.
- Simpson 1983 — Simpson J. H. *Aspects of Warlpiri morphology and syntax*. PhD Diss. MIT, 1983.
- Stump 2001 — Stump G. T. *Inflectional morphology. A theory of paradigm structure*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- van der Hulst (ed.) 2010 — *Recursion and human language*. van der Hulst H. (ed.). Berlin: Mouton de Gruyter, 2010.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ / BIBLIOGRAPHY. REVIEWS

РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS

A. Holvoet, N. Nau (eds). **Grammatical relations and their non-canonical encoding in Baltic**. Amsterdam: John Benjamins, 2014. vii + 370 p. (Valency, argument realization and grammatical relations in Baltic. Vol. 1.) ISBN 978-9-02-725909-7.

Александр Борисович Летучий

Alexander B. Letuchiy

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, 101000, Россия
alexander.letuchiy@gmail.com

National Research University «Higher School of Economics», Moscow, 101000, Russia
alexander.letuchiy@gmail.com

Балтийские языки давно стали объектом пристального внимания лингвистов, но это внимание до недавнего времени было несколько односторонним. Как правило, эта группа языков изучалась в сравнительно-исторической перспективе. Поскольку было замечено, что балтийские языки (особенно литовский) отражают многие архаичные черты, их данными активно пользовались при построении гипотез об устройстве праязыка индоевропейцев. Однако не так давно ситуация стала меняться, и балтийские языки привлекли и внимание синхронистов (как типологов и теоретиков, так и «чистых» дескриптивистов). Сегодня балтийский материал — это неотъемлемая часть исследований по аспекту, эвиденциальности, валентности и переходности. К числу таких исследований принадлежит и рецензируемый сборник.

Тема сборника — грамматические отношения и их неканоническое кодирование в балтийских языках. В число грамматических отношений (синтаксических ролей) стандартно включаются такие роли подлежащего (S), прямого дополнения (DO) и непрямого дополнения (IO). В некоторых случаях оказывается полезным выделить также роли косвенного дополнения (Obl), агентивного дополнения при пассиве (AInstr) и др. Впрочем, большинство статей рецензируемого сборника использует усеченный вариант иерархии, состоящий из S и DO. Данный подход вполне обоснован для языков типа славянских или балтийских, где синтаксическое поведение подлежащего и прямого дополнения существенно отличается от поведения всех остальных составляющих, тогда как не прямое дополнение не имеет никаких выраженных диагностических признаков.

В этой связи нам кажется, что для такого сборника было бы полезным теоретическое введение, обсуждающее собственно понятия грамматического отношения (в том числе подходы, где это понятие считается ненужным, см., например, [Croft 2001]) и их приложимость к языкам различных типов (см. [Keenan, Comrie 1977; Dowty 1991]). Конечно, большая часть читателей сборника знакома с аппаратом синтаксических отношений, однако краткое изложение авторской позиции было бы полезно.

В сборник входит вводная статья, посвященная кодированию аргументов в балтийских языках, и семь статей более узкой направленности. Балтийские языки представлены в сборнике не совсем равномерно (три статьи посвящены только литовскому, еще одна — его сопоставлению с исландским), однако это вполне объяснимо. Литовский язык вообще гораздо лучше освещен в рамках современных лингвистических теорий, чем латышский и, тем более, латгальский. В частности, местная лингвистическая традиция в Литве развита гораздо сильнее, чем в Латвии, см. хотя бы работы Витаутаса Амбразаса.

Введение «Argument marking and grammatical relations in Baltic» (авторы — А. Хольфут и Н. Най) — это обзор проблематики, связанной с кодированием аргументов в балтийских языках.

Авторы отмечают, что, хотя каноническая переходная модель с подлежащим в именительном падеже и дополнением в винительном весьма распространена, для маркирования аргументов широко используются и периферийные падежи. Их функции и степень употребительности несколько различается между языками: так, в литовском в аргументной функции нередко используется инструменталь, а в латышском — локатив. В обоих языках аргументы могут маркироваться дативом и генитивом.

Помимо лексически обусловленного неканонического маркирования, засвидетельствованы случаи, когда при одном и том же глаголе маркирование объекта может быть разным (дифференциальное маркирование объекта). К ним относятся генитив при отрицании (в литовском он может возникать даже при отрицании в другой клаузе) и партитивный генитив, обозначающий неопределенное количество или часть объекта. Специфически латышский случай — конкуренция датива и аккузатива при глаголах физического воздействия типа *spert* ‘ударить ногой’, *kost* ‘укусить’. Различие между падежами заключается, вероятно, в аспектуальных свойствах ситуации (считается, что датив стандартно используется при обозначении однократной ситуации).

Интересной чертой балтийского синтаксиса является связь маркирования объекта с формой глагола. Так, в литовском при супине и инфинитиве от переходного глагола стандартно используется генитив, тогда как в латышском инфинитив управляет аккузативом. Однако этим набор возможных конструкций не исчерпывается: литовский и латышский имеют и конструкции «инфинитив + датив» и даже «инфинитив + номинатив» при безличной глаузе (букв. ‘нужно причесать **голова**’). Последняя конструкция роднит балтийские языки с финно-угорскими и с севернорусскими диалектами, где инфинитив также способен управлять номинативом объекта.

Статья П. М. Аркадьева «Case and word order in Lithuanian participial clauses revisited» посвящена кодированию объекта в инфинитивных конструкциях. Из предшествующей литературы известно, что в позиции объекта переходного глагола при инфинитиве могут конкурировать аккузатив, номинатив, генитив и датив. Автор исследует условия употребления каждого из падежей. Нужно отметить четкую методологическую и теоретическую направленность статьи — она ориентирована на аппарат современной порождающей грамматики.

В статье подробно обсуждается единственная работа, где ранее речь шла о данном случае вариативности — статья Дж. Лэвайна и С. Фрэнкса [Franks, Lavine 2006]. Авторы рассматривают вариативность при инфинитиве в рамках минималистской теории. Важным компонентом современной теории падежа является теория фаз — составляющих, которые блокируют воздействие на свои компоненты из внешнего контекста.

Однако автор во многом расходится с выводами статьи. В частности, он обнаруживает, что возможность замены на датив существует не только для аккузатива (при переходных глаголах), но и для генитива (при глаголах типа *išvengi* ‘избегать’). Корреляция маркирования инфинитивного дополнения дативом vs. генитивом с порядком следования глагола и дополнения — не такая однозначная, как предполагают Фрэнкс и Лэвайн. Замена аккузатива на датив не обязательна, во всяком случае, некоторые носители допускают сохранение аккузативного маркирования даже в целевых конструкциях.

После весьма квалифицированного обзора типологических параллелей литовской ситуации автор переходит к собственному анализу. П. М. Аркадьев опирается на теорию, предложенную Орой Матушански [Matushansky 2008]: предполагается, что падежные признаки приписываются вершине своему комплементу, а затем распространяются от него на все составляющие, расположенные ниже в дереве. Другой вопрос, почему не во всех случаях реализуются все падежные значения (подобная «всеобщая» реализация привела бы к тому, что на многих именных группах были бы маркированы два или более падежей).

П. М. Аркадьев считает, что реализовать одновременно несколько падежей мешают иерархические правила, которые упорядочивают конкурирующие падежные значения. Так, в конкуренции датива и аккузатива способен победить любой падеж, однако в конкуренции датива и генитива чаще побеждает генитив (отсюда редкость структур, где при инфинитиве вместо генитива из модели управления реализуется датив).

Статья крайне интересна, поскольку эмпирические наблюдения в ней подкреплены формальным анализом. Более того, здесь мы видим не просто анализ изолированных структур, но и общий принцип: вершина присваивает падеж дополнению и всем более «низким» составляющим. Впрочем, нужно отметить, что слабым местом такого рода теории являются именно конкретно-языковые иерархии, требующие выбора одного из падежных значений. Как кажется, эти иерархии во многом выдвигаются *ad hoc*, отражая наблюдаемые факты, но не всегда их объясняя, например: «Из датива и аккузатива может выбираться любой падеж». В этом смысле получается, что переход от крайне «разрешительной» теории к довольно «строгим» языковым данным, так сказать, объявляется произволом конкретных языковых систем. Кажется, что постулирование множественного присваивания падежа просто переносит проблему на другой уровень. Достоинство этой теории состоит в том, что она предусматривает многие экзотические случаи падежной вариативности, а недостаток — в крайне трудоемкой задаче по отделению всех несуществующих или редких случаев от частотных.

Следующая статья А. Хольфута и М. Гжибовской «Non-canonical grammatical relations in a modal construction: The Latvian debitive» также посвящена проблеме неканонического маркирования объекта, обусловленного формой глагола. Здесь в центре внимания оказывается дебитив — латышская форма с префиксом *ja-*, которая, будучи образованной от глагола 'P', означает 'должно быть P' или 'X должен сделать P'.

При образовании дебитива субъект исходного предиката маркируется дативом, а объект — номинативом или (в случае местоимений 1-го и 2-го лица) аккузативом (впрочем, вне литературного языка допускается аккузативное маркирование любых типов объектов). Дебитивная форма не спрягается (функцию маркирования видо-временных значений несет глагол 'быть', а настоящее время маркируется нулем).

Авторы кратко рассматривают вопрос об аргументной структуре модальных конструкций. В частности, отмечается, что неэпистемические модальные предикаты часто «выбирают» в качестве основного актанта одного (как правило, одушевленного) участника, который и осознается как субъект возможности или необходимости — тот, кто может или должен что-нибудь сделать. Более того, оказывается, что некоторые модальные предикаты (например, 'надо') невозможны в отсутствие одушевленного участника, хотя бы в какой-то мере контролирующей ситуацию. Несколько странно, что авторы не дают ответа на вопрос, есть ли ограничения на одушевленность у дебитива (при этом статья не содержит ни одного примера, где бы исходный субъект при дебитиве был неодушевленным).

Центральная часть статьи посвящена грамматическому статусу актантов при дебитиве. В целом синтаксические тесты показывают, что больше субъектных свойств имеет исходный субъект в дативе. В частности, именно он способен контролировать рефлексивные показатели (аргументный рефлексив и посессивный рефлексив). Однако это лишь тенденция, а не жесткое правило. Поскольку ситуация с рефлексивом очень интересна, на этой части статьи мы остановимся более подробно.

Во-первых, существуют структуры, где вместо посессивного рефлексива, относящегося к дативному аргументу, употребляется местоимение 3-го лица: выбирается не вариант 'Они (DAT) должны делать **свою** работу', а вариант 'Они (DAT) должны делать **их** работу'. По свидетельствам авторов, количество таких примеров существенно больше, чем при контроле в именительном падеже в стандартной конструкции типа 'Они читают свои книги'.

Во-вторых, номинативный аргумент конструкции (исходный объект) также иногда контролирует посессивный рефлексив. Это может происходить, когда данный аргумент топикализован и находится в начале предложения.

Ситуация с рефлексивом, по свидетельству авторов, отражает общую черту дебитивной конструкции: это конструкция с диффузными грамматическими отношениями — ни один из аргументов не является ни прототипическим субъектом, ни прототипическим объектом. Сходный результат дает и морфологический тест на согласование. В стандартном случае номинатив в латышском контролирует согласование причастий (например, в плюсквамперфекте типа ‘Маленьким девочкам нравились-F (PLSQP) принцессы’ причастие согласуется по роду со словом ‘принцессы’). Однако номинатив при дебитиве не контролирует согласование на причастии от глагола ‘быть’. Если этот глагол находится, например, в перфекте, причастие чаще не согласуется, чем согласуется. Иными словами, в предложении ‘Раньше нужно было (PERF) читать новости’ перфектное причастие глагола ‘быть’ обычно не принимает формы женского рода, хотя слово ‘новость’ женского рода.

Здесь, правда, нужно сказать, что объяснение авторов кажется усложненным. Утверждается, что мы наблюдаем грамматикализацию дебитива, который перестает быть полноправным членом глагольной парадигмы, а вспомогательный глагол в дебитивной конструкции утрачивает согласование. Однако кажется, что использовать понятие грамматикализации здесь не вполне обязательно. Возможно, следовало бы считать, что разный статус в дебитивной конструкции и в формах типа плюсквамперфекта имеет глагол ‘быть’ (в первом случае это глагол-связка, маркирующий время, отсутствующее в форме дебитива, во втором — вспомогательный глагол, часть сложной видо-временной формы). Вспомогательный глагол — это часть формы лексического глагола, а значит, он сильнее связан с аргументами лексического глагола (в нашем случае — ‘нравиться’), чем связка — с аргументами дебитива. Тем самым, отсутствие согласования при сложном времени дебитивной конструкции можно объяснить статусом глагола ‘быть’, а не дебитивной формы.

Единственное место в системе, где больше «субъектных» свойств проявляет номинативный объект дебитива, — это сочинительное сокращение. Сокращение типа ‘Эти проблемы взаимосвязаны и **должны** рассматриваться с осторожностью’ возможно, если дебитив находится во второй части дебитивной конструкции. Для датива сочинительное сокращение с номинативным каноническим субъектом невозможно. Однако, как и указывают авторы, вряд ли это различие связано с субъектностью. Номинатив при дебитиве может сокращаться просто в силу совпадения падежа с падежом подлежащего, выраженного в первой части (‘проблемы взаимосвязаны’).

Итак, ни один из аргументов конструкции не имеет полного набора субъектных свойств. Говоря о характеристиках аргументов дебитива, авторы придают большое значение тому факту, что при топикализации номинативный аргумент может получить больший, чем обычно, набор субъектных свойств. Эта ситуация описывается термином «recoverable subjecthood» (‘восстанавливаемая субъектность’): в дебитивной конструкции номинативный аргумент утрачивает обычно присущие ему субъектные свойства, но может «восстановить» их при определенных коммуникативных изменениях.

В последней части статьи авторы возвращаются к вариативности в маркировании объекта (напомним, в диалектах и просторечии он может маркироваться не номинативом, а аккузативом; для местоимений первых двух лиц аккузативное маркирование является единственным вариантом и в литературном языке). Авторы с осторожностью говорят об историческом развитии современной конструкции, но все же приходят к выводу, что вариант с аккузативом (вероятно, более новый, чем номинативный) может быть результатом выравнивания семантических ролей и падежного маркирования. При номинативном маркировании неодушевленный объектный участник маркируется, тем не менее, **субъектным** падежом, тогда как одушевленный партиципant получает дативное маркирование. Это несоответствие устраняется, когда объект начинает маркироваться аккузативом — типично **объектным** падежом, нередко уступающим дативу по разным синтаксическим критериям. К сожалению, сохранившиеся исторически источники не позволяют полностью проследить эволюцию маркирования объекта при дебитиве. Во всяком случае, латышская ситуация — это интересный пример отмеченного, например, в [Haspelmath 2001] перехода

от неканонического к каноническому маркированию актанта глагола. В будущем могло бы быть полезно проследить на типологическом материале конкуренцию двух факторов: стремления языка к каноническому (аккузативному) маркированию объекта vs. стремления языка к канонической (в частности, содержащей номинатив, т. е. не безличной) валентностной структуре.

Кристина Ленартайте-Готаучене в работе «Alternations in argument realization and problematic cases of subjecthood in Lithuanian» сосредоточилась на анализе одного случая вариативности маркирования актантов в литовском языке. Это так называемая 'swarm alternation': имеются в виду случаи типа *Bees swarm in the garden* 'В саду кишат пчелы' vs. *The garden swarms with bees* 'Сад кишит пчелами'. При одном и том же глаголе *swarm* 'кишеть, роиться' (а также при русском глаголе *кишеть*) подлежащим может быть и место (сад), и агенс или тема, многочисленные объекты (пчелы).

В литовском языке есть пять классов, для которых засвидетельствована такого рода вариативность: (i) глаголы движения многочисленных субъектов ('кишеть, роиться', 'течь'), (ii) глаголы звука ('звучать'), (iii) глаголы света и цвета ('блестеть', 'краснеть'), (iv) глаголы запаха ('пахнуть, вонять') и (v) особый морфологический класс лексем с приставкой *pri-*, обозначающий движение большого числа субъектов в одно место ('понабежать', 'собраться толпой'). При этом первые четыре семантических класса, как показано в работах Д. Даути, способны к такой вариативности и в английском.

В то же время литовская система не тождественна английской. Во-первых, в ней имеется класс (v), где вариативность обусловлена формально (она проявляется практически у всех переходных глаголов с приставкой *pri-*).

Во-вторых, набор возможных моделей в литовском многочисленнее английского. Существуют не только модели, напрямую соответствующие английским: 1) субъект в номинативе, тема в другом падеже и 2) субъект (место) в номинативе, тема оформлена периферийным падежом или выражена предложной группой, — но и третья модель, где место выражено каким-либо неноминативным падежом, а другой актант имеет форму генитива в партитивном значении. Именно она наблюдается у глаголов на *pri-* (*Kambar-i pribėgo vandens* [комната-ACC.SG течь.PST.3 вода-GEN.SG], букв. 'Комнату натекло воды'). Однако и глаголы других классов допускают модель с актантом в генитиве (например, 'в шерсти собаки кишит блох').

Автор отмечает, что вариативность типа *swarm* тесно связана с локативным значением. Как правило, для глаголов всех пяти классов (в рассматриваемых значениях) обязательно выражение локативного актанта. Второй семантической составляющей альтернирующих глаголов является множественность нелокативного актанта. И если, согласно Д. Даути, в английском это требование действует только для варианта с локативным субъектом, то в литовском — для обоих: абсолютно невозможны предложения вида 'Склоны кишат тридцатью альпинистами', но близок к неприемлемости и вариант 'Тридцать альпинистов кишат на склонах'. Не случайно многие глаголы рассматриваемых пяти классов допускают маркирование одного из актантов партитивным генитивом — это падежное маркирование обозначает именно неопределенность количества объектов.

Автор напоминает, что в значении английских предложений с субъектом-местом часто усматривается значение 'полного охвата' места (например, предложение 'Стол кишит муравьями' подразумевает, что муравьи имеются во всех частях стола). Это же требование действует и для литовского языка и тоже связано с неопределенностью количества объектов, заполняющих место.

Из классов глаголов, способных к вариативности, особые свойства имеют глаголы запаха. Именно они способны, помимо двух стандартных моделей (место-ЛОК, тема-НОМ и место-НОМ, тема-ИНС), иметь модель управления без канонического субъекта (место-ЛОК, тема-ИНС, букв. 'На улице пахнет сиренью', ср. аналогичную конструкцию с русскими глаголами запаха: *пахнуть, вонять*, разг. *нести*, прост. *пасти*). Глаголы других классов крайне редко образуют такую конструкцию. Данная особенность глаголов запаха

связана с особенностью языковой концептуализации обоняния: запах может быть отделен от своего источника. Если в предложениях с номинативом темы глагол 'пахнуть' и его аналоги обозначают присутствие в некотором месте источника запаха (ср. 'Розы прекрасно пахли', где розы, скорее всего, находятся в сфере восприятия говорящего), то в предложениях с двумя неноминативными группами говорящий ощущает запах, но не видит его источника (ср. 'Здесь пахнет розами, хотя роз в этой комнате никогда не было'). Такое разделение источника ощущения и самого ощущения невозможно, например, для зрения и почти невозможно для слуха (предложение типа 'На улице играет гитара' подразумевает, что гитара действительно присутствует в сфере восприятия, хотя, возможно, не видна говорящему).

Крайне интересна часть статьи, посвященная коммуникативной функции вариативного маркирования актантов. Ключевым понятием является «презентационная конструкция» в понимании К. Ламбрехта. Это конструкция, где синтаксический субъект является не темой, как в стандартном случае, а ремой (например, *Жила-была бедная старушка*).

Если в конструкциях с субъектом-местом мы наблюдаем стандартную коммуникативную структуру с субъектом-топиком, то конструкции с субъектом-темой (и бессубъектные конструкции с глаголами запаха) относятся к презентационному типу. Они вводят в дискурс новый референт, который ранее не был активирован: например, в предложении 'в саду пахли цветы' в рассмотрение вводятся цветы.

Очень важно, что теоретический аппарат Ламбрехта позволяет связать коммуникативные свойства литовских конструкций с синтаксическими. Ламбрехт [Lambrecht 2000] предлагает принцип субъектно-объектной нейтрализации: «В конструкции с субъектом-фокусом субъект нередко имеет все или некоторые морфосинтаксические характеристики, которые в конструкции с предикатным фокусом (т. е. в стандартной конструкции. — А. Л.) присущи объекту»¹. Впрочем, надо отметить, что в статье не проводится серьезного анализа синтаксических свойств актантов каждой из конструкций, помимо собственно их падежного маркирования. Однако автор показывает, что в конструкциях вида 'В саду кишат пчелы' нелокативный участник ('пчелы') во многом лишен агентивных свойств и является скорее темой, нежели агенсом. Отсюда, в частности, и возможность его маркирования партитивным генитивом, стандартно оформляющим неагентивных или не вполне агентивных участников.

Отметим, что автор придерживается трехуровневого подхода к определению субъекта, предложенного И. Ливитц [Livitz 2006]. Понятие субъекта базируется на трех типах характеристик (в терминологии И. Ливитц — «примитивов»): тематических (семантической роли), синтаксических и прагматических. Этот подход весьма оправдан для литовского материала, где оформление участников вариативно, причем ни один из них не является прототипическим агенсом или пациенсом.

В частности, с точки зрения семантической роли оба участника занимают промежуточную позицию в иерархии семантических ролей, предложенной Беллетти и Рицци: агенс > экспериенцер > тема > цель / источник / место > способ действия / время.

Хотя одним из актантов при рассматриваемых глаголах может быть и агенс, автор показывает, что он в большой мере теряет свою агентивность. Тем самым, и участник-место и другой участник занимают в иерархии позицию, близкую к середине. Ни один из них не является каноническим субъектом, а значит, между ними возникает конкуренция за субъектную позицию, что и приводит к вариативности модели управления.

Синтаксический уровень — самый простой для анализа литовских данных. Номинативная ИГ практически всегда может считаться субъектной (ситуация осложняется в подчиненных клаузах, см. статью П. М. Аркадзева в рецензируемом сборнике). Однако существенно, что имеются и конструкции, где ни один из участников не оформлен номинативом, а значит, канонический грамматический субъект отсутствует.

¹ [Lambrecht 2000: 626], перевод наш.

Наконец, с дискурсивной точки зрения в стандартном случае субъект является темой — а в литовских конструкциях эта тенденция нередко нарушается (см. выше о презентационных структурах).

Тем самым, на каждом из выделяемых Ливитц уровней субъектности у литовских глаголов типа ‘кишеть’ может возникать разделение субъектных свойств между участниками, либо субъект может на данном уровне просто отсутствовать. Кроме того, проверка грамматической, дискурсивной и тематической субъектности может давать разные результаты. Это сложное распределение субъектных свойств и приводит к вариативности модели управления.

Р. Микульскас в работе «Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian» рассматривает грамматические отношения в связочной конструкции спецификации. Имеются в виду конструкции, где первая позиция занята ИГ, выражающей социальный статус, должность, оценку или подобное значение (в терминах автора — идентифицирует некоторую роль), а вторая — именем уникального объекта, например: *Победитель гонки — Джон; Главная проблема — это мои друзья.*

Конструкции такого рода представляют проблему для любого подхода к грамматическим отношениям (см., например, анализ русских данных в работе [Падучева, Успенский 2002]). Во многих языках маркирование двух ИГ в связочной конструкции не различается, а значит, непонятно, какая из них является подлежащим, а какая функционирует как часть сказуемого.

В частности, ряд исследователей, работающих в русле формальной семантики, например Б. Парти и Л. Хэгги, полагают, что базовым является тип, где конкретно-референтная (чаще всего называющая уникальный объект) ИГ занимает первую позицию: *Джон — победитель гонки.* Затем происходит инверсия. Особенно актуален в этой связи вопрос субъектных свойств каждого из компонентов.

Однако автор придерживается другого подхода — когнитивной грамматики, представленной, например, Дж. Лангакером и М. Тэйлором. В этой модели грамматические отношения — не конкретно-языковые сущности, выявляемые поведенческими тестами, а универсальные понятия. Глаголы и другие предикаты в этой модели представляют своего рода шаблоны событий (например, для переходного глагола — шаблон ‘Агенса своими действиями влияет на Пациенса’). Субъект также метафорически описывается как *trajectory* (движущийся объект), а объект — как *landmark* (ориентир) в том смысле, что именно субъект стандартно агентивен и приводит ситуацию к развиту, тогда как объект лишь затронут ей. Наконец, считается, что субъект является первичным (главным) фокусом внимания в высказывании, а объект — вторичным фокусом.

Отметим, что изложение аппарата когнитивной грамматики для рассматриваемой статьи кажется несколько избыточным. Отчасти оно даже вредит изложению, поскольку отвлекает внимание читателя от собственно связочных конструкций.

В дальнейшем Р. Микульскас более подробно излагает подход когнитивной грамматики к синтаксису. Так, конструкции со связкой и прилагательными (*Jane is tall*) проблемы не представляют, поскольку для прилагательного естественно быть частью сложного предиката (другой частью является сама связка, выражающая финитные категории сложного предиката). Конструкции ИГ + ИГ не столь просты и очень многообразны. Лангакер делит их на эквивалентный тип (*Цицерон — Туллий*) и тип включения (*Цицерон — оратор*). В первом случае ИГ1 обозначает тот же объект или класс объектов, что и ИГ2, во втором ИГ1 обозначает объект из класса ИГ2. С точки зрения автора, преимущество когнитивного анализа в том, что в обоих типах конструкций можно усматривать ровно одно употребление глагола *быть*, а эффект включения или эквивалентности создается свойствами ИГ2 (например, при включении ИГ2 обычно является неопределенным).

С нашей точки зрения, правда, автор упрощает ситуацию. Во-первых, само понятие определенности и референтного статуса не столь уж очевидно, а в языках типа литовского (и русского) нет категории, явно указывающей на (не)определенность имени хотя бы

в каком-нибудь понимании. Во-вторых, если даже ограничиться английским материалом, ясно, что существуют конструкции ИГ1 (неопределенное) + ИГ2 (неопределенное) идентифицирующего типа, например *A bull is a male cow* 'Бык — это самец коровы'.

Автор предлагает далее разделить класс эквивалентности на два подкласса: собственно идентифицирующие (*Мой брат — это тот парень, который напился*) и дескриптивно-идентифицирующие (*Джон Смит — наш учитель английского*). В первом случае функция конструкции — только в том, чтобы поставить знак равенства между уже известными слушающему уникальными сущностями. Второй тип представлен предложениями, где ИГ2 не обязательно обозначает уникальный объект (учитель английского уникален только относительно некоторой ситуации, конкретнее — относительно данного класса).

Переходя собственно к идентифицирующим конструкциям, автор рассматривает субъектный статус ИГ1 и ИГ2 в романских и германских языках. Главным критерием субъектности служит согласование глагола: в английском, французском и немецком языках он согласуется с ИГ1 (*The cause of the riot was the pictures* 'Причиной бунта были фотографии на стене', букв. 'Причина бунта **была** фотографии на стене'), а в португальском, итальянском, каталанском и испанском — с ИГ2 (итал. *La causa della rivolta *fu / furono le foto del muro* 'Причиной бунта были фотографии на стене').

В литовском, как и в русском, субъектный статус демонстрирует вторая ИГ: *Klubo prezidentas esu aš* 'букв. Президент клуба являюсь (*является) я'. Кроме того, первая ИГ способна маркироваться не только номинативом, но и инструментом, что указывает на ее предикативный статус (ср. *Победителем гонки был Джон*).

Анализ типологических данных, убедительный и подробный, приводит, однако, автора к сомнительному, с нашей точки зрения, выводу. Автор считает, что связочные структуры (конкретнее, конструкции спецификации) в разных языках (типа английского и типа литовского) не могут получать различный синтаксический анализ в силу того, что семантические свойства компонентов конструкции одинаковы во всех рассматриваемых языках.

Действительно, как кажется, в конструкции типа *Победитель гонки — Джон* в любом языке первая ИГ будет часто неопределенной, а вторая — конкретно-референтной, а часто даже уникальной. Однако из этого совершенно не следует, что синтаксический анализ не может быть разным. В самом деле, в любой конструкции, означающей 'Мальчик любит пить чай' чай будет пациенсом, а мальчик — агенсом. Более того, нередко слово 'мальчик' будет относиться к классу исчисляемых имен, а 'чай' будет входить в класс неисчисляемых и быть неопределенным. Однако это не отменяет того факта, что языки по-разному «упаковывают» эту информацию и набор субъектных свойств, которые имеет каждая из ИГ, может быть разным.

Как кажется, одним из самых интересных вопросов грамматики связочных конструкций и является вопрос, почему ее компоненты в разных языках имеют разные свойства. По-видимому, эта проблема может быть связана с более общими свойствами согласования, порядка слов или референтного статуса в отдельных языках.

В статье Николь Най «Differential object marking in Latgalian» рассматривается дифференцированное маркирование объекта в латгальском языке, а конкретнее — факторы выбора объектного генитива вместо аккузатива при переходных глаголах.

Важнейшим фактором выбора генитива является отрицание, причем, как мы уже видели в статье П. М. Аркадьева, отрицание в главной клаузе может обуславливать генитив объекта в подчиненной (в латгальском — инфинитивной) клаузе.

Однако есть и случаи, когда объектный генитив выбирается в отсутствие отрицания. Как правило, это означает, что говорящий выражает недоверие к некоторой информации, например, 'не может быть, что...'. Нередко в таких случаях, наряду с генитивом, используются глагольные формы с ирреальным значением.

Употребление генитива нередко диктуется глагольной формой: генитив употребляется при супине (специализированной формой выражения цели, как правило, при глаголах движения) и при заменяющем его целевом инфинитиве (см. статью П. М. Аркадьева

об аналогичных случаях в литовском языке). Как и в литовском, при других типах инфинитива (например, в сентенциальных актантах при глаголах типа 'начинать', 'хотеть' и др.) генитив используется реже, чем в контекстах цели.

Еще один «генитивный» фактор — это тематический класс самого объекта. Именно генитив часто оформляет неисчисляемые объекты — имена веществ и их аналоги ('хлеб', 'деньги', 'вода' и т. д.). В этом случае генитивное маркирование обозначает неопределенное количество вещества, тогда как аккумулятив кодирует заранее известные части, порции веществ.

Остальные наблюдаемые в латгальских текстах употребления генитива не поддаются формулировке в терминах больших классов явлений. Например, почти исключительно в генитиве используются местоимения *nikas* 'ничего' и *vysskas* 'всё, все типы предметов'. Напротив, личные местоимения даже в стандартно генитивных контекстах нередко получают аккумулятивное маркирование. Интересно, что в некоторых случаях заметны индивидуальные предпочтения к тому или иному падежу: так, в текстах современной латгалоязычной писательницы Ильзе Сперги генитивом часто оформлены имена собственные, которые в старых текстах обычно маркированы аккумулятивом.

Есть и такие двухвалентные глаголы, у которых генитивное управление обусловлено скорее лексической семантикой, чем грамматическими факторами. Например, некоторые глаголы эмоций ('бояться') имеют модель управления «номинатив + генитив», хотя могут в дальнейшем принимать модель с аккумулятивным маркированием объекта. В этой связи интересно было бы сравнить латгальскую ситуацию с типологическими описаниями, подтверждающими, что со временем неканонические модели управления во многих языках заменяются каноническими (см., например, [Haspelmath 2001]). Другие предикаты демонстрируют безличную конструкцию: экспериенцер выступает в дативе, а стимул — в генитиве.

Как кажется, латгальская статья в качестве логического продолжения требовала бы типологической части. Типология генитива хорошо разработана, и было бы интересно проследить, какие из латгальских конструкций типологически распространены, а какие редки (это может стать темой будущих исследований).

Илья Сержант посвятил статью «The independent partitive genitive in Lithuanian» анализу употребления партитивного генитива объекта типа 'Я купил молока' в литовском языке. Эта статья, наряду с работами П. М. Аркадьева, статьей Б. Вимера и В. Бьярнадоттир (о которой см. ниже), несколько выделяется на общем фоне стремлением осмыслить данные в рамках некоторой теории.

В самом начале статьи делается важное теоретическое утверждение: считается, что в партитивной конструкции содержится невыраженный квантификатор. Данная точка зрения обоснована, в частности, тем, что при глаголах типа *privažuoti* 'понаехать' стандартно субъект может быть маркирован только генитивом. Однако конструкции с квантификаторами типа 'много' снимают это ограничение: объект может быть в номинативе. Отсюда возможность трактовать партитивные конструкции как содержащие квантификатор.

Очень интересна часть, посвященная синтаксическим свойствам партитива. В частности, в литовском возможна анафора к партитивной именной группе.

С точки зрения семантики партитивные контексты неоднородны. Выделяется связанное прочтение (имеется некоторая определенная совокупность предметов, выраженных партитивной ИГ, например, 'не получили (этих) денег') и несвязанное (партитивная ИГ обозначает класс предметов как таковой, без ограничения, например, 'Я знаю таких людей').

Для несвязанного прочтения интересна неоднозначность сферы действия относительно квантификаторов типа 'все'. В предложениях типа 'Все знают людей (GEN), которые едят много и не толстеют' генитивная группа может иметь как широкую сферу действия ('все знают одних и тех же людей'), так и узкую ('каждый знает таких людей (разных)').

Основная часть статьи посвящена взаимодействию генитива с глаголами различных аспектуальных классов.

Автор показывает, что функция литовского генитива во многом похожа на функцию неопределенных выражений во множественном числе типа *He ate apples* в противоположность *He ate the apples*: генитив также доопределяет аспектуальные свойства ситуации, не ясные однозначно из глагольной формы.

Стандартный аспектуальный класс глаголов, допускающих генитив, — глаголы с инкрементальной темой. Это глаголы типа *есть* (*яблоко*), при которых каждая часть объекта, затрагиваемая ситуацией, соответствует части самой ситуации. Автор считает, что в дальнейшем семантика инкрементальности по аналогии захватывает и глаголы других классов (например, глагол *privažuoti* ‘понаехать’ понимается как инкрементальный, где каждый приезд некоторого субъекта соответствует части ситуации).

В дальнейшем семантика глаголов с генитивом объекта обсуждается более детально. В частности, показана связь генитивного маркирования с понятием несвязанности по П. Кипарски.

Переходя к взаимоотношениям между глагольным видом и генитивом, И. Сержант отмечает, что независимый генитив допускается и при предельных (‘выпить’), и при неопределенных глаголах (‘пить’). Однако с аспектуальными свойствами предиката взаимодействует, прежде всего, **связанное** прочтение генитива. В частности, в конструкциях типа ‘Пока Джон ел роллы, по телевизору передавали новости’ генитив невозможен. Поскольку прогрессивные контексты предполагают неопределенность (несвязанность) ситуации, в контекстах такого рода невозможно связанное прочтение генитива (‘Пока Джон ел какое-то количество роллов, известное говорящему’). С другой стороны, несвязанное прочтение в данном случае сочеталось бы с семантикой глагола, но оказывается недоступным: несвязанное прочтение может возникать только в связи с семантикой именной группы и не взаимодействует с аспектуальными свойствами глагола. В омонимичных контекстах типа ‘Он ел роллы (несвязанное)’/ ‘Он съел роллов (связанное)’ выбирается именно связанное прочтение. Тем самым, по умолчанию предпочитается связанное прочтение.

Завершает сборник статья Б. Вимера и В. Бьярнадоттир «On the non-canonical marking of the highest-ranking argument in Lithuanian and Icelandic». В ней описываются результаты масштабного проекта, целью которого было исследовать модели падежного маркирования в исландском и литовском языках. Нужно сказать, что сейчас развивается сразу несколько проектов, призванных типологически и теоретически упорядочить описания синтаксических классов глаголов. Для данной области особенно важна отработанный методика исследования, поскольку нередко распределение классов глаголов считается лексически мотивированным феноменом, плохо поддающимся систематизации.

В данной работе используется аппарат референциально-ролевой грамматики Р. Ван Валина и его соавторов. Ключевой и полезной для авторов особенностью этой теории является интерпретация семантических ролей как обобщенных сущностей, расположенных на шкале «актор — претерпевающий» (например, агенс, контролирующий ситуацию, расположен ближе к актору, чем второй актант переходного глагола). Подобный подход позволяет обобщенно представить результаты проекта — список классов глаголов, допускающих неканоническое маркирование актанта самого высокого ранга (т. е. находящихся ближе всего к актору), не отвлекаясь на конкретные семантические роли, например стимул, содержание и др. Употребление падежей конкретного языка в рамках теории Ван Валина также можно интерпретировать в терминах шкалы, например, «датов по умолчанию присваивается участнику, не имеющему макророли» (т. е. не локализованному на шкале актер — претерпевающий).

Впрочем, нам представляется, что ограниченность формального аппарата, во многом полезная для работы, может иногда и вредить ей. Не всегда очевидно, чем в конкретных случаях (например, при глаголах типа ‘быть нужным’) мотивируется маркирование одушевленного участника дативом или аккузативом — его положением на шкале или конкретной падежной семантикой (например, ролью субъекта модального отношения). Однако учесть все факторы в рамках одной статьи невозможно.

Главное достоинство работы — подробная и проработанная классификация глаголов, допускающих неканоническое маркирование актанта с наивысшим рангом. Среди таких классов — когнитивные, модальные и эпистемические глаголы, глаголы боли, безличные глаголы погодных явлений и др. Все эти группы роднит отсутствие канонических агенса и пациенса — тем самым они оставляют языку довольно большую свободу в маркировании участников (в частности, одушевленного участника). И два исследуемых языка по-разному пользуются этой свободой. Например, только в исландском языке встречаются «погодные» предикаты с дативным маркированием актанта. Напротив, преимущественно в литовском распространены эпистемические предикаты с дативным маркированием. Есть различия и в группе «аккузативных» предикатов: в литовском языке гораздо больше глаголов физиологических ощущений, сочетающихся с аккумулятивом.

Между языками имеются и более общие различия. Например, для исландского языка исследователи говорят о явлении «Dative Sickness» («дативная болезнь»): оно состоит в том, что при ряде классов глаголов (например, с модальной семантикой, но не только) исходное аккумулятивное маркирование (букв. ‘Меня нужен нож’) заменяется на дативное (‘Мне нужен нож’).

В целом исследование вносит важный вклад в изучение глагольных классов в языках мира, во многом продолжая подход известной работы Б. Левин «English verb classes and alternations» [Levin 1993]. Выявленные проблемы (например, неоднозначный статус актантов с ролью места — неочевидно, можно ли их вообще называть актантами) — это не недостаток работы, а ее достоинство: только системный подход к лексическим классам позволяет выявить лакуны и недочеты в существующих подходах к описанию актантной структуры.

В частности, еще одна лакуна такого рода — описание конструкций с сентенциальными актантами. Авторы скорее склонны считать неканонической модель типа ‘Тебе хорошо бы иметь сапоги’, где экспериенцер/субъект оценки маркируется дативом. Однако оценка данной модели проблематична в связи с тем, что сентенциальный актант ‘иметь сапоги’ с трудом можно расположить на шкале «актор — претерпевающий».

Возникает следующий общий вопрос: в какой мере существующие различия в классах глаголов определяются различиями в функциях падежей в целом и поведении составляющих, маркированных этими падежами? Например, для исландского известно, что дативные и аккумулятивные группы нередко проявляют субъектные свойства. В какой мере этот факт существен для распределения употребления датива и аккумулятива vs. номинатива при конкретных лексических классах? Впрочем, это скорее тема для будущего исследования.

Подводя итоги, можно сказать, что рецензируемый сборник представляет важность сразу с нескольких точек зрения. С одной стороны, материал балтийских языков ценен для типологии — как в силу недостаточной освещенности этих данных, так и в силу нестандартных черт балтийских языков, например, их «любви» к неканоническим (безличным и двухвалентным непереходным) моделям управления. С другой стороны, книга представляет ценность как пример всестороннего исследования компактного материала средствами разных теоретических подходов. Это позволяет читателю с самыми разными предпочтениями составить весьма объемную и полную картину функционирования актантной структуры и операций над ней в балтийских языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

- Падучева, Успенский 2002 — Падучева Е. В., Успенский В. А. Подлежащее или сказуемое? (Семантический критерий различения подлежащего и сказуемого в биноминативных предложениях) // Успенский В. А. Труды по нематематике. Т. 1. М.: ОГИ, 2002. (Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 38. 1979. С. 349—360). [Paducheva E. V., Uspenskij V. A. A subject or a predicate? (A semantic criterion for distinguishing between subject and predicate in binominative sentences)]

- Uspenskij V. A. *Trudy po nematematike*. Vol. 1. Moscow: OGI, 2002. (*Izvestiya AN SSSR. Ser. literaturny i yazyka*. Vol. 38. 1979. Pp. 349—360.)]
- Croft 2001 — Croft W. *Radical construction grammar: syntactic theory in typological perspective*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2001.
- Dowty 1991 — Dowty D. Thematic proto-roles and argument selection. *Language*. 1991. Vol. 67. No. 3. Pp. 547—619.
- Franks, Lavine 2006 — Franks S., Lavine J. E. Case and word order in Lithuanian. *Journal of linguistics*. 2006. Vol. 42. No. 1. Pp. 239—298.
- Haspelmath 2001 — Haspelmath M. Non-canonical marking of core arguments in European languages. *Non-canonical marking of subjects and objects*. (Typological studies in language 46.) Aikhenvald A., Dixon R. M. W., Onishi M. (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2001. Pp. 53—84.
- Keenan, Comrie 1977 — Keenan E., Comrie B. Noun phrase accessibility and universal grammar. *Linguistic inquiry*. 1977. Vol. 8. No. 1. Pp. 63—99.
- Levin 1993 — Levin B. *English verb classes and alternations*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1993.
- Livitz 2006 — Livitz I. *What's in a nominative? Implications of Russian non-nominative subjects for a cross-linguistic approach to subjecthood*. B. A. Honor's Thesis, Harvard Univ., 2006.
- Lambrecht 2000 — Lambrecht K. When subjects behave like objects: An analysis of the merging of S and O in sentence focus constructions across languages. *Studies in language*. 2000. Vol. 24. No. 3. Pp. 611—682.
- Matushansky 2008 — Matushansky O. A case study of predication. *Studies in formal Slavic linguistics*. (Contributions from formal description of Slavic languages. 6.5.) Marušič F., Žaucer R. (eds). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008. Pp. 213—239.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ / ACADEMIC LIFE

Обзор лингвистических проектов, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом в 2015 г.

Наталья Анатольевна Слюсарь

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, 101000, Россия; Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 199034, Россия
slioussar@gmail.com

Эта публикация представляет собой продолжение серии обзоров научных мероприятий, экспедиций и издательских проектов, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом.

Конференции

В 2015 г. РГНФ финансировал 17 проектов, связанных с проведением конференций и научных семинаров. Пять из них реализовано в Москве, четыре в Санкт-Петербурге, два в Петрозаводске, остальные — в Казани, Екатеринбурге, Омске, Волгограде, Элисте и Ялте. Таким образом, географический охват поддерживаемых фондом мероприятий шире, чем в предыдущие годы.

Многие конференции проводятся регулярно. Среди них следует отметить конференцию «Современные проблемы лексикографии и» (18—20 мая 2015 г.), которая проходит раз в три года поочередно в Белоруссии, на Украине и в России и призвана координировать словарную работу по восточнославянским языкам: белорусскому, русскому, украинскому. На конференции обсуждаются как теоретические вопросы словарного дела, так и различные практические проблемы, проходит презентация новых словарей и баз данных. В 2015 г. ее организатором выступил Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург).

Высокое качество докладов традиционно отличает конференции «Шмелевские чтения» и «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология». XI Шмелевские чтения прошли 23—25 февраля 2015 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва). В этот раз они были посвящены проблеме речевых жанров

An overview of the projects in linguistics supported by the Russian Foundation for the Humanities in 2015

Natalia A. Slioussar

National Research University «Higher School of Economics», Moscow, 101000, Russia; St. Petersburg state university, St. Petersburg, 199034, Russia
slioussar@gmail.com

в современном русском языке. Обсуждалась типология речевых жанров, критерии и методы их выделения, историческая динамика речевых жанров, их отражение в словарях, грамматиках и лингвистических корпусах. Конференция «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология», состоявшаяся в сентябре 2015 г. в Уральском федеральном университете (Екатеринбург), как и в прошлые годы, ставит своей задачей диалог этих трех лингвистических дисциплин, прежде всего с целью реконструкции традиционной языковой картины мира. В докладах были задействованы материалы различных языков, прежде всего индоевропейских, финно-угорских и тюркских.

Среди регулярных мероприятий, посвященных определенной группе языков, поддержку РГНФ получили Тринадцатые балканские чтения. Они прошли 7—9 апреля 2015 г. в Институте славяноведения РАН (Москва). Чтения объединяют разные аспекты балканистики начиная с фонологии и грамматики и заканчивая лингвокультурологией и фольклором. В этом году на конференции обсуждалась концепция «Балканского тезауруса» — масштабного проекта, который планируется начать и постепенно разрабатывать в течение нескольких лет.

Международный конгресс по когнитивной лингвистике, который ежегодно проводится Российской ассоциацией лингвистов-когнитологов, прошел в этом году 30 сентября — 2 октября 2015 г. в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Доклады, представляемые на конгрессе, обычно отличаются большим разнообразием, так как он охватывает очень широкий спектр тем, в той или иной степени связанных

с когнитивной лингвистикой, и принимает большое число участников.

Конференция «Научное наследие академика В. И. Борковского и современная русская словесность», прошедшая в Волгоградском государственном университете осенью 2015 г., продолжает традицию ежегодных Борковских чтений. Мероприятие было приурочено к 115-й годовщине со дня рождения Борковского и охватило достаточно широкий спектр тем (синтаксис, морфология, лексикология, словообразование в славянских языках), которые, согласно аннотации проекта, «отражают весь спектр научных интересов В. И. Борковского и его экстраполяцию на современные проблемы лингвистики».

Кроме того, в число поддержанных мероприятий, которые проводятся регулярно, вошли пятая всероссийская конференция «Стратификация национального языка в современном российском обществе» и стоящий несколько особняком научный семинар «Проблемы библейского перевода». Конференция посвящена социальной стратификации русского языка по профессиональным, возрастным и гендерным признакам. Она была проведена в октябре 2015 г. учебно-издательским центром «Златоуст» (Санкт-Петербург). Рассматривался как литературный русский язык, так и его некодифицированные формы. Научный семинар на протяжении многих лет проводится Институтом перевода Библии (Москва) и объединяет сотрудников института и его партнеров из многих регионов Кавказа, Сибири, Крайнего Севера. В 2015 г. его тема — «Культурные различия: поиск решений при переводе Библии на языки народов России и СНГ». Ставится вопрос о том, следует ли адаптировать переводы Библии к культурному контексту целевой аудитории, как и в какой степени.

Наконец, на фоне других регулярных конференций выделяется VII Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир», который прошел 5—8 октября 2015 г. на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования в Ялте. Если основной целью всех прочих мероприятий является изучение какой-либо области лингвистики или группы языков, то у данного конгресса достаточно расплывчатая тематика: согласно аннотации, «участники конгресса занимаются исследованием самых разнообразных лингвистических проблем как традиционных, так и самых актуальных, порой довольно острых и неоднозначных. Однако все они объединены общей идеей: интеграцией для решения актуальных задач современной науки о языке, желанием

развивать лингвистику как одну из ведущих современных гуманитарных дисциплин».

Конференция «Первые Григорьевские чтения. Языковое творчество vs. креативность: эстетический, эвристический и прагматический аспекты» прошла в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва) 12—14 марта 2015 г. в первый раз, однако планируется как регулярное мероприятие. Тематика конференции достаточно необычна: согласно аннотации, «данная проблематика обсуждается на международных конференциях впервые». Чтения посвящены 90-летию со дня рождения В. П. Григорьева (1925—2007), признанного специалиста в области лингвистической поэтики, стилистики и языка художественной литературы. На встрече обсуждались различные проявления языкового творчества, креативности, игры в художественных текстах (прежде всего поэтических), а также в детской речи, в языке Интернета, в медийном и рекламном дискурсе. Хотя чтения проводились в первый раз, состав участников оказался весьма представительным.

Переходя к разовым мероприятиям, поддержанным РГНФ в 2015 г., отметим еще одно с необычной тематикой: конференцию «Поэтический и философский дискурс: история взаимодействия и современное состояние», которая прошла в Институте языкознания РАН (Москва) 7—9 октября 2015 г. Цель конференции — опираясь на широкий языковой материал (тексты, написанные на русском, французском, английском, немецком, китайском и других языках, относящиеся к различным поэтическим и философским традициям и эпохам), установить, каковы универсальные и специфические черты этих дискурсов, определить, какова их динамика в диахронии, а также изучить принципы междискурсивного взаимодействия.

Также были поддержаны конференции «Язык и поэтика русского фольклора: к 120-летию со дня рождения В. Я. Проппа (1895—1970)», прошедшая 16—19 сентября 2015 г. в Петрозаводском государственном университете, и «Неология и неография: современное состояние и перспективы (к 50-летию научного направления)», которая состоялась 28—30 октября 2015 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург). Первая посвящена фольклористике, вторая — проблемам лексикографического описания неологизмов, преимущественно на материале русского языка.

Среди мероприятий, посвященных тем или иным группам языков, — конференция

«Монголоведение в начале XXI века: современное состояние и перспективы развития», посвященная столетию Б. Х. Тодаевой, и конференция «Актуальные вопросы иберо-романского языкознания». Первая прошла 23—26 апреля 2015 г. в Калмыцком институте гуманитарных исследований РАН (Элиста), вторая — 24—26 сентября 2015 г. в Приволжском федеральном университете (Казань). На конференции «Монголоведение в начале XXI века» обсуждались не только лингвистические проблемы, но и вопросы фольклористики и литературоведения. Особое внимание было уделено изучению героического эпоса «Джангар», который занимает центральное место в работах Б. Х. Тодаевой, а также сравнительно-историческим исследованиям монгольских языков. Конференция «Актуальные вопросы иберо-романского языкознания» посвящена прежде всего лингвокультурологическим вопросам, проблеме сосуществования различных языков в одном регионе, языковой политике, билингвизму.

Похжая проблематика была затронута и на конференции «Роль Сибири в поликультурном и многоязычном мире современного евразийского пространства», которая прошла 23—25 октября 2015 г. в Омском государственном институте сервиса. Однако, согласно аннотации, мероприятие направлено в первую очередь не на решение собственно лингвистических задач, а на фиксацию и популяризацию опыта сибирского региона в вопросах межэтнического взаимодействия, его цель — подчеркнуть «значимость Сибири как территории коммуникативной успешности и культурной толерантности». Соответственно, на конференции представлены не только языковедческие работы, но и исследования из области истории, этнографии, педагогики и др.

Наконец, 17—20 июня 2015 г. в Северном филиале Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации (Петрозаводск) прошла конференция «Деловой и публицистический стили в истории русского языка и культуры». Тема конференции относится к такой области лингвистики, как история литературных языков, однако, как и в предыдущем случае, фокус внимания был смещен с собственно лингвистической проблематики на другие вопросы. Так, согласно аннотации, «стили языка и речи, стили художественной литературы и связанные с ними поведенческие типы служат своеобразными мериллами общественного развития, барометрами состояния общественных настроений, культурных, эстетических, аксиологических и проч. ориентаций ведущих сил

в обществе». Эта тема «особенно актуальна для нашей страны именно в настоящее время, когда общество, преодолевая культурологический нигилизм, порожденный в стране ситуацией рубежа XX—XXI веков, постепенно возвращается в русло собственной культуры».

Подводя итог, можно заметить, что среди поддержанных в 2015 г. конференций нет ни одной, посвященной таким ключевым областям лингвистики, как грамматика в целом, семантика (за исключением лексической семантики) и фонетика и фонология, а также целому ряду других направлений, в числе которых типология, экспериментальная, корпусная и математическая лингвистика, усвоение языка и т. д. Хорошо представленными оказались лексикология и лексикография и исследования дискурса, а также некоторые направления на стыке лингвистики и других дисциплин, в частности, фольклористика и особенно лингвокультурология.

Лингвистические экспедиции

Поддержка экспедиционных проектов представляется одним из самых ценных направлений деятельности РГНФ в области языкознания, значимость этого направления невозможно переоценить. В 2015 г. фондом финансировалось шесть лингвистических экспедиций (меньше, чем в прошлом году, когда поддержку получили десять проектов). Все экспедиции направлены на исследование неиндоевропейских языков. Заметим, что это никак не отражает политику фонда в целом — РГНФ регулярно выдает гранты в том числе и на документацию диалектов и говоров русского языка.

Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН провел экспедицию «Язык и традиционная культура удмуртов в современных условиях». Планировалось собрать фольклорно-этнографический материал, а из лингвистических вопросов уделить особое внимание диалектным фонетическим и лексическим особенностям. Башкирский государственный университет организовал этнолингвокультурологическую экспедицию в южные районы республики Башкортостан. Основная цель экспедиции — описать этнолингвокультурологические особенности южного диалекта башкирского языка во взаимодействии с фольклором разных народов, говорящих на различных славянских, финно-угорских и тюркских языках.

Две экспедиции посвящены языкам и диалектам, количество носителей которых в последние годы резко сокращается. Институт филологии Сибирского отделения РАН продолжает полевые

исследования языков малочисленных этносов Северного Алтая (чалканцев и тубаларов). Эти языки внесены в «Красную книгу языков народов России» (1994). Сотрудниками Института филологии в соавторстве с другими учеными уже была создана база данных по чалканскому языку, которая теперь пополняется, началось формирование базы по тубаларскому языку. Тувинский государственный университет провел экспедицию, направленную на изучение этнолингвистических характеристик этнических тувинцев сумона Цагаан-Нур в Монголии. На данный момент эта группа насчитывает около 500 человек, которые занимаются преимущественно оленеводством. В рамках проекта запланировано сравнить устное народное творчество, обычаи и традиции тувинцев, проживающих в Монголии и Республике Тыва.

Ивановский государственный университет организовал экспедицию «Взаимовлияние языков цыган и татар Крыма (в прошлом и современности)». Крымские цыгане говорят на собственном диалекте цыганского языка с многочисленными заимствованиями из татарского и русского, и руководитель проекта В. Г. Торопов сыграл большую роль в его изучении (в частности, создал для него алфавит). В настоящее время большая часть крымских цыган проживает в Краснодарском крае, а не на территории Крыма, поэтому одна из целей экспедиции — сравнить лингвистические особенности этих двух групп и в перспективе предложить для языка крымских цыган единую письменную литературную форму.

Наконец, Московский государственный университет провел экспедицию по сбору данных уральских и алтайских языков. Цель экспедиции — продолжить изучение грамматического строя и организации лексикона бурятского и мордовских языков, начатое в прошлые годы. Отметим, что это единственный проект, предполагающий целенаправленный сбор материала из области грамматики и нелексической семантики (с применением грамматического анкетирования и других методов). Полученные данные предполагается осмыслить с точки зрения лингвистической типологии и различных грамматических теорий, как это делалось и ранее. Это представляется очень важным, так как делает собранный материал более доступным и интересным для лингвистов, работающих в рамках различных направлений внутри и за пределами Российской Федерации.

Публикации

В 2015 г. финансирование РГНФ получили 26 проектов публикации научных трудов. Почти половина из них — тома многотомных

изданий, преимущественно словарей, что представляется абсолютно оправданным, так как они особенно нуждаются в такой поддержке. Большинство из них связано с русистикой: это выпуск 48 «Словаря русских народных говоров», выпуск 3 «Словаря промышленной лексики Северной Руси XV—XVII веков», выпуск 30 «Словаря русского языка XI—XVII веков», выпуск 21 «Словаря русского языка XVIII века». Часть словарей отражает язык художественной литературы: это выпуск 3 «Материалов к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX—XX вв.», том VI «Словаря языка русской поэзии XX века», том 4 «Конкорданса к стихам М. Кузмина» и том I «Словаря фразеологии современного русского детектива» (в двух томах). Также был поддержан выпуск 10 «Общеславянского лингвистического атласа (серия лексико-словообразовательная)». Среди словарей и атласов, не связанных с русским языком, — выпуск V «Диалектологического атласа удмуртского языка» и том 5 «Этимологического словаря иранских языков». Двухязычный словарь всего один — том 3 «Большого академического русско-монгольского словаря в четырех томах».

Кроме того, РГНФ поддержало издание одного «Словаря языка поэзии И. А. Бунина», а также работы на стыке лингвистики и литературоведения — монографии «Андрей Платонов... и другие. Языки русской литературы XX века» и «Этнолингвистика и лингвокультурология художественных текстов Михаила Шолохова».

Финансирование получили три проекта, так или иначе связанные с изданием комментированных текстов. Во-первых, это фундаментальные труды «Ильина книга (XI в.): Исследования. Указатели» и «Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001—2014 гг.)». Во-вторых, это сборник «Голоса корякской культуры: Лилия Аймык», содержащий тексты на корякском с glossированием и комментариями и видеоприложения.

Остальные проекты охватывают разные лингвистические направления (морфологию, синтаксис, лингвокультурологию, историю лингвистики и др.), но опираются преимущественно на материал русского языка. Надо сказать, что все прошлые годы преобладание русского языка было менее заметным (особенно если не учитывать словарные проекты), поэтому говорить здесь о какой-то тенденции не приходится.

Среди коллективных монографий поддержку получили «Русская аспектология: в защиту видовой пары» под редакцией Анны А. Зализняка, «Категория оценки и система ценностей в языке и культуре» под редакцией С. М. Толстой и «Языковая политика в контексте современных языковых процессов» под редакцией А. Н. Биткеевой. Монография «Русская аспектология: в защиту видовой пары» состоит из двух частей. Первая — переработанный вариант книги Анны А. Зализняка и А. Д. Шмелева «Введение в русскую аспектологию» (2000), в которой формулируются аспектологические концепции, опирающиеся на идеи Ю. С. Маслова и Т. В. Булыгиной. Вторая включает серию статей, развивающих эти концепции, которые были ранее опубликованы в различных, в том числе труднодоступных, периодических изданиях и сборниках. Монография «Категория оценки и система ценностей в языке и культуре» продолжает серию работ из области семиотики, этнолингвистики и культурологии, начатую авторским коллективом еще в 1990-е гг. За это время был опубликован целый ряд коллективных монографий, а также этнолингвистический словарь «Славянские древности». Монография «Языковая политика в контексте современных языковых процессов» подводит итог исследованиям под руководством А. Н. Биткеевой, посвященным теоретическим и практическим

вопросам языковой политики (включая описание исторического развития ситуации и прогнозы на будущее). Материалом для исследования стала языковая ситуация в различных регионах Российской Федерации, где проживают носители тюркских, финно-угорских и монгольских языков.

Среди авторских монографий обращает на себя внимание фундаментальный труд И. С. Улукханова «Глагольное словообразование современного русского языка. Глаголы, мотивированные именами и междометиями». Финансирование получили относящаяся к области контрастивной лингвистики работа Е. Ю. Ивановой «Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского» и книга В. И. Макарова «Формирование восточнославянской диалектологии как историко-лингвистической науки во II половине XVIII — I половине XX в.», систематизирующая обширный материал научных архивов Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

РГНФ поддержал также издание сборников статей двух авторитетных российских лингвистов: «*Philologica parerga. Статьи по этимологии и теории культуры*» К. Г. Красухина и «*Лингвистика, поэтика, текстология: избранные статьи*» Н. В. Перцова.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 2015 Г.

INDEX OF THE PAPERS PUBLISHED
IN «VOPROSY JAZYKOZNANIJA» IN 2015

Статьи

Алпатов В. М. Что и как изучает языкознание.....	3
Богомолова Н. К. Дистантное согласование в табасаранском языке	2
Бородай С. Ю. Об индоевропейском мировидении	4
Верещагин Е. М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей «Евгения Онегина»	2
Власова Е. А. К вопросу о вытеснении простого претерита в средненижнемецком языке.....	1
Гиппиус А. А., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2014 г.	3
Горбов А. А. К вопросу о семантическом калькировании и «вторичном заимствовании» в русском языке рубежа XX—XXI веков	1
Горбова Е. В. Видообразование русского глагола: префиксация и/или суффиксация?	1
Дементьев В. В. Теория речевых жанров и актуальные процессы современной речи.....	6
Добрушина Е. Р., Сичинава Д. В. Кочующая норма, или Микродиахронические похождения слова <i>ихний</i> в русском, украинском и белорусском языках	2
Дыбо В. А. Парадигматические акцентные системы	3
Дымарский М. Я. Инфинитивные высказывания с семантикой нежелательности: вид, время, лицо, типовые значения.....	5
Карпов А. А., Верходанова В. О. Речевые технологии для малоресурсных языков мира.....	2
Ключева М. А. К этимологии названия марийской игры <i>митули</i>	4
Лауриновичюте А. К., Драгой О. В., Иванова М. В., Купцова С. В., Уличева А. С. Психологическая нереальность синтаксических следов	1
Левина М. З. Морфология форм неопределенного склонения имени существительного в мокшанских диалектах Поволжья (лингвогеографический аспект исследования).....	5
Лютикова Е. А., Перельцвайг А. М. Структура именной группы в безартиклевых языках: универсальность и вариативность.....	3
Магомедов М. И., Абдулаев А. К., Гальярди А., Полинская М. С. Усвоение именных классов в цезском языке	4

Мальчуков А. Л., Храковский В. С. Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора.....	6
Михайлова Т. А. К проблеме архаического семантического синкретизма: галльск. <i>cara</i> vs. лат. <i>cara</i>	5
Николаева Т. М. О «лингвистике речи» (в частности, о междометии).....	4
Новицкая И. В. Словообразовательная синонимия в древнегерманских языках (на материале готского, древнеисландского и древневерхненемецкого языков).....	3
Падучева Е. В. Акциональная классификация глаголов и семантика союза <i>пока</i>	5
Патроева Н. В. Синтаксис «Слова о полку Игореве» в сопоставлении с его поэтическими переложениями.....	1
Пекелис О. Е. Показатель <i>то</i> как средство акцентуации имплицативного отношения (на примере союза <i>если... то</i>).....	2
Савинов Д. М. Южнорусские системы ударного вокализма как источник для исторических реконструкций.....	5
Тимофеева М. К. Интроспекция в лингвистике и в языке.....	6
Урманчиева А. Ю. Как грамматическая система управляет семантической эволюцией показателей (на примере эвиденциальной системы тазовского селькупского).....	6
Успенский Б. А. Филологические наблюдения над текстом «Откровения Авраама».....	5
Ямпольская С. Б. <i>Автономизм, социализм и идиотизм</i> : европеизмы в иврите, 1917—1918.....	3

Из истории науки

Дуличенко А. Д. Между африканистикой и космоглоиткой: к концепции всемирного языка Николая Владимировича Юшманова.....	1
Лукин О. В. А. А. Шахматов, В. Ягич и «Archiv für slavische Philologie».....	1

Критика и библиография

Обзоры

Аркадьев П. М. Теория грамматики в свете фактов языка каядилт.....	6
Стенин И. А. Грамматика тундрового ненецкого языка И. А. Николаевой и проблемы описания самодийских языков.....	4

Рецензии

Аркадьев П. М. <i>М. М. Макарецв</i> . Эвиденциальность в пространстве балканского текста. М.; СПб.: Нестор-История, 2014.....	3
Волков О. С. <i>Д. В. Сичинава</i> . Типология плюсквамперфекта. Славянский плюсквамперфект. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.....	4
Говорухо Р. А., Кобозева И. М. <i>О. Inkova, M. di Filippo, F. Esvan</i> (a cura di). <i>L'architettura del testo. Studi contrastive slavo-romanzi</i> . Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2014.....	3
Иткин И. Б. <i>Е. Р. Добрушина</i> . Корпусные исследования по морфемной, грамматической и лексической семантике русского языка. М.: Издательство ПСТГУ, 2014.....	5

Карпов В. И. <i>Д. О. Добровольский</i> . Беседы о немецком слове. <i>Studien zur deutschen Lexik</i> . М.: Языки славянской культуры, 2013.....	2
Козлов А. А. <i>А. К. Поливанова</i> . Старославянский язык: Грамматика. Словари. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013.....	2
Котин М. Л. <i>G. Hentschel, O. Taranenko, S. Zaprudski</i> (Hrsg.). <i>Trasjanka und Suržyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und in der Ukraine?</i> Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.....	5
Летучий А. Б. <i>A. Holvoet, N. Nau</i> (eds). <i>Grammatical relations and their non-canonical encoding in Baltic</i> . Amsterdam: John Benjamins, 2014.....	6
Михайлова Т. А. <i>J. L. G. Alonso</i> (ed.). <i>Continental Celtic word formation. The onomastic data</i> . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014.....	1
Пиперски А. Ч. <i>I. Mel'čuk, J. Milićević</i> . <i>Introduction à la linguistique</i> . Paris: Hermann, 2014.....	1
Рожанский Ф. И. <i>V. Mattes</i> . <i>Types of reduplication. A case study of Bikol</i> . Berlin: Mouton de Gruyter, 2014.....	3
Сичинава Д. В. <i>J. N. Adams</i> . <i>Social variation and the Latin language</i> . Cambridge: Cambridge University Press, 2013.....	1
Сичинава Д. В. <i>V. Kasevich, Y. Kleiner, P. Sériot</i> (eds). <i>History of linguistics 2011. Selected papers from the 12th International conference on the history of the language sciences (ICHoLS XII), Saint Petersburg, 28 august — 2 september 2011 (Studies in the history of the language sciences 123)</i> . Amsterdam: John Benjamins, 2014.....	5
Фалилеев А. И. <i>J. Carroll, D. Parsons</i> (eds). <i>Perceptions of place: Twenty-first-century interpretations of English place-name studies</i> . Nottingham: English Place-Name Society, 2013.....	4
Шкапа М. В. <i>I. A. Seržant, L. Kulikov</i> (eds). <i>The diachronic typology of non-canonical subjects</i> . Amsterdam: John Benjamins, 2013.....	3

Научная жизнь

Варбот Ж. Ж., Куркина Л. В. Этимологический симпозиум «Этимологическое исследование старославянского языка в славянской, индоевропейской и общелингвистической перспективе». Брно, 2014.....	3
Васильева М. Д., Власова Р. М., Николаева Ю. В., Потанина Ю. Д. VI Международная конференция по когнитивной науке.....	1
Вилинбахова Е. Л., Заика Н. М., Федотов М. Л. Международная конференция «Научное наследие и развитие идей Юрия Сергеевича Маслова».....	3
Добрушина Е. Р. Обзор лингвистических проектов, поддерживаемых Российским гуманитарным научным фондом в 2014 году.....	1
Капитонов И. С. Хроника конференции SinFonJA VII.....	2
Карпов А. А. 4-й Международный семинар по речевым технологиям для малоресурсных языков SLTU-2014.....	2
Коваленко К. И. VII Международная конференция по исторической лексикологии и лексикографии.....	3
Конёр Д. В. Международная конференция «Грамматическая гибридизация и социальные условия».....	3

Леушина Л. Т., Демешкина Т. А. VIII Всероссийская конференция «Актуальные проблемы классической филологии и сравнительно-исторического языкознания»	3
Никulichева Д. Б. Международный семинар в честь 60-летия профессора Пера Дурст-Андерсена «Глобальная коммуникация в локальной перспективе: когда мы не говорим на одном языке».....	2
Потапова Р. К., Потапов В. В. XVI Международная конференция SPECOM'2014 «Speech and computer» («Речь и компьютер»).....	4
Пупынина М. Ю., Сюрюн А. А. Конференция «Системные изменения в языках России».....	4
Слюсарь Н. А. Обзор лингвистических проектов, финансируемых Российским государственным научным фондом в 2015 г.	6
Снесарева М. Ю. Польский вклад в развитие кельтологии: хроника конференции в Познани	4
Супрун В. И. XIV Международная конференция «Ономастика Поволжья».....	4
Шелов С. Д., Цумарев А. Э. IV Международный симпозиум «Терминология и знание».....	3
Шестакова Л. Л., Кулева А. С. Первые Григорьевские чтения. Языковое творчество vs. креативность: эстетический, эвристический и прагматический аспекты.....	5

Подписано к печати 29.10.2015 Дата выхода в свет 23.12.2015

Формат 70×100^{1/16} Цифровая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 4,7 тыс.

Уч.-изд. л. 15,5 Бум. л. 5,0 Тираж 357 экз. Зак. 718

Цена свободная

Учредитель: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука»,
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон (495) 637-25-16

Оригинал-макет подготовлен С. С. Белоусовым

Отпечатано в ППП «Типография “Наука”», 121099, Москва, Шубинский пер., 6